

*От редакции* ..... 5      [Читать](#)

## **МОЙ БЕССЕМЕНОВ**

В первом действии ..... 9      [Читать](#)  
Во втором действии ..... 34      [Читать](#)  
В третьем действии ..... 67      [Читать](#)  
В четвертом действии ..... 85      [Читать](#)

## **ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕТРАДЕЙ**

### **Из театральных тетрадей**

Постижение Рогожина ..... 112      [Читать](#)  
Монахов и пришельцы ..... 127      [Читать](#)  
Вой Холстомера ..... 141      [Читать](#)  
Испытание памятью (Мои тридцатые) ..... 142      [Читать](#)  
Как я играл собаку ..... 151      [Читать](#)  
Несыгранная Роль (О Василии Шукшине) ..... 158      [Читать](#)  
Почему я тогда не подошел ..... 165      [Читать](#)  
Великие старухи ..... 167      [Читать](#)

### **Рассказы**

Сестра ..... 174      [Читать](#)  
На волге (Цена человека) ..... 199      [Читать](#)  
Больница ..... 202      [Читать](#)  
У ворот ..... 228      [Читать](#)  
На берегу ..... 236      [Читать](#)  
Пароход «Чичерин» ..... 249      [Читать](#)  
Как началась война ..... 254      [Читать](#)  
Шефский концерт ..... 261      [Читать](#)  
Кошмар ..... 266      [Читать](#)  
Моя Джоконда ..... 272      [Читать](#)  
Брюзга ..... 274      [Читать](#)  
забор ..... 278      [Читать](#)  
Бабушка и внук ..... 286      [Читать](#)  
Бумажный рубль ..... 287      [Читать](#)  
Единый политдень (Из рассказов о Стрюцком) ..... 288      [Читать](#)  
У английских собак ..... 291      [Читать](#)

## От редакции

Автор этой книги — выдающийся советский актер, один из ведущих мастеров Ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького, которым многие годы руководил Г. А. Товстоногов. Тысячи зрителей видели Лебедева в спектаклях «Идиот» и «Варвары», «Мещане» и «Карьера Артуро Уи», «История лошади» и «Дядя Ваня», «На всякого мудреца довольно простоты» и «На дне», во многих других постановках и фильмах.

Книги, написанные актерами, — не редкость. Как правило, это мемуары или теоретические работы о сценическом искусстве. Книга Евгения Лебедева не принадлежит к этим традиционным жанрам, хотя составляющие ее произведения в большинстве своем автобиографичны и многие ее страницы так или иначе связаны с театром. Это прежде всего «Мой Бессеменов», своеобразный литературный автопортрет в знаменитой горьковской роли, который позволяет хотя бы отчасти понять, как рождаются актерские шедевры. Необычный по форме рассказ об этой работе, изданный впервые в 1973 году, привлек большой читательский интерес, прибавив к актерским лаврам Лебедева лавры театрального писателя. В этом качестве выступает автор и во втором разделе книги, куда включены театральные новеллы, малоизвестные или вовсе не известные читателю.

Однако в течение многих лет Евгений Лебедев писал не только о театре. Писал для себя, как говорится — в стол, не рискуя обнародовать свои рассказы за пределами узкого круга друзей и близких. И потому, что считал свои литературные опыты этого рода делом интимным, не достойным широкого внимания. И потому, что в течение многих лет большинство его рассказов просто не могло быть опубликовано: они затрагивают ту трагическую правду нашей истории, о которой мы заговорили открыто лишь сегодня. В детстве и юности Евгений Лебедев оказался не только свидетелем, но и жертвой чудовищных заблуждений своего времени, и боль прошлого осталась с ним навсегда.

Познакомившись с этими и другими рассказами, мы обнаружили, что они представляют отнюдь не меньший интерес, чем его театральная проза, и вместе с ней образуют целостное и самобытное художественное явление — литературное творчество Евгения Лебедева.

# МОЙ БЕССЕМЕНОВ

В основе этой книги — записки, которые я вел в антрактах и после спектакля на представлениях «Мещан» на сцене нашего Ленинградского Большого драматического театра. В этом спектакле я исполняю роль Бессеменова. Мне хотелось зафиксировать внутренний монолог моего героя в каждый момент его пребывания на сцене.

В этих записках мысли, возникшие у меня и в период репетиций.

В этой книжке я и Бессеменов перемешаны. Так, должно быть, случается, когда любишь роль, думаешь о ней все время, что-то меняешь, уточняешь, прорабатываешь, шлифуешь.

Такая роль для меня — Бессеменов.

Я пишу здесь о внутренних импульсах его характера, движениях его души. Но это не значит, что на каждом спектакле я «подкладываю» под исполнение роли одни и те же ассоциации, мысли. Не говоря уже о том, что при переносе на бумагу многое неизбежно теряется, я, актер, каждый раз прихожу на спектакль в различном эмоциональном состоянии. Оно диктуется и обстоятельствами моей собственной жизни в день спектакля, и партнерами, и ходом жизни вообще.

Если я выработаю раз и навсегда канву внутренней жизни героя, это будет означать конец его живой жизни в спектакле.

Не пишу здесь о многом, что составляет роль, движет мной во время спектакля. Например, о «борьбе» со зрительным залом, о том, как, каким способом втягивается в конфликт зритель. Не пишу о рисунке жестов, о том, как говорю, и о многом еще, что составляет роль.

Пишу о главном. О внутренней жизни моего персонажа.

О том, как я, актер, чувствую Бессеменова-человека, как открываю в нем человеческое начало.

Ведь в его жизни происходят простые и трагические события. Уходит сын, Петр. Он его растил. Это как руку у него отнимают. Я ищу сходные мотивы в моей биографии, вспоминаю отца и мать, рано исчезнувших из моей жизни. Возникают нужные чувства.

Есть большие исторические эпохи и есть короткая человеческая жизнь.

Спектакль отражает эпоху, но я, актер, отражаю человеческую жизнь и правду отдельного человека, горьковского Бессеменова. Как сегодняшний актер, понимаю, что в контексте эпохи его правда — ложь. Но ведь такое несоответствие и называется трагедией.

Мой внутренний монолог — трагедия Бессеменова.

## *В ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ*

Жизнь в пьесе «Мещане» начинается во время послеобеденного отдыха в доме Бессеменова. Собираются пить чай, традиционный ежедневный чай.

Сцена пуста. В столовой никого нет. «Сам» еще отдыхает в спальне, на высокой своей постели. Рядом с ним жена. Проснулась раньше, но боится его побеспокоить. А он не спит уже, открыл глаза, думает... О чем он думает?..

Надо мной потолок, я изучил его насквозь. Мой потолок, мой молчаливый собеседник! Вот и сейчас, лежа на спине, заложив руки за голову, я смотрю, прищутив глаза, и думаю... Моему потолку много лет, он очень старый, старше меня. Он все знает, все слышал, все видел. Раньше я его не замечал, не нужен был он мне: я знал, что есть у меня над головой потолок, а какой он — мне было все равно. Зачем он мне? Я его мыл, красил, чинил и не замечал, а теперь он мне необходим. Смотрю на него последние годы все чаще и чаще. Я его изучил со всеми его трещинами-морщинками. Я подружился с ним. Он терпеливо выслушивает мои жалобы...

Скрипнула деревянная кровать — это моя баба, моя глупая старуха, повернулась лицом к стене и делает вид, что спит. Бедная моя старуха, жаль мне тебя! Ничего ты от меня не скроешь, за всю нашу долгую жизнь с тобой я научился открывать твои нехитрые материнские тайны. Знаю тебя всю, всю, какая ты есть, со всеми твоими потрохами, а ты по привычке продолжаешь хитрить и думать, что я не замечаю. Слышу, что ты не спишь, притворяешься. Бессонница у нас. И причина ее одна — наши с тобой дети... Ждали от них покоя, а выросли они — получилось одно беспокойство. Каждый сам по себе, все врозь, словно чужие, терпим друг друга только потому, что нужно терпеть, нужно жить. Друг друга не понимаем. Перестали понимать. Так вот и живем.

Мы для них чужие. Для них наша с тобой жизнь — плохой пример, прожита бесцельно. Они смеются над нами, им стыдно за нас. А уйти им некуда — они наши дети.

Откуда все это берется? А? Кто мешает?

Почему так происходит? В них наша с тобой кровь, они от меня и от тебя, эти дети. У дочери мои глаза, у сына твои, серые, зато лоб мой, мой нос, и весь он похож на меня. Каждый опознает в нем нашего сына. Нил — тот чужой, в нем кровь чужая, не твоя и не моя, и все-таки и он наш сын. За двадцать лет я привык к нему.

Почему мы тогда его взяли? Зачем он нам? У нас были свои дети. Первой была Татьяна, вторым появился Петр... Вспомнил. Ты не могла рожать. Ты стала бездетной. А дети нужны... Нам нужны были мальчишки, сыновья, помощники. Вот и взяли Нила.

Эх, старуха! Скрючилась, сжалась в комок, кулаки прижала к подбородку, уткнулась в стенку, не дышишь. Молчишь, боишься. Меня боишься, я знаю. Ты всегда меня боялась, потому ты меня и любишь, уважаешь.

Ты тоже научилась кричать, как я кричу, значит, мне подражаешь, от меня перенимаешь. Только крик-то твой не тот. Добрая ты! От добра твоего тебя и не уважают. Садятся на шею за добро-то твое... Мягко им сидеть на добре-то твоём.

Скрывать нужно, добро-то. Не показывать... Эхма! Пропустили мы, прозевали, выпустили вожжи из рук. Учить надо было тогда, когда они поперек

дивана лежали, а когда вытянулись вдоль, опоздал, брат, ничему не научишь.

Кто мы для них? Что мы им?

Раньше были — отец и мать, раньше боялись... значит, любили... Вот здесь, на этой самой кровати, возились, да ласкали, да целовали, а потом пошли в школу... Когда же это случилось?

Учиться пошли.

Сколько стоила нам с тобой эта школа?! Наши дети учатся — радость-то нам с тобою какая была, а! Они будут образованные, мои дети. Наши с тобой дети!

Выучились... нечего сказать. Школа, что ль, против нас? Против меня? Чему их там учили? По каким книгам науку проходили? Я ведь тоже учился, немного, правда, но учился. По тем же самым книгам. Забыл только все. Не помню ничего, да и незачем мне это помнить. Без всяких книг, без университетов прожил свою жизнь, и хорошо прожил. Моя наука была простой, верной: малярной кистью смажут по роже раза два в день, вот и выучили! Какие учителя были, какие мастера! Какие дела делали... Сами были сыты и нас кормили. А как жили! Какие дома имели, и в дому полон дом был, чего-чего только не было!

Нет, бить нужно, бить, вышибать дурь из головы. Пропустили, прозевали...

— Мать, ты спишь? — молчит. — Врешь ведь, не спишь! Потри мне спину. Ну куда же ты лезешь? Не туда. Вот здесь, повыше. Черт с тобой... Не умеешь — отстань, не лезь, отвернись и молчи.

— Я и так молчу.

— Спи... Какая ты стала корявая. Уйду я от тебя... Не реви, и так мокро! Вон на улице дождик собирается. У других все как у людей, а у нас все не так. Какого черта ты разлеглась? Делай что-нибудь. Где Петр?

— Отдыхает. Спит.

— От чего это он отдыхает? От чего устал? От какой работы? Устал! С этой бабенкой крутился всю ночь... Ты думаешь, я не знаю, не слышу... Курва проклятая! Посмотри на потолок-то, вон из него что стало. Все ночи песни да танцы у нее. Стервоза. Распутная. Вон угол-то до сих пор не просох! И не просохнет. Хлещет воду-то, пол-то гноит. Умывается, видишь ли, она! Спустись вниз да умывайся! Надзирательница!.. Над чем это она там в тюрьме надзирала-то? Мужа ее — лошадь убила. Врет, наверно! Сама помогла умереть. А теперь, видишь... лошадь убила... Кто у нее там бывает? Одни мужики. Кроме Петра. Тетерев тоже птица! И фамилия птичья... Бродяга бездомный. Краснобай и лодырь. Песни поет. Нашел себе развлечение — песни петь! Пропойца несчастный! Замерзнет где-нибудь на дороге... Критикует! Все и всех критикует... А хорошо поет! Сукин сын!

Работал бы, занимался делом — не было бы времени критиковать. А жрет больше всех. В его огромную тушу, как в бездонную бочку — сколько ни влей, все голодный будет. Чему он учит, что внушает? Кому нужно его внушение? Молокососам, непонимающим. Они и клюют на его удочку. Приманка для них хорошая — бездельничать. Распустит свой язык, а те и развесили уши! Вот он и вливает им яд, разлагает их своими проповедями. Это он назло нам, в отместку

мне. Ненавидит он нас, не любит. Завидует... А ты заработай! Потрудись! Погни перед другими спину, руки-то свои не жалей, они человеку на то и дадены, чтобы ими делать что-нибудь, работать. Хлеб свой насущный зарабатывать, а не попусту, без дела размахивать.

Неудачник. Они все такие. Гордость-де... А в чем его гордость-то? Чем он гордится? Ничтожностью своей?! Силой своей? Девать, видишь ли, ему ее некуда. Не нужна, говорит, она, сила-то, нужна ловкость и хитрость. Врет. Все врет. Мне вот ее не хватает, силы-то. Я злюсь на нее, на мою силу-то — что она уже бессильна. Ушла моя сила, вся ушла, жизнь сожрала. Как моль платье. Осталось ее столько, что дотянуть бы до конца дней моих... Кто мне в чем поможет? Ты, что ль, займы дашь силу-то свою? Как же! Сам норовишь, где бы чужое схватить да прикарманить.

На словах-то вы все сильны, сейчас вы все ко мне жметесь, тепло вам у меня. Все сегодняшним днем живете, не думаете, что будет завтра. А завтра-то оно еще тяжелей. Кто мне что приготовит на завтра? Ты, что ль? Петр? Нил? Я сам. От детей ждать нечего, они сами ждут от меня...

От хорошей жизни, что ли, я вас, нахлебников да квартирантов, пустил? Расходы большие. Нет у вас ничего, да и никогда не было. Вот вы и не знаете. А у меня дом. Он старый, его чинить нужно, поддерживать, сам он не починится, и никто другой не починит. Заставь тебя делом заняться, косматый черт! Как же, так ты и согласишься... Везет же таким, птицам этим... Ему что? Встал, раскрыл рот и пой, учить ничего не нужно, все в книге написано, расписано по нотам. То похороны, то свадьба... Чего-то умирать часто стали! С чего бы это? Какие-то новые болезни пошли, которых раньше и не знали. Вот у меня тоже... поясницу ломит... Заснешь вот так-то — и не проснешься! А хорошо бы так, спокойно.

А вдруг болезнь? Мученья разные? Кто тогда поможет? Кто за тебя врачу платить будет? Врачей я этих знаю. Им только деньги подавай... Петру бы врачом быть, а не адвокатом. Много денег загребают. Попади только к ним в руки!.. Черти, хорошо живут! И работа чистая, во фраках ходят, в сюртуках. А каких лошадей имеют! А какие деньги берут за визит, страсть!

Эх ты, Петька, сукин ты сын, прости меня, царица небесная, сорвался! Не того я ждал от тебя, не тому отдавал тебя учиться. Правильно, что выгнали. Так тебе и надо! С прохвостами связался, сам прохвостом стал, а прохвосты государству не нужны.

Социализм, видишь ли, им нужен. Что оно такое за понятие? Кто его придумал? Кто такую мысль толкнул? Кто дал на это право? Жили и живем! На хрен он кому нужен, этот социализм-то! Это жида, наверное, придумали, православному такое и в голову не придет.

Обманывают народ, а тот им и верит. Жизнь всегда была и будет такой, какая она есть, мутная, тесная. И всегда так будет!

У нас вот тоже. Досекин Федька. Тоже их мысли протаскивает, от них, наверное, заразился... русский ведь, а тоже! Артели ему нужны, все сообща, видишь ли, делать надо, ремесленникам жить нельзя врозь. Жизнь, говорит, трудна. Зачем это ему все нужно? На чью мельницу воду-то льет?

С головой мужик-то, мозги хорошо варят. Только вот зигзаги у него какие-то. Загнул он насчет артелей-то! Этак можно и до предела дойти, так может и жизнь прекратиться, если у меня ничего своего-то не будет...

А еще мастер! Если уж мастера такое говорят, то чего же ждать от мастеровых. Им только дай волю-то! Воля-то, она страшная. Испытали мы эту волю-то. Знаем мы ее. Нищих она разводит, разорение одно. После воли-то сколько бродяг по стране бродит! Жулья сколько развелось...

Социалист! Общество! Это что такое за слово — общество, кому оно нужно? Опять, значит, общее все, ничего, значит, своего! Вроде как скоты мы получаемся, стадо! Скотинушке-то, ей в общественном стаде ох как тяжело. Хороший хозяин свою корову не пустит в общественное-то, она там голодной останется. Он ее сам попасет, она ему за это больше молока принесет... Общество! Куда меня, значит, пастух погонит, туда я и должен бежать?

Нет, милый, не бывать этому. Этак ты на старый лад поворачиваешь. Государь наш волю нам давал не для того, чтобы опять в кабалу, нет. Теперь каждый сам по себе, сам хозяин своей жизни!..

Уметь нужно!

А кто будет артелью управлять? Ты, значит? Раз ты придумал, ты и будешь управлять? Ишь ты, чего захотел! Моя артель — моя семья, мой дом — вот моя артель. Здесь ничего не пропадет, все, что в дом придет, все в доме останется. Я умру — сыну передам, а сын — для своего сына копить будет, и так без конца. Это будет мое, бессеменовское! А ты, значит, — работай на дядю? Вот мерзавцы, что придумали! Хитрый народ пошел, ловкий, всяк норовит другого задавить. А не задавишь — не проживешь... Господи, что это я говорю-то, мысли-то какие в голову лезут? Господи, отведи от меня всякого врага и супостата, господи, помилуй и сохрани мя...

— Ты чего это крестишься-то?

— Так это я — от думы, от мысли разной.

Меня зовут пить чай. Иду.

Теперь я буду рассказывать о жизни, изображенной в спектакле и увиденной глазами Бессеменова, о мыслях, переживаниях и поступках моего героя в каждый момент сценического действия. Разговор пойдет от лица Бессеменова. «Я» — это будет его, Василь Васильевича «я», а не мое, актера Лебедева. Но иногда мне понадобится «выключиться» из образа, чтобы сказать и от своего собственного лица, обратиться к событиям из собственной жизни, которые вызвала в моей памяти роль Бессеменова. Для того чтобы читатель отличал мой внутренний монолог от произносимых мною слов Горького, последние выделены курсивом.

Я знаю, что там уже все собрались, что должны быть все за столом.

Я иду. У меня скрипит дверь, ведущая в мою комнату, дверь можно было бы смазать, и она перестала бы скрипеть, но дело в том, что у меня нет времени, не хватает его на то, чтобы такую простейшую вещь исправить. (Я, актер, исполняющий роль Бессеменова, беру в обстоятельства такой

незначительный факт и делаю из него событие.) Я хочу показать, что я настолько занят, что настолько беспокоит и волнует меня судьба моих детей, их будущее и настоящее, что даже такую мелочь, как скрип двери, вызывающий во мне раздражение, я не могу устранить.

Тем самым я жалею себя и вызываю к себе жалость других, обвиняю других, своих близких, в невнимании ко мне как к отцу.

В действии это выражается просто.

Меня зовут пить чай, зовет жена; я знаю, что все уже в сборе, все за столом — так должно быть. Так, во всяком случае, было до сих пор. Я иду.

Иду с мыслями о детях, о их неустроенности, о том, что сын перестал учиться, его выгнали, выгнали с позором, позор это мне, отцу. Мне больно, мне тяжело — и я это не скрываю! Показываю, несу эту домашнюю трагедию. Пусть видят все!

Скрип двери меня выбивает, входя, я поворачиваюсь и смотрю на дверь, на петли, на которых она висит, выругиваюсь про себя и уже после этого смотрю на тех, кто в комнате.

А кто же в комнате? Петр, Татьяна и жена.

Надо бы помолиться, но я чувствую и вижу, что до меня что-то произошло между матерью и детьми, Петром и Татьяной. Я это вижу по тому, как суетится жена, и по тому, что за столом никто не сидит, дети в углу. Нет нахлебников.

Нет нахлебников, значит, вызвав меня, жена прекратила, оборвала назревавший скандал между нею и детьми. Я это понял. Влезать в скандал не стоит, разбираться в нем нет необходимости, но всем своим видом показываю, что все знаю, все понял, и проверяю свои догадки вопросом: «Нахлебников звали?» И внимательно разглядываю каждого.

— *Петя! Позови-ко...* — как-то уж очень ласково произносит мать. А сын, услышав обращение матери, сидит как вкопанный, молчит.

(Семейная идиллия не удалась — Петр подвел!)

Петр замечает, что я смотрю на него, резко встает и уходит, наверное, звать нахлебников.

Тут я отворачиваюсь и начинаю молиться, но не просто молюсь. Крест кладу широко и проникновенно, чтобы жена и дочь видели, как я мучаюсь, как я страдаю. Я, отец, страдаю! Это теперь уже не формальность, не бытовая подробность — молиться к столу, а просьба об избавлении нас от грехов наших... и демонстрация.

Я чувствую, за моей спиной встала дочь и тоже молится. Но, закончив молитву и повернувшись, я увидел, что она делает это только для меня одного, стоит равнодушная; выполняя обряд, показывает, что он ей в тягость. Дура! Тем самым хочет показать бессмысленность поведения родителей, каждый раз проделывающих никому не нужный обряд и заставляющих их, людей грамотных и образованных, делать то же самое.

Я это видел в них и раньше. А сын? Тот совсем не молится, я это заметил давно... Надо мной смеются, надо мной издеваются. Кто же? Мои дети. Я каждый раз, каждый час моей жизни, обращаясь к Богу, молюсь за них, прошу за них, умоляю — дать мне хлеб насущный, достающийся мне трудом, как



завещал мне сам Бог — «в поте лица добывать его». И я добываю и молюсь, чтобы простил грехи мои и не вводил во искушение. А она, моя дочь (!), меня оскорбляет. Оскорбляет мои чувства, осуждает мою жизнь, прожитую ради них. Она не уважает мой духовный мир, она издевается над моим единственным собеседником, над моим единственным утешителем в горестях, радостях, печалях — моим Богом! У нее его нет, она его не понимает, не принимает, глупая. Мне это обидно, моя плоть, моя кровь — все в ней мое. И вся она чужая! Я молчу, я ничего ей не говорю, уже все это говорено, говорено раньше, и ничего она не поняла!

Ладно. Иду к столу, к своему месту, месту хозяина стола, хозяина дома, главы семейства. Стол мой — стол давнишней мечты моей — большой, широкий, крепкий, за которым должен быть мир. Я сделал его, я заработал его, я здесь отец, хозяин, я — глава. И все, что на столе, — это мое. Я благоговею перед ним, перед моим столом, в нем вся моя жизнь.

Я несую в себе это чувство, я дорожу им, и вдруг — опять дочь! Не кто-нибудь другой, а моя дочь! Она хватает грубо, небрежно спинку стула, отодвигает его и бухается на него, не подождав меня, не усадив меня, словно меня и нет!

За что же все это?

Опять неуважение! Опять оскорбление! Но я молчу. Страдаю, переживаю, возмущаюсь, но молчу. Только стоя, не садясь, смотрю внимательно на дочь и жду ответа.

Молчит, не замечает. Мелочь, думает, наверное, ну что такое, что за великое преступление сесть первой, не все ли равно — кому первому сесть? Какая глупая манера ждать, чтобы сел отец, потом мать, а потом мы, дети. Не все ли равно? Мещанство! Одно мещанство и больше ничего...

Дура! Не понимаешь ты. Не я прошу уважения к себе, а труд, мой труд! Стол и все, что на столе, это результат труда моего. Хлеб наш насущный. Боготвори его! Он достается трудом, потом и кровью. Ты еще ничего не приобрела, ничего не сделала. Учись!.. Ну что ты фыркаешь, что ты дергаешься? Ну, встань же! Встань! Дай сесть первому мне. Не обижай ты меня, не растравляй ты во мне ненависти к вам, молодым, глупым.

Встала. Слава Богу! Не все потеряно, все-таки есть хоть какой-то страх передо мной... Ух как глядит! Как сверкают глаза, злые, недобрые! Нет, скручу я вас, вразумлю я вас. Поставлю на своем, отстою свой мир, не позволю его разрушить.

Стоит моя дочь и ждет, когда я сяду, а я не тороплюсь, пусть постоит, пусть подождет... Сволочи! Неужели вы не видите, не понимаете? Ведь я старший, я отец. Я жизнь прожил. Стой! Уступи отцу, подожди, пока я сяду! Не позволю сесть первой! Больно ведь мне, больно.

Сажусь. Мне дают стакан чаю и сахарницу.

Срываю свою злость на сахаре.

— *Опять пиленого сахару купили? Сколько раз я говорил...*

Замечание постоянное, дежурная фраза. И я бы замолчал, больше ничего не сказал, если бы опять не дочь, не ее лицо, — скривила губы, отвернула голову.

Что для дочери сахар? Головой ли он куплен, пиленным ли или в песке — не все ли равно, было бы сладко! Не понимает, не знает, как достаются деньги, живет на всем готовом. Вот она берет кусок, второй, третий и все это делает мне назло. Я это вижу. Она выводит меня из терпения.

Еще больше злит меня мать: она замечает, что я раздражен. Но я скрываю свою злобу, а она, стерва, открывает. Дура, настоящая дура! Юлит передо мной, говорит мне: «*Всего фунт купила...*» Это еще ничего, на этом бы ей и остановиться, но она продолжает: «*Не сердись!*» Я взглянул на нее сурово. Вот ведь заноза какая!

— *Я не сержусь...* — говорю я ей, а у самого руки дрожат... щипцы бросил... не надо бы этого делать... заметили. Ничего, черт с ними. Попью спокойно чаю, покажу им мое безразличие, пусть видят, что я на все уже махнул рукой. Мне бы только смерти дожидаться, а там — как хотите.

— *Пиленный сахар тяжел и не сладок, стало быть, невыгоден* — вот и все, что я хотел сказать. Но тут моя дочь скривила рот и фыркнула. Я не выдерживаю и хочу все до конца вытянуть из нее, развязать, распутать узел, выяснить наши отношения к жизни, вызвать на открытое столкновение, показать ей пропасть между мной и ею.

Говорят, что я скупой, жадный. Не жадный я, а экономный — сама жизнь научила меня выжимать из всего копейку, экономить. Все это достается трудом, только трудом. Копейка на улице не валяется, ее заработать нужно.

— *Сахар всегда нужно покупать головой...* — говорю это не жене, а ей, дочери. Равнодушной, не понимающей жизни, не представляющей себе, что такое жизнь, — *и колоть самим* (утверждая свое отношение к жизни). *От этого будут крошки...* (молчит дочь, притаилась, сдерживается) ... *а крошки в кушанье идут.* (Вот она краем рта усмехнулась, в глазах слеза блестит, вздыхает. Значит, это я ее мучаю, я, ее отец, а не жизнь! Не понимает, дура, нет!) *И сахар самый, он легкий, сладкий... Ты чего морщишься да вздыхаешь?* — не выдерживаю и прямо задаю ей вопрос. Но она уходит от ответа, мнетя: «*Ничего, ничего... так...*»

Значит, не хочет говорить, терпит меня и больше ничего.

Молчание ее злит меня еще больше.

— *А коли ничего, так незачем и вздыхать,* — обрываю я ее и продолжаю как будто бы спокойно, но с укором, с обидой. Каждым словом хочу зацепить ее, поддеть, заставить понять мое беспокойство, мою боль, мою обиду. — ... *Наш порядок вам не нравится, это мы видим. Чувствуем...* (Неужели вы, дети, черт бы вас подрал, не видите, что отец страдает?! Ведь я люблю вас, оттого и мучаюсь. Не видите, что ли? Дайте мне попить чаю спокойно, в кругу моей семьи, моих близких, дайте поглядеть на мое счастье, насладиться им. Нет, сидит, молчит и пьет чай.) ... *а какой свой порядок вы придумали? Вот он, вопрос? Н-да...*

И вдруг она вспыхивает, противоречит, возражает. Учит.

— *Папаша! Подумайте, который раз говорите вы мне это?*

Я продолжаю спокойно, терпеливо, не отрываясь от своего блюда:

— *И еще, и без конца, до гроба говорить буду! Ибо — обеспокоен я в моей*

жизни. Вами обеспокоен... Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование...

Самая большая моя ошибка — это университет. Разделил он нас, разгородил!

— *Вот — Петра выгнали* (я жду от нее сострадания, сейчас поймет, пожалеет), *ты — в девках сидишь...*

Она на это не отвечает, а вопит:

— *Я работаю... я...*

— *Слыхал.*

Все это я слышал, все это я знаю, она не то говорит. Не хочу я этого слышать, не хочу понимать. Моя правда — сама жизнь, она вернее ее правды, ученой-то. Самой жизнью подсказана.

— *А кому польза от этой работы?* (Училась, училась, сколько денег убухано на учение, а результат? Двадцать пять рублей в месяц, вот и все. Проживешь ты на них, как же!) *Двадцать пять рублей твои — никому не надобны, и тебе самой.* (Это тебя не беспокоит? Не стыдно перед другими? Ученая, а цена тебе двадцать пять рублей — на панели и то дают больше. Видишь, и пить чай не можешь, значит, понимаешь.) *Выходи замуж, живи законным порядком, — я сам тебе пятьдесят в месяц платить буду.*

Плачешь? Ну и плачь, я сам плачу, только слез нет... Кажется, вот-вот поймет дочь, сломается. Красная сидит, глаза в слезах — сейчас бросится ко мне, прощения просить будет.

А тут опять всунулась жена, влезла. Мягко, ласково, заискивающе:

— *Отец! Ватрушечки... не хочешь ли?*

Вот стерва-то! Спугнула, пожалела, не выдержала! Ватрушечки не хочешь ли!.. И делает это так, будто бы ничего не происходит, ласковая беседа идет. Опять юлит. В морду бы дать ей за это, да в глазах-то ее я вижу ту же боль, то же страдание.

— *Ну, тащи ватрушки...* — рявкнул на нее, — *тащи...*

Итак, домостроевская атмосфера бессеменовского дома создана. Мое самочувствие здесь возникает не на пустом месте. Я подготовлен к нему собственной жизнью, своим далеким детством.

Мой отец был священником. Когда я родился, ему было сорок пять лет, большая часть его жизни прошла до революции. Как бы мне ни хотелось, я не мог в семнадцатом году заставить его иначе мыслить или изменить свою профессию. Я сам родился в семнадцатом. Для меня в детстве церковь была не «опиумом», а делом житейским. Я ощущал ее необходимость для тех, кого я видел; без нее, без церкви, не разрешалось ни одного житейского вопроса. Я не помню, как меня крестили, но как только мои глаза стали различать предметы, то кроме матери и отца первым предметом, который я увидел, был крест. Он висел у меня на шее. А затем — огромные иконы в церкви, много икон: святые чудотворцы, великомученики и победоносцы, просветители и митрополиты, сам Христос и Божья мать. А над всеми, распластаный в куполе, огромный, бородатый, седой и строгий Бог. Для меня все они были живыми, всевидящими,

добрыми и наказующими. Где бы я ни стоял, мне казалось, они всегда смотрели на меня, следили за мной. От этого становилось страшно.

Мой отец веровал в Бога. Мы просыпались утром, садились за стол, вставали из-за стола, ложились спать, учились, косили траву — и при всем вспоминали Бога. Отелилась ли корова, сделался ли пожар, заболел ли кто — без молитвы ничего не происходило. Так жили все. Я видел, как отец молился, как молилась мать, и делал то, что делали они, с таким же страхом и благоговением. Я видел, что без моего отца, священника, не решалось ни одно дело.

Я помню похороны коммуниста. Его хоронили двумя обрядами — церковным и гражданским. Впереди несли крест, потом крышку гроба, за крышкой — сам гроб, за гробом шел священник, церковный хор, а сзади оркестр. Когда пели «Святой Боже», гроб опускали вниз и несли на полотенцах одни, а когда начинал играть оркестр — их сменяли другие, поднимали гроб на плечи и подпевали оркестру: «Замучен тяжелой неволей...»

В таком непривычном обряде похорон очень резко проявлялись взаимоотношения нового и старого. Каждая сторона старалась отстоять себя, подчеркнуть, что у нее нарядней, красивей и торжественней. Церковники напряженно слушали и оценивали звук медных труб оркестра, барабанный бой, дребезжание медных тарелок и саму незнакомую песню со словами: «Служил ты недолго, но честно, на благо родимой земли».

Мне было тогда двенадцать лет. Мне хотелось учиться, и меня отправили к дедушке. В Самару.

В пятьдесят втором, через двадцать с лишним лет, я вновь приехал в Самару (Куйбышев) и пошел на Садовую улицу в дом, где жил мой дед Иван Аркадьевич, в дом, где проходили мои детские годы.

Я не узнал этого дома: он изменился так же, как изменились тетки и дяди, в которых я тщетно отыскивал прошлое. Наверное, изменился и я, но у других это легче заметить, чем у самого себя.

Дом когда-то был прямым, с вылупленными глазами окон. Теперь перекосялся, и окна ушли вовнутрь, под крышу. Раньше были деревянные ворота и калитка; их, наверное, сожрала война. Война сожрала и террасу, на которой мы спали летом; вместо террасы — огромные дыры. На месте садика, где росли малина, смородина, огурцы, помидоры, яблоньки, сколочен из кусков фанеры, старого железа и спинки железной кровати сарай. Потом я узнал: кровать была дедушкина. Во второй половине дома, где раньше была кухня, живут другие, совсем незнакомые люди, а в первой половине живет тетка с мужем и детьми. Когда я открыл дверь, то увидел в середине уродливую печь, которой раньше не было. На ее месте стояла во времена моего детства «голландка», она отапливала четыре комнаты. Теперь этих комнат нет, перегородки разобраны. Там, где была комната деда, стоит стол. Ничего не осталось от прошлого, кроме стола; я узнал его, этот стол, потому что уж очень хорошо его знал.

Сразу вспомнился дед и порядок, установленный им в доме. Его дисциплина, его требования к нам, казавшиеся несправедливыми, жесткими. Не

любили его, боялись, жили в страхе перед ним. Боязнь крепко засела в каждом, кто оставался при нем. Его давно нет, а страх остался. Так и живут — словно пришибленные. А те, кто ушел, поборол страх, освободился от дедовских тисков, сами стали дедами. Они часто вспоминают своего отца, а я — своего деда, и говорим себе и друг другу: неблагодарные мы, только теперь понимаем, что такое дети. С одним не справляемся, а у него их было двенадцать! Всех выучил, всех вырастил.

Умер он во время войны. Его нашли в своей комнате на железной кровати. Ничего при нем не было, кроме двух черных сухариков под подушкой...

Нет, не понимают меня. Я — злодей! Я — зверь! А заглянули вы в мою душу? Что там в ней, в моей душе-то? Разбитая жизнь. Словно стекло битое. Мне больно, и никто не видит, не слышит моей боли. Или слушать не хотят?

Я вижу, что и им плохо. Жалко мне их. Да разве поймут они это?

Эх ты, мать... Добрая ты. Но и дура, большая дура, оттого и добрая.

— *Видишь, мать-то, как утка от собаки птенцов своих, вас от меня защищает... Все дрожит, все боится, как бы я словом-то не ушиб вас...*

Почему меня останавливают, перебивают, почему не дают до конца, мирно, спокойно разобраться во всем? Вот опять помешали. Пришел Перчихин. Маленький, дрянной человечиска. Хороший он, безобидный, но нищий, никчемный, нет у него ничего, кроме неба, леса да птиц. А доволен, счастлив. Завидую я ему. Почему так получается, почему не наоборот? Ему бы страдать, ему бы мучиться, а он хоть бы что! Смеется, балагурит и хмельной пришел.

Хорошо ему! Дочь его любит: вон — целует его. Завидно. Завидно мне.

И у него дочь, оба мы, значит, отцы, и такие разные!

Ну иди, заходи, Перчихин! Дай немножко посмеяться, отвлечься от беды моей. Побалагурь ты немножко! Рассмеши ты нас, может быть, обмякнем.

— *Ба, птичник! Явился, пропащий!* — вызываю его на балагурство, и он поддается. Неужели понимает? Неужели чувствует?

Вон и дочь моя улыбается. Чему это она радуется-то? Ему, что ли? Да ведь он пропащий. Ему бы плакать нужно, а он смеется... Ну что ж, давай проходи, посидим поговорим.

— *У тебя опять разрешение вина?*

— *С горя!* — отвечает он мне.

— *С какого это?*

Разве может он чувствовать какое-нибудь горе, когда у него ничего нет и никогда не было?! Вот у меня горе. Но не покажу я тебе его, покажу мое превосходство над тобой, мое довольство.

Я пью чай, горячий, крепкий, у меня все хорошо, все как надо. За столом дочь, она ученая, образованная, а твоя — неграмотная, нам прислуживает. Тепло мне, хорошо у меня! Вот и ватрушки на столе, румяные, поджаристые, сочные, у тебя нет таких и не будет.

— *Зяблика продал сегодня... Жаль птицу, привык... любил...*

— *А зачем продавал, коли так?* — не сочувствуя, а поддевая его, чтобы чувствовал разницу между мной и им.

— *Цену хорошую дали...* — отвечает он мне.

Наверное, врет. Конечно, врет. Жрать было нечего или не на что выпить.

Мать меня понимает, она со мной заодно. Чего его стесняться-то! Нестоящий он человек, можно над ним и посмеяться... Родственник он нам. Ну и черт с ним, много их, таких родственников — седьмая вода на киселе... И жена здесь со мной заодно, молодец баба, подтрунивает над ним:

— *А что тебе деньги. Все равно промотаешь...*

И смеется. И он смеется:

— *Верно, мать! Деньги мне не к рукам... верно!*

— *Значит, опять-таки не было резона продавать...* — разоблачаю я его (ведь врет все, врет, как и все врут. Зачем ему только врать-то? Подделывается, что ль, под кого?)

— *Был резон. Слепнуть стала птица... стало быть, скоро помрет...*

Вот она, правда-то, вот она где. Значит, и ты не такой святой, и ты приспособливаешься. И ты, Перчихин, обманываешь.

— *Ты, однако, не совсем дурак...* (Мне это приятно, радуешь ты меня.)

А дочь смотрит на меня укоризненно. Не нравится ей, что я унижаю Перчихина.

Не смотрю я на нее, я смотрю на блюдце и пью чай, но все вижу, все замечаю.

Вошел Петр, идет к столу, его место — рядом со мной. Я расчищаю для него его место. Я сейчас не злюсь на него. Я хочу, чтобы он сел рядом со мной. Мне это нужно для того, чтобы Перчихин позавидовал мне.

А Петр стоя берет свой стакан, кладет в него сахар и уходит к окну, к маленькому столику. Усаживается в кресло — независимо, как мне кажется, демонстративно. Показывает, что ему с нами сидеть неинтересно. Мне очень хочется спокойно пить чай, но поступок Петра, да еще при Перчихине, отбивает всякую охоту. Как это дети не понимают, не догадываются, что нужно родителям? Все наоборот делают.

Я внимательно провожаю глазами Петра, смотрю на него, испытываю его и думаю: уходишь ты, уходишь от меня, отделяешься. А ведь я отец. Отец! Эх вы, дети. Зачем это вам меня унижать? За что обижать нас с матерью? Ну, ладно, она дура, она не понимает...

Вот и этот явился, Тетерев. Наверное, все заметил, он всегда все замечает. Он злой, на язык злой, ух какой злой! Черт с ним. Не буду больше пить чай, не лезет он в меня, этот чай. Чужой какой-то стол, все здесь мне чужие. Если бы не дети, разогнал бы всех к чертовой матери, выселил из моего дома.

Дети! Всё для них.

Выросли, выучились, а всё на моей шее сидят, всё на моем иждивении. У других и полуграмотные, и рожа такая, что плюнуть хочется, а смотришь — как живут! Мне не везет, нет. У других всё лучше, а у меня не то, совсем не то.

Сын... И это мой сын?! Разве таким я хотел тебя видеть? Разве для того я тебя растил, выхаживал, учил? Чтобы дожить до того, что тебе и сидеть со мной противно?

Грустно мне, больно. Неужели вы такие бесчувственные, не понимаете, не замечаете моего одиночества?

За одним столом сидеть не хочет, брезгует. Был бы хотя бы кто-нибудь, а то студент, да еще бывший. Разве мне не обидно?..

В другой раз я, может быть, и не заметил бы, что он не сел рядом, но сегодня, когда Петр забирает стакан чая и уходит, я делаю из этого событие и складываю, накапливаю, прибавляю к нему другие события, замечаю все движения, все взгляды. Сегодня они мне особенно подозрительны, сами лезут в глаза и растрavляют душу.

Настроение хреновое... Вот умру скоро, что тогда будете делать без меня? Пропадете, ведь совсем пропадете. Не любит вас никто, да и вы никого не любите.

— *А хорошо ты, Терентий Хрисанфыч, заработаешь в этом месяце. Почти каждый день покойник.* (Это я даю понять им, моим детям: скоро и мой конец, пожалейте вы меня, обратите на меня внимание, о вас беспокоюсь, не устроены вы.)

— *Везет... ничего,* — отвечает Терентий, а дети молчат, не замечают.

— *И свадьбы часто...* (Смотрю на дочь, как она пьет чай и слушает наш разговор. Не в обиду ведь ей сказал насчет свадьбы, а просто посожалел, что счастье такое мимо нашего дома проходит.)

— *И женятся усердно...* — отвечает Терентий.

Дура! За тебя болею, я уже прожил свою жизнь...

Не понимает меня, опять фыркает, ухмыляется и уходит от меня к брату. Теперь они вдвоем совсем отделились и не смотрят на нас. Переглядываются, осуждают нас, вздыхают, показывают нам, как им тяжело. Им тяжело?! А нам легко?

— *Вот накопи денег да и сам женись.*

Я хочу, я жду ответа от этого пьяницы, забулдыги, но умного человека, жду, что он меня поймет, поддержит. А он отвечает:

— *Не хочется...*

Мне совсем не этого нужно, совсем другого я ждал от тебя... А этот еще, голодранец, Перчихин, тоже высказывает, тоже мне рассуждает, советы дает:

— *Не женись, не надо! Нашему брату, чудаку, женитьба ни к чему. Лучше пойдем снегурей ловить...*

Никто меня не поддерживает, никто меня не понимает. Кем я окружен? Кто живет в моем доме? Почему именно они прилипли к моему дому? Почему они так свободно говорят, не боятся, противоречат, смеются, издеваются надо мной, над моей женой, над моими детьми, и я терплю их?

Почему? Зачем?

А Перчихин разговорился, разгулялся:

— *Расчудесное это занятие — снегурей ловить!*

Его слушают. Все к нему внимательны, смеются вместе с ним. А мне не смешно. Почему я так не умею рассказывать?

Чем он доволен? Чему радуется? Почему его слушают, а меня прерывают?

Нет, сбить его надо. Только как? Чем? Как повернуть разговор, чтобы меня слушали, чтобы я был первым, а не он?.. Смотри, как развесили уши! Смотри, какие у всех лица — добрые, умиленные!

А Перчихин заходится, сам в птицу превращается, поет за нее, посвистывает... Пичужек с генералами сравнил, вот ведь сукин сын! Как у него все ловко получается! Отчего это?

Нет, нужно забрать у него первенство.

С чего начать, о чем говорить?.. А дети смеются, радуются. Эх, подлецы! (Злюсь я, злюсь на себя, что не могу перебить его, не могу остановить.)

Наверное, надо мной смеются, потому что я не смотрю на Перчихина, не слушаю его. Вот он закончил, замолчал, и все молчат. Чего-то ждут. Наверное, меня. И я говорю, желая унижить его, осадить:

— *Глупая птица, снегирь.*

К чему это я сказал? Начал новую тему? Какую? Сам не знаю. Ну и черт с ней, больше ничего не скажу. Пусть сами задумаются. Главное, занозить их. А я буду молчать. Молчать.

— *Я сам глупый...* — вдруг вставляет Перчихин. Вот звонок-то!

— *Рассказано хорошо...* — говорит Терентий.

Это он для меня говорит, наверное, для меня, бандит эдакий. Следит, значит, за мной, подкарауливает... Нет, не поддамся тебе. Не все ты про меня знаешь... А вдруг догадался? Вдруг понял меня? Понял, что сказать мне больше нечего? Нет, не выйдет! Не удастся посмеяться надо мной! «Спокойней, спокойней», — внушаю сам себе. Вот так. Что-нибудь вставить? А что?.. Делай вид, что тебе все это неинтересно. Вот так. Ногу на ногу. Одна рука — на стол, другая — на спинку стула. Крепче сядь. Как хозяин сядь. Не смотри на них — не теряй достоинства. Вот так! Поглаживай рукой стол-то, поглаживай. Он ведь твой. Ласкай ты его, разглаживай скатерть-то. Вытяни руку-то, вытяни, а другим боком привались к спинке. Вот так. Так выразительней, так видней будешь. Помолчи, помолчи, не влезай в разговор — умней будешь. Загадочней. И не смотри на них, а смотри в пустоту. В пустоту смотри! Вот так. Вот и сиди так... И буду сидеть, и буду смотреть, и буду глядеть!.. Подлецы, голодранцы, никчемные все вы, бесчувственные...

Здесь случилось невероятное. На спектакле, после которого я записал именно это место (вообще я записывал по свежему следу многих спектаклей), актер, исполнявший роль Перчихина, вдруг забыл текст. Но мое, бессеменовское, чувство было столь интенсивным, что выключиться я не сумел и перенес это чувство на партнера.

... Что там говорит Перчихин? Ну погоди, всажу я тебе занозу. Ага, текст забыл. Так тебе и надо, и не подскажу я тебе его. Крутишься? Выворачиваешься? Крутись, крутись, балда эдакая!

Ну, слава Богу, вспомнил. Покатилось.

Вот я тебя к совести твоей призову, эдак издалика, спокойненько. Ты мне только реплику правильную дай... Вот так. На вот тебе!

— *А ловить ее, птицу-то, грех. Знаешь?*

Я даже повернулся к нему от удовольствия. Здорово я тебя, а? Смотри!.. Все глядят, и дети повернулись... Что же они? От него ждут ответа? Почему от



него? Значит, они на его стороне? Опять, значит, против меня? Ишь ты, как они за него переживают — ответить-то ему на мой вопрос нечем. Словно драка идет, кулачный бой, а мои дети посмеиваются... Отца бьют, сволочи, а вы смеетесь! Родного отца! Эх вы, поднатчики... Вы на стороне противника? Ну погодите, погодите, придет и наш черед. Я вот сейчас поверну всё на вас, пусть все на вас обрушатся. Не жалко мне вас, сами виноваты.

Что говорит Перчихин?

— *Знаю. Но ежели люблю? И ничего кроме делать не умею.* (Так это наивно говорит, как ребенок. Ишь ты! Совести-то, значит, в нем нет никакой. Без чести, без совести, значит.)

— *Я так полагаю, что всякое дело любовью освящается...*

Вот оно! За мной теперь слово, за мной.

— *Всякое?* (Вот теперь я за сына примусь, отомщу ему: будет знать, что значит против отца идти. Сейчас он у меня завертится!) *А ежели кто любит чужую собственность прикарманивать?* — посылаю этот вопрос Петру, чтобы его за живое зацепить.

В мыслях моих — выстраданное. Все, что я заработал своими собственными руками, у меня должны забрать? Почему? Это же мое, мною нажитое! Я копил, собирал всю жизнь, и вдруг все это — для кого-то, кто и цены этому не знает? Так ведь только жулики делают: прикарманивают чужое.

На одном из спектаклей я вспомнил эпизод из своей жизни. Работал я когда-то в молодости на фабрике. Старался сделать как можно больше, чтобы заработать. Долгов было много у меня, да и одеться нужно. Получил как-то зарплату, положил ее в карман. Иду это я домой, размечтался, как хорошо теперь будет. Дома-то нет ничего, в последние дни под получку занимали, на одной картошке сидели да горячей водой запивали, жили надеждой на зарплату. Пришел домой, сунулся в карман, а ее и нет. Вытащили. Украли. Стал вспоминать: где я был? Куда заходил? Где могли вытащить? В магазине. Больше никуда не заходил. В магазине купил себе «маленькую», закуски разной, колбасы да ветчины немного. Потом в булочную зашел, хлеба купил белого. Пришел домой с одними только покупками: карманы пустые. Сколько ни шарил — денег нет. А жить-то нужно, пятнадцать дней до другой-то зарплаты, еще не заработанной. Разве жулик об этом подумал?

Так однажды на спектакле вспомнилось мне это, когда о воровстве разговор зашел.

... Что глядите? Не понравилось или сказать нечего?! Спасибо, Перчихин, молодец ты, выручил меня. И последние слова ты сказал хорошие, правильные слова: «Это уж будет не дело, а воровство».

И я с удовольствием произношу текст автора:

— ... *Оно, пожалуй...*

Вот вам, детки вы мои милые, вот до чего вы докатились, доучились. Воры вы. Воры... И, торжествуя, я отворачиваюсь от них. Победа! Моя победа! Здорово я их!

Притихли.

Все-таки мало я им влепил. Перчихин, конечно, не понял ничего, потому и торжествует. Доволен я своим ответом.

Может быть, и они не поняли, о чем я говорил, ну-ка посмотрю я на них... Смеются. Татьяна книжкой закрылась. А Петр спиной сидит. Одними плечами трясет — значит, тоже смеется.

— *О-хо-хо! Скучно что-то... Хоть бы ты, Терентий Хрисанфыч, гитару свою принес да поиграл бы,* — лебезит, выпрашивает старуха.

Это к чему же она, для чего? Зачем это она просит Терентия взять гитару? Понял: выручает, детей выручает. А может быть, пожалела? Меня пожалела? Боится она меня. Ах ты, стерва ты этакая! Чувствует, что скандал назревает, вот и хочет повернуть разговор. Песни ей захотелось, гитару послушать!..

Тоже мучается, тоже страдает.

А Тетерев отвечает:

— *При найме мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас...*

Я даже не сразу понял, о чем он говорит. Оторопел.

Чего это он ей хамит-то? Чего он ей грубит? Она же его ласково попросила, а он... Распустились все, распустись. Осадить его. Осадить нужно. Молчать нельзя — на голову сядут. В равные себя поставят, в независимые.

Медленно поворачиваюсь к нему.

— *Смотрю я на тебя Терентий Хрисанфович (подчеркивая его имя и отчество), и дивуюсь. Человек ты... извини за выражение, совсем... никудышный... но гордость в тебе — чисто барская. Откуда бы? (Не нравится мне твой гонор, давно не нравится, осторожней будь, попридержи язык. Найдем на тебя управу... Так ты и до меня доберешься! Нет, милый, не позволю я тебе этого. Знай свое место. Не высывайся.)*

— *Врожденная...* — отвечает Тетерев.

— *Чем же ты гордишься-то, скажи на милость?* — с презрением взглянул на него и произнес с нажимом.

— *Так это он — чудачит всё,* — закудахтала старуха.

У, какая лживая улыбка-то! Эх, мать! Опять встречаешь, защищаешь. Отгораживаешь, выручаешь.

— *Какая в нем гордость может быть?* — продолжает старуха. Все хочет, чтобы тихо было да гладко. Нет, мать, не получится. Не бывает так.

И вдруг дочь делает матери замечание. Стыдит ее, осаживает. Ей, значит, стыдно за нас, и перед кем? Кого она унижает? Мать. Родную мать. Некультурные, значит, мы, неправильно себя ведем. Ну конечно, она же учительница!.. Ах вы, подлецы!.. Мать, конечно, не поняла, глупая... Ну чего ты ахаешь да охаешь, унижает ведь она тебя, как девчонку учит да стыдит при всех. Эх вы, дети. Гады вы, гады!..

Я поворачиваюсь лицом и всем корпусом ко всем. Как бы всего себя подставляю для дальнейших ударов.

... А ты, дура старая, оправдываешься, соглашаешься! Обидно ведь тебе, обидно. Защититься не можешь. Замолчала только потому, чтобы скандала не

было, знаю я тебя... Нет, не пропущу я этого, плевать мне на всех! Чего мне стесняться-то, кого бояться-то, перед кем это мне сдерживать-то себя? Разве они люди? Разве они человеки? Звери они. Скоты. Ну смейтесь, унижайте нас! Сами мы виноваты — заслужили.

— Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли. Мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику с точки науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, глупые...

— Что уж там! — соглашается со мною мать. — Конечно уж... они ведь знают.

Дура! Что они знают? Не поняла ты, что я уязвить их хочу. Или поняла, да при всех понимать не хочешь?

— А это ты, брат, верно сказал, — подхватывает мои слова Перчихин. — Хоть и в шутку, а верно...

— Я не в шутку... — поправляю я Перчихина. Или ты тоже ни черта не понял? Ты посмотри на них, на детей-то. Дураки мы для них. Глупые, отсталые. Нас надо выбросить, лишние мы им!

— погоди! старики — действительно глупый народ...

Вот идиот! Да я не о стариках говорил, а о молодых, дубина ты стоеросовая! Корни рубят, корни. Основу сворачивают. Ни хрена ты не понял.

— Особенно как на тебя помотришь, — отвечаю Перчихину.

— Я — не в счет. Я даже так полагаю: не было бы стариков — не было бы и глупости...

Да что они, сговорились, что ль? Как тут усидеть спокойно?! Все против меня. Все... Настораживаюсь, слежу, чтобы не пропустить ничего, ни одного движения, ни одной усмешки — ведь отца оскорбляют, над отцом смеются.

А Перчихин продолжает:

— Старый человек думает, как сырое дерево горит — больше чаду, чем огня...

Смеются!.. Ладно, дотерплю до конца.

— Одобряю... — подбрасывает, подначивает Тетерев.

— Так, так! Ну, ври дальше... (Посмотрим... Балаган! Цирк! И это в моем доме?!)

— Старики, главное дело, упрямые! Он, старик, и видит, что ошибся, и чувствует, что ничего не понимает, но сознаться в том — не может. (Это он, значит, про меня, на меня намекает, дети поняли, вижу, что поняли, — смеются, это им на руку.) Гордость! (Конечно, про меня — видит, что я сижу надутый. Встать бы мне, развернуться, обрезать. Ведь, наверное, смотрят на меня. Все смотрят.) Жил, дескать, жил, одних штанов, может, сорок штук износил и в друг — понимать перестал!

Петр и Татьяна хохочут, животы надрывают, вон как их корезит, вон как рожи-то их перекосило! А Перчихин разливается — театр для себя устроил:

— Как так? Обидно! Ну, он свое и долбит — я стар, я прав. А куда уж? Ум стал тяжелый у него... А у молодых — ум быстрый, легкий...

— Ну, ты заврался, однако... — не выдерживаю и обрываю Перчихина. (Зачем это я так грубо-то, ведь он не виноват? Ну да черт с ним!) Ты вот что

*мне скажи: коли мы глупы, стало быть — надо нас учить уму-разуму? (Продолжаю конфликт с детьми.)*

— *Где там?* — балагурит Перчихин. — *В камни стрелять — стрелы терять...*

— *Погоди, не перебивай! Я постарше тебя. Я говорю: чего же быстрые то умы по углам от нас, стариков, разбегаются да оттуда смешные рожи показывают, а говорить с нами не хотят? Вот ты и подумай... И я пойду подумаю... один... коли глуп я для вашей компании... образованные мои дети...*

От отсутствия ума или от чего другого, но я действительно не понимаю, как можно учить человека, прожившего огромную жизнь, потратившего все свои силы ради будущего. Не понимаю, как это будущее — дети — в благодарность тебе смеется над тобою, издевается.

И я ухожу.

... Там, в своей комнате, Бессеменов еще долго ходит и думает.

Нет, кончить нужно этот балаган, прекратить, показать им свое превосходство. Не я для них глуп, а они для меня! Жизни не знают. Нет ничего за душой-то, вот и распустились, вот и разошлись. Знали бы, как достается копейка-то, каким трудом ее добывают-то...

Всю свою жизнь я в вас вложил, дорогие мои деточки. Всё — для вас. Комната для каждого отдельная. Пианино — вам. Все хочется сделать как лучше, тянешься изо всех сил, чтобы вытащить вас из нужды, из убожества, чтобы вы были лучше, учение. А вы вон какие. Такие же, как и эти, Перчихин да Тетерев. Ну Нил — понятно, он чужой мне, а Петр-то? Ведь сын, сын... И Татьяна. Разве они этого не видят, не понимают? Нет, это не они. Не от разума, не от своего сердца говорят. Чужие слова, чужие мысли в них... Что им нужно? Чего хотят? Жизни не знают. А жизнь-то, она ох какая! Того и гляди, спихнут тебя, раздавят, оттолкнут. Только покажи ей свою слабость.

Жалко, потеряно время. Неужели вся жизнь прошла зря? Кому все это достанется? Все, что мною выстрадано, вымучено, заработано... Дом, мой дом! Сколько ты мне стоил! Стеснили, разгородили тебя перегородками. Отгородились друг от друга заборами. Что там, за этими заборами-перегородками?... У каждого своя дверь. У каждого свое. Каждый запирается, закрывается. Стучать будешь — не достучишься. От кого, от кого запирается-то? Дом-то — не улица... Словно чужие, словно далекие. Зверь — и тот семьей живет, а мы-то — люди! Человеки!.. Все делаешь как лучше. Как ближе. А выходит — наоборот. Чем лучше — тем хуже, чем ближе — тем дальше. Из-за чего? Почему?.. Для себя я делал эти перегородки, выгораживал отдельные комнаты? Для вас. Для удобства вашего, для покоя, благополучия. Растите, занимайтесь, учитесь. Нам ничего не нужно, мы старые, мы глупые, мы необразованные. Все вам дали, что вы хотели. Мы не имели этого... Всю жизнь я ждал: придет, наступит благодарность. За мой труд, за мои заботы. Я мечтал, надеялся. Я гордился: мой сын будет ученым, будет юристом, будет работать.

Эх, господи, за что же ты мне посылаешь наказание такое? Я ли не терпел? Я ли не страдал? Я ли не просил, не молил тебя избавить нас от всякия скорби и

гнева? Господи, помилуй и сохрани! Ты, всевидящий и всеслышающий, не оставь нас, грешных, молящихся тебе! Ты, сотворивший человека по образу и подобию твоему, ты, населивший землю всякой тварью земной, не отними от нас твою благодать. Исцели нас от всякия нужды, болезни, печали, вздыхания. Я плачу и рыдаю, когда помышляю смерть и вижу во гробе лежащего. Смерть, где твое жало? Когда ты укусишь меня, когда ты возьмешь меня? Страшно мне, господи! Страшно! Не за себя, за детей молю! Господи, ты владыка жизни нашей, обрати на нас милость твою, отстрани от нас всякого врага, умири нашу жизнь. Дай причаститься к твоему долготерпению, многостраданию, многомилостивому твоему дару. Я человек, я самый смертный из всех смертных, я слаб. Слабеет вера моя, господи! Погряз в грехах моих. Разум мой оскудел, не могу постичь того, что сам сотворил.

Время жестокое, время бессердечное, злое время. Все восстают на меня, все говорят — нет спасения моего. За что одного меня обвиняют? Виноват ли я? Разве я враг им? Душу свою положу за детей своих... Вот сейчас вернусь и все им выскажу. Хватит! Довольно!

## ***ВО ВТОРОМ ДЕЙСТВИИ***

Первая ремарка автора здесь такова: «Осенний полдень. За столом сидит старик Бессеменов».

Сколько дней прошло после первого действия, не сказано. Может быть, один, а может быть — несколько. Но Горький подчеркивает: «Та же комната». И мне ясно: все это время Бессеменов думал о том, что произошло, мучился этим. То, что происходит теперь, — продолжение.

О чем же он думал? Как текли его мысли? Каков их печальный круговорот?

... Знаю, вижу, что пропасть между мной и детьми вырастает с каждым днем, вырастает до таких размеров, что нет никаких сил соединить нас в одно целое.

Понимаю и не понимаю причины этого. Понимаю, что не остановить, не затормозить мне потока противоречий. Все равно что войти в Волгу, встать и руками перегородить ей путь. Только зря силы потратишь... И не могу не пытаться остановить...

Почему так жестоко мстит жизнь человеку, говоря ему в старости: бесцельно прожил ты годы, тебе только казалось, что ты жил и что-то сделал, а на поверку вышло — подсчитывать нечего. Все твое оказывается не твоим, все, что ты построил, накопил, и даже самое тебе близкое, что произошло от тебя самого, от твоей плоти и крови, становится тебе чужим.

Кому пойдешь жаловаться? Кому поведаешь свою тоску и печаль? Способен ли другой человек выслушать тебя, найдешь ли в нем сочувствие? Скорее всего, он перебьет тебя, опередит, навстречу твоим горестям выложит свои и задаст тебе тот же вопрос: кто виноват? Почему так устроено?

В доме сейчас никого нет. Мы одни. В последнее время такое редко бывает.

Всегда мешают, не дают поговорить наедине, откровенно. Нил уехал на своем паровозе, Тетерев со вчерашнего вечера пропал. Елена наверху спит или занимается своим делом — печет пироги; значит, опять будет заманивать к себе в гости, будут песни, пляски, игры, шум...

Самое время выяснить наши отношения, понять, чего хотят мои дети. Дать решительный бой. Все непросто. Выбиваемся из последних сил, каждому все ясно и понятно и в то же время ничего не ясно и ничего не понятно. Понимаем, что мучаем друг друга и не понимаем друг друга. Наносим боль друг другу, сознаем бессцельность скандала и не можем без него обойтись. Плачем, успокаиваем друг друга и снова приносим боль и слезы. Не разорвать замкнутый круг...

У меня, Бессеменова-старшего, жизнь на исходе. Может быть, я проживу еще много лет, но силы уже не те. Время такое, когда силы свои рассчитываешь по копейкам, чтобы осталось хоть что-нибудь на завтра. А какое оно, завтра, если и сегодняшнее непонятно?

Беспокойно. Страшно.

Я хочу, чтобы дети испытывали тот же страх перед завтрашним, какой испытываю я, отец.

Я много знаю о вчерашнем, его много было в моей жизни. У моих детей нет «вчера», у них только «сегодня» и «завтра». Какое оно? Мое «завтра» определено моим вчерашним и сегодняшним днем. Я построил его всей моей жизнью. Честно или нечестно — другой вопрос, но мое «завтра» обеспечено.

Умру я — кто вам обеспечит ваше «завтра»? Не будь моего капитала, не отложи я его на завтрашний день, пропали бы. Никто вам не поможет, никто не спасет.

Не хочу, чтоб вы начали на пустом месте, как когда-то начинал я сам. Не хочу, не желаю, чтобы вы повторяли прошедшее. Всю свою жизнь отдал, чтобы миновала вас судьба отцов ваших.

Кто, дети мои, ближе всех вам, как не отец? Если и бью вас, словом или делом, то это бьет отец ваш, я делаю это не от зла, от желания добра, потому что вы мои дети. Если бьет чужой, то от его битья только боль, только унижение, только оскорбление. Не позволяй себя бить другому. Он может изувечить, оставить тебя калекой. Другое дело — отец.

Почему же я раньше не задумывался над тем, что сейчас меня мучает? Почему раньше было все так просто, понятно, а теперь словно в тумане — не разглядишь?

И время-то бежит, торопится. Раньше, бывало, день-то тянется, тянется, а теперь не успеешь встать, как уж пора и ложиться. Дни, что ль, стали короче? Кто их укоротил? Кому это нужно их укорачивать? Ведь все идет так, как было, все течет по-прежнему, по тому же самому руслу. Что же изменилось? Кто изменил, когда изменил, как это я не успел всего заметить?

Вот так пропускаешь, откладываешь на потом, а спохватишься — догонять-то уж и нечего, да и нечем. Хоть бы успеть сделать то, что осталось. А осталось совсем мало — дожить до конца... Слово-то какое кучее — «дожить»! Нет, противное слово, и вообще плохо устроен мир — к концу жизни обиды

много. Раньше была надежда, мечта была, а теперь одна обида. Живя мечтой, силы свои не бережешь, не знаешь цену им, растрачиваешь без счета, словно конца им нет, силам-то, а потом вдруг остаются одни желания, а силы нет. Разве не обидно?

И все мне кажется, что я ничего не сделал. Всю жизнь делал, делал, работал, работал, а подсчитать нечего, результата-то нет.

Ну вот, хотя бы взглянуть на мой дом: старый он, как мы со старухой, это ее приданое. Тогда я радовался — у меня дом. Мой дом! И не где-нибудь, а в городе... Знаешь ли ты, дурья голова, что такое город? Откуда тебе знать? Ты в нем родился, ты к нему привык, ты его и не знаешь. Чтобы знать, нужно потеряться, одному поплутать, испытать его, кто он такой и что он такое — город. Чужой город, чужие улицы, чужие дома, чужие люди. А люди злые, недобрые, каждый сам по себе, каждый сам для себя. Смотри в оба — того гляди, раздавят, сомнут. Зимой снега ни у кого не выпросишь, а если и дадут, то потом всю жизнь отдавать будешь: мы тебе помогали-де. Какая же это помощь, если потом за нее всю жизнь попрекают да в глаза тыкают?..

У других все получается, все идет как надо. Вон у Филиппа Назарова сын. И рожа-то вся в прыщах, и ростом не вышел, а посмотри ты на него: какую девку отхватил, да и у кого отхватил! Ему теперь все нипочем, только поспевай, только поворачивайся. Везет же людям! На выборах в члены городской управы попадет. Дом новый построил, мебель разную купил... возили, возили, сколько подвод прошло — я и со счета сбился. Да, приданое хорошее взял. Девка-то не стоит столько, сколько дали за нее. А у меня и образованная, и морда не топором вырублена, и в теле, и все, что надо, есть, а никто не берет, никому не нужна. Чего-то, значит, в ней не хватает. Вот тебе и образование. Кому оно нужно в бабе образование-то? Спать в постели можно и без науки...  
Учительница!

Руки нужно иметь, умелые руки. Вот они, мои руки — широкие, как лопата. По этим рукам можно рассказать всю мою биографию. Не по линиям, не по морщинам, а по сплошной мозоли, по тому, как с трудом выпрямляются пальцы, по тому, как в них въелась краска. Что они только ни делали, мои руки! Они и строили, и ломали, и убивали, и жизнь давали, и ласкали, и били, и в гроб заколачивали, а они, мои дети, смеются надо мной.

Знаем мы все друг друга, видели в разных видах. Сколько соли съели за одним столом! Вез слов понимаем, чьи это шаги слышатся и что за этими шагами таится.

Мне, может быть, известно больше всех, и все же делаю вид, что не понимаю, не постигаю того, что вокруг меня делается. И мучаю других, а больше всего сам мучаюсь и упиваюсь своим мучением, выворачиваю до физической боли всего себя наизнанку перед своими детьми.

Каждый раз одни и те же вопросы, и каждый раз одни и те же ответы — только в разных комбинациях. С каких только сторон ни подходил я к ним, к Петру и Татьяне, чтобы внушить им, вложить в них мое! А они только делают вид, что берут.

Обиднее всего, что обманули они нас. Когда были маленькие, кругом

только удивлялись их уму да расторопности всякой, а выросли — словно их подменили. Все растеряли. Дураки вперед ушли, а наши умные дома сидят. За грехи, что ль, за какие такое наказание мне?

А зачем этот крик, этот ор в доме? Нужен он мне? Нет. Дурное предчувствие во мне говорит, толкает меня на какие-то поступки, чтобы остановить любыми средствами, любым способом крушение дома моего. Я ощущаю распад чего-то крепкого, нужного, необходимого, без чего не может быть никакой жизни...

Я прочно сижу на стуле, справа под рукой — край большого стола. Слева у окна спиной ко мне сидит Петр. Татьяна ходит между диваном и столом, сложив руки на груди, вышагивает от двери своей комнаты до сундучка и обратно. Мне нужно бы встать и уйти, и сами слова, которые произношу, подсказывают, что так было бы лучше:

— *Битый час говорю я вам... детки мои милые, а видно, нет у меня таких слов, чтобы сердца вашего коснулись... Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.*

Встал бы и ушел, но знаю, что меня никто не остановит, мне дадут уйти, и все на этом может кончиться...

Спор идет между образованными и мною, мужиком, может быть окончившим лишь приходское училище, но знающим жизнь. Спор идет принципиальный: я отстаиваю и защищаю сложившуюся жизнь со всеми ее взаимоотношениями, проверенными огромным человеческим опытом — людей умных, состоятельных, почтенных, отмеченных всяческими почестями, орденами и медалями. Главная моя задача в нашем сегодняшнем споре — показать свое превосходство над ними, образованными.

Я знаю и вижу, что своими доводами наступая им на любимую мозоль, вижу, как их корежит и выворачивает. Я давлю их своей силой, своими упреками, их неудавшейся карьерой. Деваться им некуда: я нынче вооружился такими средствами, от которых уйти нельзя, опасно уйти. Ведь если со мной что-то случится, то грех падет на их души, они будут считать себя виновными в моей болезни, а может быть, и смерти. Поэтому мои слова высказываются на самых высоких нотах:

— *Битый час говорю я вам, детки мои милые, а видно, нет у меня таких слов, чтобы сердца вашего коснулись...*

Занавес еще только пошел, еще не успели остыть эмоции предыдущего акта, а Бессеменов с накопленными мыслями вновь погружается в атмосферу своего сумасшедшего дома...

Я читал молитву на сон грядущий — «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человеках благоволение», но я не заснул. Я не могу успокоиться, я рвусь в бой и буду бороться до конца, пока не иссякнут все мои физические и духовные силы.

— *Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору...*

Я не смотрю на них — я чувствую. Я слышу и вижу, как от сундучка до своей комнаты вымеряет шаги Татьяна с кривой и злой усмешкой на



растянутых губах. Петр не выдерживает, взвизгивает со своего места у окна, словно пружина, и, повернувшись ко мне, вопит в отчаянии: *«Ты скажи прямо — чего ты хочешь от нас?»*

Я его перекрикивать не стану: зачем? Мне приятно, что я задеваю их за живое. Зачем мне орать? У меня в жизни все хорошо, все устроено. Всех содержу, пою, кормлю. Все я, я один. От вас не получаю ни копейки. Поэтому спрашиваю спокойно:

— *Хочу понять, что вы за люди... Желая знать — какой ты человек?* (Спокойно спрашиваю, но с тайной издевочкой. И скрываю за вопросом бесконечную боль, невыносимую муку.)

Трое нас в комнате, матери нет, но она где-нибудь за шкафом, за дверью уткнулась в уголок, притаилась и слушает. Молчит в ожидании и плачет. Я сейчас один воюю. Война идет словесная, но каждому сильно достается. И она, наша мать, стоит на стреме, чтобы в самый опасный момент высунуться, смягчить, отвести удар.

— *Подожди! Я отвечу тебе... ты поймешь, увидишь. Дай прежде кончу учиться,* — говорит Петр.

Но он ничего нового мне не сказал. И мой ответ прост:

— *Учись!* (Кто, мол, тебе мешает, разве я запрещаю? Я даже требую: учись!)

И вот тут-то ему ответить нечем, он понимает, что учиться он не может, ему неприятно, он мучается тем, что произошло у него в университете, а я его, битого, бью еще раз:

— *Но ты не учишься... а фордыбачишь.*

Ну как мне здесь не быть на самом вершине положения?! Сам ведь подкинул мне тему, от которой ему больно. Прищемил сам себя и скрючился от бессилия. Кругом виноват, теперь уж терпи до конца:

— *Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь — неправильно?*

Я хочу ему показать, что во мне своего защитника он не найдет, ибо я стою на тех же самых основах, на которых стоит университет, из которого его исключили. И говорю это ему с болью, но и торжествуя — словно я уже выиграл в споре. И дальше — крепко, грозно, убежденно:

— *Ошибаешься.*

И как самое главное, давно всеми осознанное, как закон:

— *Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни.* (Я делаю акцент на слове «распорядитель»).

С каким упоением я произношу эту истину, которая всем известна и только ему неизвестна, моему сыну и таким, как он, студентам, которых выгнали. Я бы сказал им перед всей матушкой Россией, чтобы все слышали и помнили: яйца курицу не учат!

— *Ты научись* (ударяя запястьем своей кисти об стол, подчеркивая свою правоту еще и жестом). — *Будь мастером в твоем деле и тогда — рассуждай... А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать — цыц!*

Вам, сволочи, слишком много дали прав. Нынешние молодые возомнили о себе через разные науки, книжки заграничные читают, смеются над нами, мужиками... Чуть поучились — и уже в учителя жизни лезете?! Читать-писать выучились и думаете, всю науку жизни знаете?! Ты поломай свою голову над ней, над ее устройством, а когда разберешься, тогда и рассуждай.

Тело все напряжено и собрано, как перед стартом. Срываюсь, не дождавшись сигнала, выпаливаю свой заряд и опять встаю на старт, заряжаюсь для нового прыжка...

— *Я говорю это тебе не со зла, а по душе... как ты есть сын мой, кровь моя, и всё такое.*

На последних словах руками что-то перемешиваю, смешиваю, как месят тесто, глину. И вдруг как неожиданный и вместе с тем непререкаемый в своей убедительности пример всплывает Нил. Мои руки вытягиваются вперед, ладонями вверх — жест просительный, но в то же время требовательный, категоричный. Голос звучит точно так же, как жест, вернее, жест выражает, подчеркивает тембр и высоту голоса на словах:

— *Нилу я ничего не говорю... хоть много положил труда на него, хоть он и приемный мой... но все ж он — чужая кровь. И чем дальше — тем больше он мне чужой.*

Жест из просительного перерастает в отрицающий, рубящий. Левая рука сжата в кулак; размахнувшись, останавливается, как останавливается топор, когда втыкается в полено и застревает. Тут снова поднатужишься, поднимешь топор вместе с поленом и головой топора саданешь обо что-нибудь твердое, отчего полено разлетится. Так звучит моя последняя фраза:

— *Я вижу, будет он прохвостом... актером будет или еще чем-нибудь в таком духе... Может, даже социалистом будет... Ну — туда ему и дорога!*

Мой довод, как мне кажется, должен подействовать на Петра. Я не успел еще этого проверить — слишком был занят Нилом — как вдруг всунулась, вылезла из щели жена Акулина Ивановна. Ей, наверное, показалось, что я разрываю с Нилом, и она испугалась, что, разорвав с Нилом, я пойду и на разрыв с детьми. Как хорошо, как убедительно все шло, и вдруг выскочила, паразитка!

— *Отец! Не пора ли обедать?*

Я, видно, так резко к ней обернулся (она подошла к самому столу с правой стороны от меня) и так ударил рукой по столу, что она подпрыгнула, взметнулась и вылетела в дверь, а я, схватив стул, погнался за ней и в дверях кричу ей вдогонку, посылая проклятия:

— *Пошла ты! Не суйся, когда не надо...*

На каждом слове немного приседаю: настойчиво, мучительно требую не мешать мне разговаривать с детьми.

Все сбила. Все хорошо шло, и вот на тебе, все испортила. Теперь эти на меня окрысились — за мать. Дуются, пыхтят, сопят, фыркают, а сказать не решаются. Посмотрел я на них, передразнил, как они шипят да фыркают, особенно Татьяна, замолчал, сел за стол и уже теперь не им, а всем говорю, всем — и Петру, и Татьяне, и зрителю, и всем, кто против меня, Бессеменова.

Тихо, с большой обидой обращаюсь. И не злость во мне говорит, а правда — прожитая мною жизнь. Призываю всех обратить свои чувства ко мне и понять меня, отца.

— *Я не хочу никого обижать... Я сам обижен вами, горько обижен!.. Я вам — как чужой...*

В эти слова я, актер, вкладываю и свое, личное. Мне хочется, чтобы люди оставались людьми, не теряли облик человеческий, не становились жестокими и черствыми друг к другу.

Мой герой — обыватель, олицетворение мещанства. Но, несмотря ни на что, я говорю и доказываю всем его противникам, что он — человек. Вместе с Горьким доказываю. Какой бы Бессеменов ни был, он — человек. Я его сейчас не имею права обвинять, я в этот момент не прокурор его, и он не виноват. Да, Василий Васильевич Бессеменов не успевает за историей и ее не делает. Но он — труженик, часть народа. Он — жертва той формы отношений между людьми, которую установили до него. Других законов он не знал и не мог знать. Он сросся с формой, выработанной до него многими поколениями. Он вырос в той нашей российской жизни, где каждый был друг другу зверь, каждый старался сожрать другого и за его счет обогатиться, всплыть на поверхность. В водовороте такой жизни быстро можно утонуть. Кроме умения плавать, тут нужны выдержка, ловкость и лошадиная трудоспособность. Нужно иметь сильные руки, а еще лучше — чью-то сильную руку, чтобы вытащила тебя, не дала тебе утонуть или разбиться. У Бессеменова не было чужой руки, он выкарабкивался сам.

Один. Один был, один и остался. Один против всех. Всю жизнь выбивался «в люди», и теперь, выбившись, через нужду, через труд, через годы борьбы за право называться старшиной или мастером цеха — что совсем не смешно в понимании Василия Васильевича, — он остается ни с чем...

*«В доме моем я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано... Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы народ простой, еще насмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети — чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете... никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете — какими думами заняты, что делать будете?»*

Этих слов я в спектакле не говорю, они в моем монологе опущены, но это не значит, что они «вымараны» из характера Бессеменова. Нет, они живут в моем поведении, в реакциях, в способах действия, приспособлениях. Они создают фундамент, почву, на которой строятся взаимоотношения с детьми.

На первый взгляд кажется, что это сокращение текста невыгодно для актера. Мне самому хотелось произносить такие образные фразы, как: «В доме моем я хожу осторожно, ровно по полу везде битое стекло насыпано...» Этими словами сразу можно вызвать жалость, сочувствие к себе.

Но, минуя приведенный выше текст, я, актер, получаю возможность сильнее сказать о главном: «Я вам — как чужой...» И слова эти в полной мере заменят опущенные, если только вложить в них всю свою боль и укор.

Показать, но не высказать! Высказать — значит освободить себя от груза, а этого не хочется Бессеменову — такие люди любят пострадать, помучиться. Разума не хватает, вот он и жмет на чувства. Всего себя искорежит, измучает и в этом найдет удовольствие. Ведь нужно же чем-то отличаться от других! Да и близких необходимо помучить.

... Еще немножко и стул полетел бы в Акулину Ивановну. Но это я замахнулся, чтобы только пугнуть. Никогда Бессеменов не отважится на такое — жалко. Не Акулину Ивановну, а стул: сломаться может...

Захлопнув дверь, направляюсь на свое место. Иду. Останавливает меня фырканье и шипение детей. Смотрю на них и создаю из этого события, мелкого, ничтожного, — более важное, крупное: в доме моем распад, разложение, все врозь.

— *А ведь я — люблю вас... Люблю!* — объявляю детям. (Подчеркиваю это слово. Пусть оно старое, изношенное, истрепанное, но без него нельзя жить.) *Понимаете вы, что значит — любовь?* (Для вас это только похоть, а для меня любовь — совсем другое.) *Тебя вот выгнали — мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно... и даже конфузно перед людьми.* (Вот я какой! Из обыкновенных самый обыкновенный, но и во мне чувство гордости есть, не только у образованных. Я горжусь не образованностью, а знанием, опытом, которым вы все пренебрегли. А образованность вот к чему приводит...) *Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и...* (далее не могу подобрать слов — неловко говорить при девушке о том, что она могла бы рожать, — и в запальчивости показываю руками, как качают детей. Вроде бы они вынуждают меня говорить о вещах, о которых вслух не говорят.) *... все такое? Мне хочется видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом...* (Оправдываю этим свое поведение и для вящей убедительности правой рукой вычерчиваю в воздухе огромными буквами — «человеком».) *Вон Филиппа Назарова сын — кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает... в члены управы попадет...*

Петр не выдерживает моего натиска, я вижу, что он чувствует свою вину передо мной, пытается успокоить меня, но попытка его неуверенная, неопределенная: *«Подождите... и я женюсь...»*

Я делаю вид, что не расслышал его слов: мямлит чего-то себе под нос. Я-то знаю, о чем он думает... Как раз этого я и не хочу. Да и не представляю себе, что Петр пойдет на такое. Но все же ущемлю его Еленой. Выведу его из себя.

— *Да я вижу!* — через смехок, с издевочкой бросаю ему. — *Ты — хоть завтра готов... Ну, только — на ком?* (Показываю головой и глазами на потолок: Елена живет там, наверху.) *На вертушке...* (замолкаю, оглядываюсь по сторонам, и если бы не Татьяна, сказал бы я ему по-мужски, кто она, эта Елена. Но говорю помягче.) *... на беспутной бабенке... да еще и вдове! Э-эх!*

Всякий понимает, что такое вдова. Изношенная, потертая... И вдруг Петр набрасывается на меня, кричит:

— *Вы не имеете права называть ее... так!*

— *Как — так? Вдовой или беспутной?*

Поступок Петра меня ошеломил. Медленно поднимаюсь и иду прямо на

него, крепко сжав кулаки, и опять если бы не Татьяна, то, наверное, мог бы и ударить, потому что она, Елена, а не я у него в голове. Меня, отца, променял на бабу! И на какую?! Ну хоть было бы что-нибудь у нее кроме смазливой рожки, кроме песен да плясок! С ней только один-два раза переспать и все!.. Нет, какая наглость?! Не имею права!

А эта ворона, дочь моя, чего каркает, чего балабонит? «Я — не понимаю ничего...» Ну, не понимаешь — и не лезь!

— Отец!.. Когда вы говорите — я чувствую — вы правы!.. Но ваша правда — чужая нам... мне и ему... понимаете? У нас уже своя... вы не сердитесь, стойте! Две правды, папаша... — кричит Татьяна. И руками показывает — две.

У меня нет слов, мой язык онемел. Мне, Бессеменову, никогда не доводилось говорить такое не только отцу, но даже просто чужому уважаемому человеку. Моя голова не вмещает в себя, да и не может вместить все это. Есть только одна правда — та, с которой я прожил всю жизнь, другой правды не существует. Моя правда доказана всей моей жизнью. И вдруг — против нее, против отцовской правды?! И кто, кто? Те, ради кого я жил — сын и дочь!

Мне больно. И не оттого, что они сказали такое, а оттого, что не понимают своей ошибки. Жизнь еще заставит их прийти к моей, настоящей правде. Ни одна книжка не расскажет всей этой правды. Ваша правда выдуманная, книжная, ученая, а моя — простая, моя правда — сама жизнь.

Я бросился на них, засучив рукава. Сжал кулаки и бегу вокруг стола, хочу схватить их, как когда-то ловил, чтобы наказать. Если слов не понимали, то понятия у них ремнем добивался. А теперь они взрослые, здоровые, не схватишь их, штаны не снимешь, сил для этого не хватит, да и не поможет. Только орать и остается:

— Врешь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!

Ни себя, ни Петра, ни Татьяны — никого не слышу. Своя боль заглушает чужую, оттого ее и не слышать. Орем, стараемся перекричать друг друга, и только. Петр пытается мне вдолбить, что моя правда узка им, выросли из нее, им тесно, она их давит.

Ну конечно, давит! Я понимаю! Даже иллюстрирую слова Петра жестами: язвительно показываю, как им тяжело, как трудно. Передразниваю их. Выкобениваюсь перед ними. Соглашаясь, издеваюсь над ними, над их «невыносимым» страданием:

— Ну да! Да! да! да! (Мне мало одного горьковского «да!»). Мне нужно десять «да!»), чтобы потом еще и показать жестом, какие они большие, высокие, значительные.) Вы... вы! (Руки подняты ладонями к потолку. Затем опускаются ладонями к полу: а мы — маленькие, ограниченные, ничтожные.) Как же... вы образовались, а я дурак! (Безнадежно машу правой рукой.)

На это Петру нечего сказать, потому что я попал в точку, угадал их мысли. Татьяне тоже не по себе.

— Не то, — кричит, — папаша! Не так...

— Нет — то! (Меня не проведешь, меня не обманешь!) К вам ходят

*гости... целые дни шум... ночью спать нельзя... Ты на моих глазах шашни с постоянной заводил... (Обращаюсь то к Петру, то к Татьяне, раскрываю им свою давнишнюю боль — ту, о которой мы с матерью никогда им не говорим, за которую никогда не попрекаем, молча терпим.) ... ты всегда надута... а я... (здесь обида наружу лезет, говорить не дает, глотку зажимает) ... а мы с матерью жмемся в углу...*

Здесь как бы спектакль в спектакле. Горький где-то говорил о том, что есть любители пострадать. Такому нужно вымучить себя, вывернуть наизнанку, упиться своей мукой. А потом в изнеможении, словно после бани, где парился до полусмерти, такой «страдалец» медленно возвращается к жизни. Обмякает, становится освобожденным, добрым. Так и здесь, в этой сцене, я, Бессеменов, упиваюсь горем. Разыгрываю перед своими детьми драму, трагедию.

... Я вывожу Акулину Ивановну, показывая детям, что мать в углу пряталась, все видела, все слышала. Открываю дверь и вытаскиваю ее, маленькую, жалкую, да еще дверью пришибленную (открывая дверь, я стукнул ее по лбу).

— *Голубчики! Да ведь я... родной ты мой! Разве я говорю что?* — жалобно воет Акулина Ивановна. — *Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга... милые!..*

Я прижимаю старуху к себе, целую ее и как бы от имени наших детей говорю ей горькую правду:

— *Пошла прочь, старуха!* (Отрываю я ее от себя, отбрасываю в сторону.) *Не нужна ты им. Оба мы не нужны!*

И сам, чужой, ненужный, бегу в свою дыру, в свою комнату, отмахиваюсь от детей:

— *Они — умные!.. Мы — чужие для них...*

Петр бежит за мной. Я знал, чувствовал, что он побежит. Куда ему от меня деться? И должен же он чувствовать мое беспокойство, беспокойство отца! Мое горе должно быть и его горем. На то ты и сын, чтобы разделять не только радости, но и горе. Помогать отцу. Я ведь уже стар, мне покой нужен, забота, сыновья ласка... Как это так — две правды?!

— *Вдруг... жили отец и дети... вдруг — две правды... Звери вы!*

Нет, раздавлю я вашу правду своей!

— *Чем гордитесь? Что сделали? А мы — жили! Работали, строили дома... для вас... грешили... может быть, много грешили — для вас!* (Отстукиваю кулаком по столу каждый довод.)

Петр не выдерживает и кричит мне:

— *Просил я тебя, чтоб ты... все это делал?*

И снова, словно с цепи сорвавшись, оскалились, заорали, застучали стульями, а я так даже присвистнул, наслаждаясь озлобленностью и беспомощностью Петра и Татьяны.

Дверь неожиданно распахнулась. В ней появился Нил. И сразу все остановилось.

— *Дайте поскорее двугривенный, извозчику заплатить!* — спокойно говорит Нил.

Я растерялся, как-то не понял, о чем речь. Вот он, Нил, в одном доме с нами живет, сыном моим считается, а существует обособленно. На извозчиках, оказывается, разъезжает... Мне не жалко двугривенного, мне обидно, что не родной сын, а приемный такой ладный, уверенный. Трудится, у него свои деньги, заработанные, может и извозчика себе позволить. А вот у Петра ничего нет. Петр на моем иждивении.

— *Ты, нехристь! Куда пришел!* — грубо обращаюсь к Нилу.

— *А? Куда?*

— *В шапке! Шапку...* (Стучу кулаком по столу.)

— *Что, в самом деле?* — поддерживает меня мать. — *Грязный лезешь прямо в горницы... ишь ты!*

— *Да вы двугривенный-то дайте!*

Петр дает двугривенный. Что для них двугривенный? Разве они могут знать, как достаются двугривенные? Нил взял монету и вылетел.

— *Ишь! Вот он!.. Тоже — всё с рывка, с наскоку... Тоже нахватался где-то... чего-то... Уважения нет ни к чему на свете...*

Вот и мать, Акулина Ивановна, тоже не понимает, чего я хочу. Только и делов у нее — накормить, напоить, спать уложить, выстирать да отутюжить. Больших забот нет. Было бы только тихо, не ругались да не грызлись бы. На мне одном весь дом держится. За всех я думать должен. А спасибо за это кто скажет? Ласкового слова от кого дождешься? Обидно. Да и страшно.

— *Боюсь я! Время такое... страшное время! Все ломается, трещит... волнуется жизнь!.. За тебя боюсь... Вдруг что-нибудь... кто нас поддержит в старости? Ты — опора нам... Вон Нил-то... вишь какой? И этот... птица эта, Тетерев... тоже! Ты сторонись их! Они... не любят нас! Гляди!*

Я сижу за столом и перебираю угол скатерти: выбираю место почище да посуше, чтобы слезу утереть. А Петр рядом.

— *Э, полно! Ничего со мной не будет...* — подлащивается Петр. — *Вот, подожду еще немного... потом подам прошение...*

Смотрю я на Петра, и злоба моя переходит в ласку. Это же сын мой. Он похож на меня. Я вижу это, замечаю... Ох, так бы вот и ударил — замахиваюсь кулаком, а самому радостно. Обхватываю его рукой за голову, притягиваю к себе и своим носом трусь об его нос. Это наша давнишняя игра, наша ласка. Тогда он был совсем еще маленький, и нос у него был тоже маленький, а теперь вон каков — с усами, с бородой. И все-таки для меня он маленький. Любовно его рассматриваю: глаза, морщинки у глаз, голова лохматая. А волосы уже редуют. Скоро лысина будет... Тепло мне, радостно. Вот бы так и сидеть, вот бы так и жить...

— *Обедать скоро будем, а?*

Это Нил. Опять Нил! Повернулся к нему. Сердиться мне на него нет теперь никакой возможности: растаял я, размяк.

— *Рожу-то умыл бы сначала, а потом об еде спрашивал,* — без злости, с улыбкой замечаю Нилу.

Поворачиваюсь к Петру, а его уже нет. Ушел. Улизнул. Ненадолго его хватило. С той, с постоялкой, часами сидит, а с отцом родным... Все же я

высказал им свою боль, и мне полегчало... Зря на них кричу. Зря их мучаю. Не виноваты они. Кто-то другой во всем виноват. Что-то происходит в жизни тревожное, нехорошее... Да, жизнь виновата. Не проглядеть бы мне чего, а то застанет врасплох. Что тогда будем делать?

Сквозь собственные мысли слышу, как Нил говорит про дождь, про старый паровоз, начальников ругает.

Все мы начальников ругаем. Только не вслух это надо делать, а про себя. Вдруг кто-нибудь услышит, передаст.

— *Болтай больше! Что-то, я смотрю, ты про начальников-то легко говорить стал... смотри, худа не было бы!*

Разговорился с ним, словно он мне ровня. Перекидываемся словечками. Оба уставшие, но один от работы, а другой от скандала. Сидим, вытянувши ноги, заражаем друг друга зевотой... А гонору у Нила хоть отбавляй! Вишь, сидит — развалился...

— *Ты таким языком со мной не смей говорить!*

— *А у меня один язык (Нил высунул свой язык и показал мне), и я со всеми им говорю...*

Ну что ему сказать? Мать выручает:

— *Ах ты, бесстыдник! Кому ты язык показываешь?*

Я встаю:

— *Погоди, мать, постой!* (Высоко поднимаю руку, как это делают в театре трагические актеры, и так же медленно, как они, иду на Нила. И так же медленно урезониваю.) *Ты... умник! Я хочу с тобой говорить!*

— *Лучше бы после обеда!.. И потом, — что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете... а мне ругаться с вами неприятно... лучше бы вы... того... сказали бы прямо, что терпеть меня не можете... и чтоб я...*

Нил опередил меня, сказал за меня то, о чем я думал, да так просто, с улыбкой.

Я повернулся и гордо ушел в свою комнату, бросив ему на ходу: «*Ну, черт с тобой!*»

Я у себя.

Всегда слышно, что делается в соседней комнате. Если прислушаться, будешь знать всё, все дела, все помыслы своего соседа, а потом делать перед ним вид, что ни о чем не ведаешь, дабы не показаться ему человеком, который шпионит.

Я прислушиваюсь и одновременно думаю о своем.

Больше всего сейчас меня волнует Петр. Я не могу найти с ним общего языка. Все, что я ему говорю, советую, он принимает с недоверием, с каким-то внутренним смехом. В моих словах, в моих поучениях он ничего другого не слышит и не видит, кроме давно известных ему истин. Пример моей жизни ему ни о чем не говорит, словно все, что сделано мной, достойно только презрения и остается ждать одного — моего конца, чтобы потом, совсем освободившись от родительской опеки, перестроить свою жизнь по-новому. А нового ничего нет. Не понимает он этого. Новое — пустые слова, ненужные разговоры,



новые — только дети, а жизнь, она старше нас, стариков, движется по своему вечному закону, жестокому и суровому.

Закон этот — сила. А сила в капитале, в накоплении. Вот он ругает меня, что я сам двор подметаю, обвиняет меня в жадности. Ну хорошо, заплачу я дворнику, он сегодня убрал, а завтра-то опять его нужно нанимать. Опять, значит, платить? Да еще следи за ним, чтобы он честно работал, а недоглядишь — себе убытку больше. И потом, что плохого, если я сам двор уберу, — позорно, что ль? Кому стыдно-то? За что стыдно-то? Как это они не понимают работы, брезгуют, стыдятся метлы да лопаты. Словно у них достоинство убудет.

Они не любят меня и всегда спорят со мной. Хотят сказать: это лучше, чем ты думаешь, а вот это — хуже.

Дурное и тяжелое они видят не так, как я, а как-то особенно, будто в театре, на какой-нибудь трагедии. Ну, в театре ладно, оно понятно. Там театр, там всё врут, придумывают, приукрашивают, таких людей в жизни не бывает, обман все это. В жизни совсем не так.

Вот они говорят: «Жизнь быстро движется вперед». Врут! Годы наши быстро движутся вперед, а не жизнь. Люди меняются, а жизнь не меняется, она стоит, как стоит вон тот шкаф. Его не сдвинешь, да и двигать незачем. Он стоит на своем месте. О нем еще не раз вспомнят, деньги за него большие дадут. Теперь он им не нравится, потом понравится, искать его будут, разыскивать.

Один продает, другой покупает, одному все надоело, а другому — в новинку. Вот так же и этот шкаф: кто продавал, тому он надоел, а мне понравился, и каждый, кто войдет ко мне, обратит на него внимание, пощупает его, погладит, а мне приятно, радостно — значит, я не отстаю от людей, а может быть, иду немного впереди... Они, дети, не понимают, не ценят. Они при нем выросли, им другой шкаф подавай. А для меня этот шкаф был ступенькой, поднялся с ним над другими людьми, догоняю впереди идущих. Он, может быть, и не нужен мне был, а как же без шкафа-то! Каждый тогда говорил: у Василия — шкаф, да еще какой! Как у губернатора!..

Почему это все получается шиворот-навыворот?! В Петра и Татьяну вложил всю свою жизнь, ни в чем им не отказывал, лелеял, воспитание дал, как дают другие — благородные; только гувернеров не было. Зато были музыканты. Сколько денег перевели, чтоб играли! Не для того, чтобы в артисты пошли, а для того, чтобы не отстать от других, чтобы от простых оторваться, вырваться на поверхность. В университет отдал, чтобы учились... Все делал для них. И что получилось?..

В своей комнате я жду конца разговора Татьяны с матерью. Слышу, о чем они говорят: невозможно этого не слышать. Одна хочет слово вставить, а другая не дает. Одна хочет заглушить, пригасить разговор, а другая во весь голос, во всю мощь своего гнева, руками, ногами, всем своим взъерошенным вороньим видом кричит: *«Мне негде отдохнуть! Я навсегда устала... навсегда! Понимаете? На всю жизнь... от вас устала... от всего!»* Не только в комнате — на улице слышен этот рев. Не люди, не человеки, а звери грызутся!.. Разбежались, а гул в ушах остался.

Татьяна хлопнула дверью, взметнула шалью и вылетела. Шпильки побросала, значит — волосы распустила, так нечесаной и выскочила. Им, верхним, напоказ, а нам с матерью назло.

Выхожу из своей комнаты. Вхожу в ту, где шел разговор Татьяны с матерью. Делаю вид, будто застать, накрыть их хочу, а сам все знаю и нарочно ждал, когда уйдет Татьяна, чтобы выпятить наше горе, показать, в каком положении мы с матерью оказались. Подчеркнуть нашу покинутость, наше одиночество. Для этого молча останавливаюсь у дверей, продолжая заводить карманные часы.

Смотрю на старуху, а старуха, увидев меня, сжалась вся, потом, спохватившись, бросилась к шкафу, загремела тарелками, будто бы ничего не случилось, будто в доме все хорошо, будто после давешнего скандала все изменилось, все всё поняли и теперь только жить да поживать. Мир и благоденствие, садись за стол и спокойно обедай, наслаждайся жизнью!

Медленно иду от дверей к большим стоячим часам, сверяю свои карманные с большими, вынимаю ключ, открываю дверцу часов, втыкаю ключ в отверстие и медленно завожу их, а сам не переставая думаю.

Почему так устроена жизнь, что всюду и всегда врем, обманываем, притворяемся, делаем довольный, благополучный вид, скрываем нашу боль, боимся показать ее другим?.. А вдруг не то подумают? Вот и хитрим, вот и выворачиваемся. Врем сами себе и верим, будто бы и в самом деле все хорошо...

Завел часы, закрыл дверцу, отошел на середину комнаты, руки воткнул в карманы жилетки, остановился, посмотрел на стол у окна, около дивана. На столе книги — всё, как у образованных... Пепельница... В пепельнице недокуренная Татьяной папираса... Всё, как в настоящих домах, всё, как в модных журналах. Граммофон. Пианино. Все по-современному. Даже картина на стене с голой бабой в золотой раме.

Чувствую, что старуха следит за мной, слышу, что стучит ложками да тарелками... Раньше была общая миска; что такое тарелки, мы и не знали, знали только ложку, а теперь к ложке прибавилась тарелка. Купили тарелки... Нет, ни в чем не отстаем, все имеем, догоняем и перегоняем. Коврики всюду постелили, огромную лампу на медных цепях в самый центр повесили. Чего бы еще?! И все-таки...

— *Опять схватка?*

Не вопрос, а точку ставлю, говорю как вывод. Мать, конечно, не поняла всех моих мыслей, а может быть, просто не хочет понимать: у нее и так забот хватает. Хочет убаюкать, усыпить мое беспокойство, потому и говорит мне, встрепенувшись:

— *Нет, ничего... это так...*

Глянул я на нее, на живое подтверждение моих мыслей, на живую жертву бесконечного вранья...

— *Что так? Надерзила она тебе?*

Больше она мне не нужна, смотреть мне на нее нечего, давно уже вся обсмотрена, стара, как шкаф... Дверцы вон не закрываются, нужно бы их

починить, да времени нет, а старуха торопится мне объяснить:

— *Нет ничего — что ты это? Я ей говорю... обедать, мол, пора. А она говорит — не хочу! Я говорю — как не хочешь? А она...*

— *Завралась ты, мать!*

Бросив шкаф, опять смотрю на книги.

— *Правое слово!* — отвечает жена.

Нет, я не сержусь, а просто внимательно взглянул на нее, на маленькую, худенькую, измученную мать. И не обвиняя, не укоряя, а сочувствуя ей, понимая ее тяжелый материнский крест, говорю:

— *И сколько ты, ради их, врешь предо мной! Взгляни-ко мне в глаза-то... Не можешь...* (Подхожу к ней, кладу свою руку ей на плечо, стараюсь повернуть ее к себе, она прячется, куксится, а под рукой-то у меня ее высохшее тело, лопатки в ладошке торчат, ощупал я их, погладил... И продолжаю говорить, объединяя мое и ее горе в одно.) *Нет, зря все-таки разгородились мы от них образованием-то...*

Оставив ее, иду опять к книгам. Притягивают они меня не сами по себе, а тем, что могут рассказать о людях, которые их читают, — о моих детях. Что в этих книгах такое написано, что они против нас восстанавливают? Какую такую новую жизнь обещают?.. Кому-то чужому поверили, а нам, отцам...

Мать бормочет себе под нос: *«Полно, отец! Теперь и простые-то люди тоже не лучше...»*

А ведь правду она говорит. Молчит, молчит да и выскажется. Вот и пойми ее, старуху: дура, дура, а иной раз и умное скажет. Значит, в душе своей носит что-то, о чем вслух и сказать боится. Так вот и живем, так вот и не знаем, что у каждого в голове...

Да, простые-то, они еще страшней. Дай им волю — все перевернут, разорят, растрянжируют: своего-то нет ничего, а чужого не жалко, тащи-растаскивай... Не под силу во всем этом разобраться. Одно ясно: *«Никогда не надо давать детям больше того, сколько сам имеешь»*.

Кажется, вылупилась самая главная мысль. Сама жизнь мне ее подсказала. Кому оно нужно, твое образование, даже если в нем правда? За нее еще никто никогда ничего не имел, да и не будет иметь. Христос правду говорил, за то его и распяли. Ну, да ему положено, а эти-то зачем в христы лезут?

Говорят, говорят, одна говорильня! Дело делать совсем разучились. Больше говорят, чем делают, а мы больше делали, чем говорили.

— *И всего мне тяжелее, что не вижу я в них... никакого характера... ничего эдакого... крепкого...* (Сижу в кресле, как индюк на навозной куче — прищурил глаз и греюсь на солнышке. Тепло, спокойно, можно все обмозговать, час предобеденный.) *Ведь в каждом человеке должно быть что-нибудь свое... а они какие-то... ровно бы без лиц! Вот Нил... он дерзок... он — разбойник... Но — человек с лицом! Опасный... но его можно понять... Э-эхе-хе!.. Я вот в молодости церковное пение любил... грибы собирать любил... А что Петр любит?*

— *К постоялке ушел,* — вздыхает жена.

Я этого не потерплю.

— Ну вот!.. Погоди же! — Я ее... ущемлю!

Вся сцена стариков после бурного объяснения Татьяны с матерью — скупая, лаконичная. Мало внешнего движения — и обилие мыслей по поводу жизни...

Как часто мы размышляем о своей жизни и как редко выходим за рамки привычного, чтобы что-то в ней изменить! Остаемся пассивными. Вечными квартирантами огромного дома — жизни. И об этом я тоже думаю, играя Бессеменова.

... Нет, невозможно спокойно сидеть! Словно тебя на сковороде поджаривают. Допекают вопросы и нечем от них загородиться.

Вот Татьяна. Училась, училась, сколько тревоги было, сколько денег вколочено... Думали — учительницей будет, должность подходящая, завидная, а выучилась — и никому не нужна. Прокормить себя не может. Больше потрачено, чем приобретено. И уважения к ней нет, все только вид делают. С ней и говорить-разговаривать боятся: еще не так что скажешь — высмеет. Вот мои приятели и перестали в мой дом ходить. Хотел я убить приятелей образованием-то, а вышло наоборот: меня теперь бьют. Правду говорят — палка-то о двух концах. И конец, который в руке, оказывается, больнее бьет, жжет руку-то, которая его держит!..

Дверь с шумом открывается и вваливается пьяный Тетерев. Я только расположился в кресле — посидеть, все обдумать — и вот на тебе!

Тетерев в церковном хоре поет, в сюртуке ходит. Головастый мужик — все знает, на все вопросы ответит, за словом в карман не полезет. Думал, пользу в дом принесет, защитником будет. А что вышло? Чему он учит? В церкви поет одно, а в доме — другое. И живет не как квартирант-нахлебник — хозяином ходит. На все свое собственное суждение имеет. Правда, веселый он. Только страшный. Здоровенный, как бык, кулачищи — как булыжники, того и гляди — прибьет или сломает что-нибудь... И ведь слушают его. И я слушаю. Невозможно не слушать: смелые вещи говорит, верно подмеченные. Только жить с ними нельзя, с его мыслями-то, с его правдой. Правда-то — она хороша, только держать ее нужно при себе, не высказывать. Ее не любят. Я, может быть, знаю этой правды больше твоего, да не скажу: зачем других обижать? Ты будешь правду говорить, я буду правду говорить, другой — что же тогда будет? Нет уж, я буду молчать, я подожду. Я лучше на время язык свой на замок запру, а когда нужно — отопру. Когда позовут-попросят, скажу. И то осторожноенько, только то, что нужно. То, что от меня потребуют. Мы, брат, ученые, глазами не по сторонам смотрели, а прямо да с оглядкой... Вот так.

Мне семнадцать лет было, когда свободу объявили. Это в шестьдесят первом. Глуп был, не понимал ничего. Отцы наши плакали, а мы радовались: торговать нами больше не будут, жить будем свободно, ступай куда хошь! Вот и пошли по всей земле русской, кто с сумой, а кто и с клюкой. Кто на земле остался, кто в город ушел, а кто на Волгу. У нас в деревне свободы не ждали. Нас собрали и объявили ее, свободу-то эту. Рев стоял на площади, молебен служили, весь день в колокола звонили, так приказано было. Что будет? Как

жить будем? Барин нас бросает, одни остаемся. Кто нами править будет, кто за нас подумает, кто решит? Ну, кто посмелей да побогаче — тому все равно, ему всюду хорошо, не растерялся, быстро приспособился. А я на Волгу ушел. Когда шел — чувствовал свободу, а пришел — и свободу отняли, одну видимость оставили. Опять батрачить стал, только не на земле, а на стройке, в артели маляров. Жрать-то хочется, а денег нет, одна свобода в кармане. С такой свободой только на дорогу выходи: или ты убьешь, или тебя убьют. Страшно! А тут как раз голод... Все тогда на Волгу шли, не я первый такой умник. А на Волге месиво людское, все жрать просят, все работы ищут. Я грибы собирать любил, у нас грибов было много. А тут пошел в лес — все уже обобрано, обхожено. Хорошо, что травы много — вроде лошади или коровы стал. Живот раздулся. Эх! Нет ничего страшнее голода. Люди дохли, на дорогах валялись, некому и убрать было... Стон стоит, плачут, а вечером песни поют. Темно, ничего не видать, одна только песня слышится, тягучая, длинная. И откуда силы берутся... Устроился я бесплатно краски растирать. Баржу красили, дно смолили. С тех пор и стал маляром.

Когда вспоминаешь о прошлом, неправдой кажется. Я эту Волгу исходил вдоль и поперек, как свои пять пальцев знаю. Лямку тянул, бурлачил. Копейку собирал. Не от жадности, от бережливости. Сколько я вот таких, как эта наша птица, встречал на пути, тетеревятников-то! Сколько я их видел за свою жизнь! И все они кончали одним: становились голодранцами. Летом все с себя пропивали, а зимой — замерзали. Не работали, в работе от них толку мало: сам не работает и других совращает. Вот песни орать, языком трепать, водку хлестать — на это они мастера! А такие люди трудовому человеку только мешают, в мозги всякую дрянь вкручивают.

Ошибся я, просчитался, обманулся в тебе, Терентий Хрисанфыч! А ведь ты мог бы человеком стать, приложить усилие. Одет, обут был бы... семья образовалась бы... дети пошли бы. Домик бы выстроили. В городе бы почет и уважение приобрел...

Увидев Тетерева, Бессеменов говорит с ним так, словно у них была договоренность, что если Тетерев появится в доме пьяным, то может идти на все четыре стороны. И вот такой момент наступил.

Горький дает Бессеменову текст: «Терентий Хрисанфович!.. Опять разрешил?» В эти слова вложено многое — и презрение, и зависть, и злорадство, и торжество над Тетеревым.

— *Терентий Хрисанфович!* — произношу значительно, выговаривая каждую букву, а потом строго и с подковыркой, как бы напоминая старый с ним уговор. — *Опять разрешил?*

— *Вчера после всеобщей...*

Тетерев отвечает, с трудом держась на ногах, навалившись всем своим грузным телом на шкаф.

Церковь и пьянство — это не укладывается в голове Бессеменова. Во всяком случае, сейчас, сегодня. Не укладывается и то, что на следующий день можно продолжать пить. Бессеменов если и выпивал, то мало, и не потому, что

слаб здоровьем, а потому, что денег жалко. Да и силу терять нельзя, и физическую, и моральную. Что могут подумать?.. Но ему и завидно, что Тетерев позволяет себе такое. Вот он и злится, что сам не может осмелеть. Да и Тетерева он немного побаивается, но всеми силами старается этого не показать. Напротив, хочет показать непогрешимость своей позиции.

Поэтому мое физическое действие — найти удобное, покойное положение, в котором можно было бы долго просидеть, не глядя на то, что происходит сейчас вокруг.

Тетерев не дал Бессеменову пребывать в этом состоянии. Он нарушил его покой, влез и заполнил собой всю комнату. И Бессеменову, несмотря на его хозяйское положение в доме, стало тут тесно.

Вроде бы дом, в котором я живу, — большой дом, а места в нем мало: никуда не скроешься, никуда не денешься, обязательно кто-нибудь да заденет. Вот и сейчас: чего ему нужно, этому Тетереву? Ведь я его не боюсь, а страшно. Отчего страшно? От слов его страшно? От мыслей, которые он внушает, или оттого, что он такой громадный? Сила его в чем?..

Готов был прогнать его с квартиры, а уселся он за стол, посмотрел я на него, пьяного, опухшего, лохматого, и... куда его гнать? Все, что у него есть, — на нем и в нем. С пустыми руками пришел, с пустыми и уйдет. Свободный от всего. Ни жены, ни детей. Нет тебе никаких забот. Талант, конечно... Только прожил он его весь. А могла бы огромная польза быть от него.

— *Эхма, Терентий Хрисанфович, умный ты человек... а вот губит тебя водочка!..*

Прежде чем сказать эти слова, смотрю, как он наливает и опрокидывает в себя стаканчик. Сам бы с ним выпил с горя, да достоинство не позволяет. Я все-таки хозяин, а он всего-навсего квартирант. Он знает, почему он мне не компания, потому и называет меня: *«Почтенный мещанин»*.

Но мог бы обратиться ко мне и по-другому. Чувствую, что он издевается надо мной, грубит мне. Ну что ж, пусть будет так...

— *Почтенный мещанин, — ты врешь! Меня губит не водка, а сила моя... Избыток силы — вот моя гибель...*

Я, актер, исполняющий роль Бессеменова, понимаю, что мой герой отстаивает позицию тех, кто раз и навсегда усвоил законы жизни, установленные такими же, как он, послушными исполнителями чужой воли, потому что своей у них нет. Они не привыкли жить и решать самостоятельно — на то есть воля Божья и тех, кто стоит над ними. Сколько таких проводников чужой воли живет и в наши дни, сколько таких бессеменовых сохранилось в России, охранителей всего старого, отжившего, не терпящих свежей мысли, инициативы, слушающих только указания свыше. Бессеменовы крепко держатся за свои места, у них квартиры, телевизоры, дачи, машины, звания, должности... Я сам в жизни немножко Бессеменов.

Ищу в себе бессеменовское, когда играю эту роль.

— *Ну, сила лишней не бывает...* — отвечает Бессеменов Тетереву. По линии действия мне нужно промолчать, не связываться. Ведь задача

Бессеменова — показать Тетереву свое моральное превосходство над ним, выглядеть перед ним хозяином жизни, умелым, справедливым, требовательным тружеником. Вот он и играет эту роль. Постоянно играет в жизни, иногда юродствуя. И эта его игра должна быть видна зрителю.

... Я стараюсь молчать. Заговорю — потеряю верх над ним. Он может такой вопрос задать, на который и не ответишь. Нужно быть осторожным, не очень-то смотреть ему в глаза, а то что-нибудь спросит.

Поэтому делаю вид, что все знаю, все его доводы мне давно известны. Веду диалог полулежа в кресле, вытянув ноги и скрестив их у самых ступней, сложив руки на груди; смотрю в самую дальнюю точку, на красный огонек где-то в конце зрительного зала. Как будто не Тетерева слушаю, а озабочен чем-то своим.

Чувствует Бессеменов, что Тетерев говорит правду, но признать ее не хочет. А Тетерев продолжает свое:

— *Теперь сила — не нужна. Нужна ловкость, хитрость... нужна змеиная гибкость. Гляди, — если я этой штукой ударю по столу...* (в этом месте я не выдерживаю и поворачиваюсь к Тетереву с предупреждением и тревогой — стол жалко) ... *разобью его вдребезги. С такими руками — нечего делать в жизни...*

— *Злой ты...*

С беспокойным неудовольствием смотрю на него и отворачиваюсь. А он:

— *Скоты такой величины, как я, не бывают злыми, — ты не знаешь зоологии.* (Настораживаюсь — слово для меня не совсем понятное, последнее время появилось много непонятных слов.) *Природа хитра. Ибо, если к силе моей прибавить злобу, — куда бежишь ты от меня?*

— *Мне бежать некуда... я в своем доме.*

Я живу правильно, я образцовый гражданин в своем отечестве. Мне бояться некого, я сам кого хочешь испугаю.

— *Ты бы молчал, отец,* — вставляет осторожно Акулина Ивановна. За меня беспокоится, его боится.

Тетерев берет старуху во внимание. Цепляясь за мои слова, отвечает торжественно, издеваясь надо мной:

— *Верно! Ты в своем доме. Вся жизнь — твой дом, твое строение. И оттого — мне негде жить, мещанин!*

Опять не выдерживаю, но замечания мои сдержанные, спорить я с ним не намерен:

— *Живешь ты зря... ни к чему. Но ежели бы захотел...*

И вдруг Тетерев раздражается так, словно ему на мозоль наступили:

— *Не хочу захотеть, ибо — противно мне. Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе.* (Черт меня дернул сказать ему то, что думаю про себя! Молчать бы надо. А теперь куда он заведет... Завелся так, будто не я один перед ним, а целая тысяча во мне скопилась и я за всех перед ним в ответе.) *Можешь ли ты, мещанин, представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобою рабым языком слуги твоего?* (Я молчу, моя задача — выдержать, не уронить

свое достоинство.) *Нет, не можешь...* (Кто-то вошел в комнату. Тетерев остановился, размяк. Я, не поворачиваясь, догадался, что вошла Поля. Одним глазом проверяю, не ошибся ли. Она. Вовремя пришла, выручила меня, отвела от меня своим появлением внимание Тетерева.) *Здравствуйте и не бойтесь... Я ничего не скажу вам больше... ибо все знаю!*

Что он ей такое говорил раньше? Чего ей нужно бояться? Чего он такое знает? И Поля смутилась... Что это между ними было?

— *... ничего вы не можете знать...* — испуганно отвечает Поля.

Акулина Ивановна перебивает и ворчит на Полю, словно она опоздала и виновата в том, что Степанида до сих пор щи не несет. И я, вынув карманные часы, проверяю, который час, поддерживая мать. Хотя еще не совсем обеденное время, но лучше заняться обедом, чем продолжать этот опасный разговор.

Еда всегда смягчает человека. И сам стол объединяет всех в одну семью. Я хочу своими действиями подтвердить, укрепить эту мысль. Обед — это не просто наполнение своего желудка. Обед — это вознаграждение за труд, это хлеб наш насущный, который добывается потом. На стол ставится то, что ты заработал.

Наконец часы пробили обеденный час, запахло щами, чесноком, горячим хлебом. Осторожно подхожу к столу; ни на кого не глядя, но не упуская из своего внимания Тетерева, молюсь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси... Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем... во веки веков. Аминь». Сажусь на свой стул. Как будто прощаю Тетереву все его обидные слова, подлаживаюсь, подстраиваюсь под него. Хочу расположить его, перевести все в шутку.

— *Люблю я слушать, как ты рассуждаешь...* (Беру ложку, рассматриваю ее, вижу, что чистая, и все же вытираю рукой; перекалдываю вилку. Делаю это сосредоточенно — готовлюсь к еде, а говорю как бы между прочим, словно для того, чтобы не молчать и заодно ответить на шумную и обидную речь Тетерева.) *Особенно про себя самого хорошо выходит у тебя. Так вот — глядишь на тебя, страшен ты! А начнешь ты мысли-то свои высказывать...* (ударяю ребром ладони о другую ладонь) *... и я чувствую твою слабость...*

Довольный собой, улыбаюсь в лицо Тетереву, считая, что сказал последнее слово — победа осталась за мной.

— *И ты нравишься мне,* — соглашается Терентий Хрисанфович. (Но в глазах его я замечаю какую-то насмешку. Что-то сейчас выкинет эта птица. Хорошо, что здесь одна только старуха, да и при ней не следовало бы говорить что-нибудь эдакое ехидное.) *Ибо ты в меру — умен...* (пока ничего обидного нет. Никогда не знаешь, как с ним себя вести.) *... и в меру — глуп...* (ну, начинается, без всякой причины обижает) *... в меру — добр и в меру — зол; в меру честен и подл, труслив и храбр... ты образцовый мещанин!* (С каким-то презрением и отвращением говорит он, а я, несправедливо обиженный, слушаю и думаю, как бы мне не остаться в дураках. Делаю вид, что не слушаю: сижу прямо, вытянув на столе руки, сжатые в кулаки, и смотрю перед собой в никуда.) *Ты законченно воплотил в себе пошлость... ту силу, которая побеждает даже героев и живет...* (Сколько, однако, злости у него на нас, на



меня! Огромный мешок мяса с костями, вместо узла — лохматая голова, набитая завистью и ненавистью.) ... *живет и торжествует...*

Не закончив мысль, Тетерев безнадежно машет, хватая бутылку, наливает себе рюмку и предлагает мне:

— *Давай выпьем перед щами, почтенный крот!*

Я, не меняя положения, в котором сижу, даю понять, что разговаривать, а тем более пить с ним после всего сказанного не намерен. Нам не по пути!

— *Принесут — выпьем.*

Акулина Ивановна занята своим делом и, кажется, совсем не слушает, решает свою проблему: кому какой кусок хлеба положить к щам. Сколько лет она этим занимается, и каждый раз возникает перед ней эта задача. Тетерев с досадой пьет один.

Как обычно, не входит, а влетает Нил и прямо к столу, на ходу спрашивая: «Поля пришла?» Почему-то Тетерев, допив свой стаканчик, громко выдохнул и, ухмыляясь, крикнул: «*Пришла...*» Сообщил значительно, как нечто очень важное. Даже старуха заинтересовалась: «*А тебе ее на что?*» Нил, не отвечая ей, замечает Тетереву: «*Эге-е! Разрешил? Опять? Часто же начал ты...*»

— *Лучше пить водку, чем кровь людей...* — отвечает певчий. (Я принял это на свой счет, насторожился, посмотрел, как смеется Нил над сказанным, и, делая перед Нилом вид, что не понимаю, о чем говорит Тетерев, становлюсь как бы сообщником Нила и вместе с ним посмеиваюсь над сказанным.) *Тем паче, что кровь теперешних людей — жидка, скверна и безвкусна...* (Это он про меня, сволочь такая!) *Здоровой, вкусной крови осталось мало, — всю высосали...*

При последних словах Тетерев показывает на меня руками. Ну и насмешил!.. Смеется Нил, смеюсь и я, хотя мне совсем не смешно.

Нил сидит напротив меня, а рядом с ним пьяный Тетерев. Двое против одного. Ну, Нил вряд ли пойдет на меня в открытую. Отец я ему. Хотя и не родной, но все же отец. И люблю его. В нем есть что-то сильное, здоровое, и всегда он веселый. Вот и сейчас смеется над пьяным Тетеревым. В этом мы с ним заодно. И вкусы у нас одинаковые. Вот я взял корку хлеба — и он тоже, я взял чеснок — и он, я натираю чесноком корку — и он. Чем не мой сын? Приятно все-таки. Я его вырастил, и в нем есть что-то от меня.

Степанида внесла огромную миску со щами, мать взяла тарелки — разливать щи. Поля принесла чеснок и уселась на свое место, рядом с Нилом. Я занят чесноком. Слышу разговор Нила и Поли.

— *Здравствуй! Готов ответ?*

— *Не сейчас же... при всех...*

— *Вот важность! Чего бояться?*

Я ни о чем не догадываюсь, ничего не подозреваю и просто спрашиваю:

— *Кому?*

Нил отвечает мне так же просто:

— *Мне... и вот ей...*

И почему-то запнулся, замолчал.

— *Что такое?* — встревожилась мать. И я:

— *Не понимаю...*

Тетерев, почему-то открыто усмехаясь над нами, говорит:

— *А я — понимаю...* — наливает себе водку и пьет.

Я жду чего-то смешного; во всяком случае не того, что потом узнаю. Мне стало интересно, что за розыгрыш назревает за столом. Я сам принял бы в нем участие. Спрашиваю, добродушно улыбаясь:

— *В чем дело?* (Смотрю на Нила — хочу догадаться, в какую сторону направлено их действие. Нил смотрит на Пелагею, Пелагея смущается, я допытываюсь у нее.) *Ты чего, Пелагея?*

— *Ничего...*

Наклонила голову, и глаз не видно. Вдруг Нил вступает за нее и обрывает разговор:

— *Секрет... Тайна!*

Мне, конечно, неприятно, что от меня могут быть тайны, а если у них действительно тайна, то для этого есть углы. Я им так и сказал, то есть дал совет на будущее:

— *А коли тайна — говорите где-нибудь в углу, а не при людях.*

И все как будто бы кончилось. Мать взяла мою тарелку, стала наливать в нее щи.

И вдруг я замечаю, что на другом конце под столом что-то происходит. Я приподнял скатерть и увидел, как Нил толкает ногой ногу Пелагеи. Тут я уже не выдерживаю:

— *То есть это, я скажу, насмешка какая-то... хоть беги из дому! Какие-то знаки, недомолвки, заговоры... А ты сиди дураком и хлопай глазами...*

Обидно, что не только мои, но и чужие дети так неуважительно поступают со мной. Приемный сын и эта... И все-таки я стерпел — за обедом грех ругаться. Старуха подала мне мою тарелку, я только опустил в нее ложку — вижу, как Нил одной рукой держит свою тарелку, а другой, повернув ложку черенком, что-то пишет ею Пелагее. Нил думает, что я этого не замечаю. Я не могу разобраться, что он там пишет, какие буквы выводит. Ударяю своей ложкой об стол, прекращая это безобразие, смотрю на них и взглядом взываю к их совести. Хочу вызвать в них понимание взглядом, а потом уже и словом, чтобы они проникли в смысл моего требования. (Как бы начинаю новый кусок, новое событие).

— *Я тебя, Нил, спрашиваю — кто я тебе?*

— *Уж что это, Нил, право...* — взбеленилась Акулина Ивановна и чуть ли не замахнулась на Нила половником.

— *Вы мне приемный отец...* — спокойно отвечает Нил, не чувствуя за собой никакой вины, отстаивая свое право самому решать все свои проблемы. — *Но сердиться и поднимать истории не следует... Ничего особенного не случилось...*

Вдруг поднялась Пелагея и что-то стала мямлить, произносить какие-то бессвязные слова:

— *Нил... Васильевич сделал... сказал мне... вчера вечером... спросил...*

Вот и разберись, чего она тут нагородила. Я хочу ей помочь:

— *Что спросил?..* (Мнется, ничего не говорит. Может быть, от моего окрика очнется?) *Ну!*

— *Вы не пугайте ее...* — застывает Нил и спокойно продолжает: — *Я спросил ее — не хочет ли она выйти за меня замуж... А она сказала, что ответит мне сегодня... Ну, вот и всё...*

Этого я совсем не ожидал. Я так растерялся, что даже не рассердился. Повертел зачем-то ложкой, опустил ее в тарелку, пополоסקал в щах, вынул. Все никак не могу поверить в сказанное.

Моя глупейшая растерянность, наверное, была очень долгой, потому что Тетерев, размахивая рукой, стал мне разъяснять:

— *И очень... просто... и больше ничего...*

Заморочили, задуррачили... Постепенно я начинаю постигать, что случилось в моем доме. Смотрю на мать, на Нила, на Пелагею... Уходит наша сила, уходит наша власть, на глазах разрушается. Право отцов и матерей устраивать счастье своим детям...

Я вспомнил своего деда, когда он выгнал из дому дочь. Она спросила у отца разрешения выйти замуж. И когда все формальности были проделаны и дед их благословил, когда все сели за стол, чтобы отметить благословение, вдруг выяснилось, что молодые уже расписались в загсе, без отцовского согласия, без благословения. Дед встал из-за стола и сказал им обоим: «Вон из моего дома!» И ушел в свою комнату. Моя тетка долго не появлялась у нас, дед о ней никогда не спрашивал, а бабушка меня и мою младшую тетку посылала тайно к ним, молодоженам, узнать, как они там и что у них. Муж тетки был намного старше ее, очень ревнивый.

Тетка все время сидела дома среди плюшевых занавесей, бархатных кресел, ковров, круглых столиков с толстыми альбомами. Нам тогда казалось, что они живут очень богато. Через год у них родилась дочь, а еще через год тетка пришла домой зареванная, попросила у отца прощения и разрешения вернуться домой: «Я его не люблю, не хочу больше с ним жить». Дед ее принял, и она с ребенком стала жить у нас в доме.

Я запомнил лицо деда, когда тот выгонял свою дочь. Запомнил, как он бросил на стол серебряную ложечку, стал красный-красный, поднялся, долго молчал, его белая борода словно еще больше побелела, а потом сказал: «Вон из моего дома!» И вдруг стало тихо-тихо. Страшная была тишина...

Я, Бессеменов, понимаю, знаю, что когда-нибудь наступит день и Нил женится. Для меня его женитьба совсем не «наше дело сторона». Нил — мой сын. Он носит мою фамилию и мое имя — Нил Васильевич. Я врал, когда говорил Петру в запальчивости: «*Нил — чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой*». Мне хотелось разжалобить Петра, подстегнуть его Нилом, потому что Нил деятелен, самостоятелен и мне завидно, что он такой. Мне совсем не безразлично, кем он станет — «*прохвостом... актером будет или еще чем-нибудь в таком духе. Может, даже социалистом будет... Ну, тогда туда ему и дорога!*»

Я втайне надеялся, что Нил перебесится и вернется в дом. Обстоятельства жизни заставят его обратиться ко мне. Ведь он обязан мне всей своей жизнью. Попробуй-ка возьми себе чужого ребенка на воспитание, вырасти его, выучи!.. Нил это чувствует, понимает, и потом он все-таки меня любит, он привязан к моему дому. То, что он фордыбачит, не так уж страшно: молодой еще, необъезженный.

Я люблю его за то, что в нем есть определенность, смелость суждений. К тому же он не только рассуждает, а дело делает и всюду успевает.

Вот бы такого мужа дочери моей. Был бы толк. Женить бы его на Татьяне, совсем было бы неплохо. Ну что ж, что он мне сын? Он же приемный. Разговоров, конечно, будет много. Скажут, что сына на дочери женил... Да, вот она хреновина какая получается... С другой стороны, он не стоит Татьяны. Татьяна не чья-нибудь там, а моя дочь. Это тоже что-то значит. Он-то, наверное, сразу бы ее схватил... Только вот что-то не хватает. Пугается, что ли ее? Порок, может быть, в ней какой есть? Мало в ней этого... как его... ну, чтобы сразу ее захотеть можно было. Какая-то вялая, ума в ней много, а бабы нет. Вот тебе и образование! А Нил — он здоровый, он сильный. Он может себе любую выбрать, любая пойдет: за ним не пропадешь. Дура Татьяна — чего ей еще? Подделаться под бабу не может? Ведь он же ей нравится, всегда о нем спрашивает, ухаживает за ним. Смелости, что ли, не хватает?.. Поля вот тут тоже кружится... Черт знает что за дом у меня! Все друг с дружкой связаны или кровно, или деньгами. Всех за одним столом, под одной крышей найдешь — и друзей, и недругов, и родственников всяких. Избаловали всех. Это все мать, старуха. Жалостливая, стерва! На ее доброту, как пчелы на сахар, так и слетаются, ничем не отгонишь... Нет, я сам виноват. Сам. Я ведь хозяин. Может быть, во мне доброты-то больше, чем в матери? Оттого и беспорядок в доме?

Вот и сейчас. Никак я не ожидал, что мне такую пилюлю за обедом преподнесут. Сегодня день сплошных потрясений. Словно в кошмарном сне живешь. Одну дыру залатать не успел — в другом месте рвется. Одно событие на другое налезает. И все-то у них просто. Только стоит захотеть и — пожалуйте...

— *Та-ак... Действительно... очень просто!*

Почему нам, взрослым, кажется, что все у нас в юности было непросто, а вот у наших детей нет никаких трудностей, все им даром достается, им живется легко? Так ли это? Мне кажется, что мы не правы. Меняются обстоятельства жизни, но трудности остаются. Взрослые создают удобные для себя обстоятельства, а для детей они становятся трудностями. Дети вырастают, и им непонятно, как живут родители.

— *Та-ак... Действительно... очень просто! И модно... по-новому!*

Что же это произошло? До этого момента я ощущал неблагополучие в доме, чувствовал, как дети отдаляются от меня, но боролся, знал, что засыплю эту яму. А тут словно земля из-под меня уходит стала. Точно кирпич из

основания дома вынули. Нил женится на Поле!.. Да нет, не то, не то... Без моего согласия, тайно, не спросясь, обойдя меня... Не могу взять в толк. Голова горит. Говорю как во сне. Язвлю его насчет того, как жить думает, на какие деньги, а в голове другое...

— *Так, так! Очень хорошо.* (Говорю, чтоб только говорить, что-то в голове склеить.) *Ну что ж? Женитесь. Мы вам не помеха. Только на какие же капиталы жить-то будете? Коли не секрет — скажите.*

С мыслями-то собраться как, откуда слова взять... Он, Нил, что-то насчет тридцати рублей мне говорит, да еще этот ирод, певчий, мешается, а я в каком-то оцепенении, не могу вникнуть. Обида застилает глаза, обида мучит, горькая обида за черную его неблагодарность. Кормил, поил, одевал, обувал... Говорю все это, но сам чувствую — не то, не те слова... Да что ж это такое делается! На чем мир будет держаться, если такое возможно? Нашел наконец слова!

— *Ну, только помни, Нил, — отныне ты мне... и я тебе — враги! Обиды этой я не прощу, не могу!* — и на крике: — *Знай!*

А Нил в недоумении, этак спокойно:

— *Да какая обида? В чем обида? Ведь не ожидали же вы, что я на вас женюсь?*

Ах подлец, ах сукин сын, еще вышучивает меня, точно я о женитьбе его паршивой думаю!

Здесь я обращаю внимание на ремарку Горького в следующей фразе Бессеменова, а именно: «*Кричит, не слушая*». Не женитьба Нила занимает сейчас Бессеменова и не о своей дочери он думает. Это потом к нему придет. Сейчас это лишь повод для взрыва, для решительного конфликта с Нилом по вопросу миропорядка, устройства жизни. Бессеменов не слушает Нила, он определил свою правду, нашел, как ее выразить.

— *Помни! Издеваться над тем, кто тебя кормил, поил... без спроса... без совета... тайно...*

Вот в чем суть! Если отцовский совет не нужен, значит, все пропадает, все рассыпается. Связь времен, поколений, связь отца и сына, земли и плода нарушилась. То, что Нил Полю выбрал, горько для Бессеменова, но во сто крат горше ему, что рушатся устои, традиции, уклад дома, семьи, олицетворяемые вот этим семейным столом. За отцовской спиной договорились, исключили главное звено жизни — родителей, старших. Вот что для него горько.

В этом-то душевном состоянии и начинает Бессеменов новый разговор с Нилом, известный разговор о труде...

Поля своим присутствием меня раздражает. Бельмо она мне в глазу, с нее началось... Мы о главном спорим, о жизни, а она тут стоит... Может, оттого и тайно, не спросясь меня, Нил женится, что не пара она ему и он чувствует это... А может, это я, хватаясь за соломинку, сам себе внушаю: если б не она, а ровня ему, моему приемному сыну, так он сказал бы мне... Не могу не смотреть на нее, мешает она мне, и я ей отпускаю:

— *Ты! Смирная! Тихая! Что понурилась?* (Говорю и понимаю, что эти слова ничего не выражают, и оттого еще больше злюсь. На себя злюсь.) *А! Молчишь? А знаешь, что я могу тебя...*

Тут уж я совсем глупость говорю, но Нил-то эту глупость мою подхватывает и бросает мне спокойно (это он нарочно спокойно, чтоб, значит, показать мне, что я тут ни при чем):

— *Ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин... Хозяин тот, кто трудится...*

Что ж это он такое говорит, а? Чем же это он меня укоряет, а?

Мне пятьдесят восемь. С двенадцати лет я работаю, тружусь. Двадцать лет кистью махал, олифой дышал по шестнадцать часов. Это не труд, значит?! На брюхе ползал, под потолком на спине лежал. Это не труд?! Ишь как его машина возгордила, паровоз его вонючий. Это, значит, труд, а руки в волдырях, в ссадинах, лаком проеденные, — это не труд?! Ишь как они возгордились-то с техникой своей! Вот и Федька Досекин что-то там понавез, котлы какие-то из Бельгии, и уже нос воротит от меня... Ишь какой! Нехристь ты, сволочь ты! Да если хочешь знать, я свой труд-то и в тебя вложил, ты тоже мой труд, ты ведь в моем доме вырос в такого вот самостоятельного, что тебя теперь уважают как машиниста.

Бесстыжая твоя морда!.. Хозяин тот, кто трудится!.. И это ты мне, отцу твоему, которого труд-то сгорбил раньше времени?! Молокосос. И я в твои годы думал вот так же: я-де тружусь, а старшие-то на мне ездят. Но жизнь заставила меня отказаться от мыслей таких. Но и тогда, в ту пору, когда я так думал, я не смел это вслух высказывать, как ты теперь. Нет, и ты прозреешь, поймешь, да смотри, как бы поздно не было... Хозяин!.. Да как же ты это вымолвил?!

— *Ну, хорошо! Оставайся... хозяин! Поглядим... кто хозяин! Увидим!*  
Уступая усилиям жены меня увести, ухожу к себе в комнату.

## ***В ТРЕТЬЕМ ДЕЙСТВИИ***

Моя давнишняя мечта — стать городским головой.

Событие сегодняшнего дня меня ужасает. Мне сегодня дали понять, что меня могут не выбрать городским головой. Я узнал эту, для меня неожиданную, новость на собрании представителей цехов, старшин. Самое неприятное то, что все знали и знают, что я хочу быть головой. Я для этого много сделал. Моя кандидатура была вне всякой конкуренции, обсуждалась и оговаривалась последние годы. Со мной вели себя, как с будущим головой, и я вел себя так, как будто я уже голова. На собрание старшин явился я в новой розовой рубашке, в своем праздничном костюме и выходных сапогах. Последнее время я часто так одевался. Будущий пост обязывал меня появляться в обществе аккуратным, приглаженным. Я выбросил свою старую сучковатую палку и купил себе черный зонт с длинной ручкой, заказал себе новый касторовый картуз. В церкви я всегда стоял на видном месте, смиренно, не шевелясь, с достоинством городского головы. Я замечал, как послушно и с почтением в голосе и в глазах говорили со мной церковный староста и настоятель церкви, в которую я хожу, не пропуская ни одной службы. Я слышал, проходя на свое место, завистливый и уважительный шепот: «Будущий голова идет!», «Вон наш

голова стоит», «Василь Василич, наше вам почтение-с!» Я угощал своих друзей-приятелей в праздники и в будни, рассчитывая на их поддержку. Я ничего не жалел. Я делал все, чтобы стать городским головой. И вдруг все лопнуло. Другой будет головой. Надо мной словно посмеялись.

В таком состоянии я вхожу в свой дом. И первый, кто мне попадается, — Перчихин. Веселенький, юлит, скворцом поет. Что-то говорит, вертится вокруг меня. Я хочу пройти к себе, чтобы в одиночестве пережить свой позор. Бросаю ему на ходу:

— *Опять пьян!*

А он:

— *С радости!* (Это с какой такой радости?! Что меня головой не выберут? Что меня мои приятели цеховые продали, вроде бы разыграли?) *Слыхал? Пелагея-то? За Нила выходит! Здорово, а?.. А я все думал, что Нил на Татьяне намерен жениться...*

И тут я не выдерживаю:

— *Что-о?*

Словно я впервые это услышал, новость эту. И тут до меня вдруг доходит, что все это звенья одной цепочки, удавки, веревки, что мою шею стягивают, жить не дают. Петра из университета исключили, меня головой не выберут, щенок Досекин, видишь ли, по теперешним временам головой, должен быть. Нил женится на Пелагее, Татьяна в девках сохнет... Рушится, рассыпается мир... Ну нет! И я жестоко, словно не Перчихин передо мной, а те, дружки мои, воротилы городские, которым я не сказал того, что надо, перед которыми я все еще ловчу (а вдруг выберут?), говорю, будто отчитываю:

— *Ну-с, а теперь вот что: хоша мы с тобой и дальние родственники, но, однако, погляди на себя — что ты такое? (Есть еще порядок в мире, каждый должен знать свое место!) И скажи мне — кто тебе разрешил прийти ко мне в чистую горницу в таком драном виде, в лаптищах и во всем этом уборе? Коли ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет. (Нет в них, подлецах, уважения ко мне, отвернулись они от меня!) Опять говорю: кто ты? Нищий, шантрапа, рвань коричневая... слышал?.. И пошел вон!*

А перед этим я обидные слова про Пелагею и про Нила ему выложил. Не надо бы, да все они одним миром мазаны. Шантрапа. И Нил, и Досекин Федька, если цилиндр с него сорвать да денег лишить. Шантрапа, поскольку не уважают, не понимают порядка жизни, установленного еще предками нашими. И цена им всем грош. Так я и сказал Перчихину: цена-де и Нилу, и Пелагее — грош.

... Мысли мои путаются, я хожу по комнате, стараясь сосредоточиться, как-то успокоиться... Перчихин-то ушел? Что это я его так? А, черт с ним, воротится...

— *Ты чего шипишь? Колдуешь, что ли?..* — срываю свою злость и обиду на жене.

— *Я молитву... молитву, отец...*

Кому, как не жене, моей старухе, рассказать об обиде, о нанесенном мне оскорблении? Кто-нибудь ведь должен понять меня!.. Не быть мне городским

головой. Не быть. Это известие заставило меня на некоторое время забыть о том, что происходит дома. Событие городского масштаба важнее семейных дразг. Обида, с которой я пришел в дом, сильнее домашних обид.

— *Знаешь... не быть мне головой! Вижу — не быть... Подлецы!*

И вдруг...

— *Здравствуйте, Василий Васильевич!* — голос Елены.

Когда она сюда влетела? Как пропустил? Может быть, все время здесь торчала? Все видела, все слышала? Никуда не деться мне от них, не спрятаться. Заполонили весь дом.

Ну, я тебе сейчас ущемлю! Ишь, делает вид, что ничего не знает, ничего не понимает! У-у, хитрая! Невинность свою выказывает!.. Да слов-то сразу не подберешь. Слов для нее нет подходящих. Не всплывают. Застряли где-то далеко внутри. Врасплох застала. И убежать-то некуда. Теперь всем разболтает, разнесет... Ну, обошли. Ну, не выбрали. Но еще никого не выбрали! Досекин — он мальчишка, щенок... Ну, что ты зенками-то хлопаешь? Чего уставилась?..

Что ж это я все в себе, а не ей открыто высказываю? Чего так долго глазеть на себя разрешаю? Испугался, что ли, ее? Как же! Сейчас вот соберусь, поднатужусь да все и выложу. Пусть выкатывается к чертовой матери! Эх, хорошо бы ее вот этим самым зонтом! — рука у меня так и чешется.

— *Здравствуйте, Акулина Ивановна...*

Это она, она опять заговорила. А я молчу. Все собираюсь... Ишь, руками развела! Удивляется, что мы ей не отвечаем.

А я теперь нарочно молчу. Приноравливаюсь. Погоди, разбежусь — не остановишь.

Сижу я как-то неловко, как-то сбоку, на сундучке. Мне бы стоять нужно. Как она сама сейчас стоит. В центре. А меня в углу, на сундучке застала! Позиция у меня невыгодная. Ничего, я тебя и отсюда достану!.. Пережидаю всю церемонию поклонов старухи. Вот сейчас покрепче ноги поставлю, они у меня в сапогах, в кожаных, в них себя сильнее чувствуешь... Всё. Готово. Можно начинать.

— *А... вы-с? Пожалуйста... что скажете?*

Говорю, приставляя к каждому слову букву «с» («А... вы-с? Пожалуйста-с... что скажете-с?»), что означает у меня не «сударыня», а сволочь, стерва, сука. Я хочу сразить, унижить, уничтожить ее. Пусть только рот откроет!

И вдруг она:

— *Да вот — деньги за квартиру принесла...*

И говорит это так мягко, так нежно, так заботливо. Открывает свою сумочку и вынимает ассигнацию. Двадцать пять рублей. Новенькая. Хрустящая. Шуршит в ее руке, как шуршит на ней самой платье. Стоит стройная... упругая... душистая... Ух!..

Зачем на нее кричать? Разве можно? Я весь как-то обмяк, сердце сразу растаяло. Глаз не отвести от ее руки. И не хочу, а тело мое к ней тянется, склоняется, ноги поднимаются, идут...

И только подойдя совсем близко, я вдруг опомнился. Перед кем я так



унижаюсь, перед кем теряю свое достоинство? Вот чертова голова — никогда вовремя не выручит! Глупо. Глупо получилось.

Очнувшись от колдовства, я выпрямился, остановился перед нею строго, торжественно, как на молитве. Или на параде. Фуражка в левой руке, прижатой к груди. Новый зонт — в правой. Я оперся на него, как на трость, и произношу спокойно, с достоинством:

— *Доброе дело...*

Не обращая внимания на деньги, иду к себе в комнату — подальше от соблазна. Дойдя до двери, оборачиваюсь, чтобы еще раз посмотреть на нее, шуршащую, душистую. Мне показалось, что она мне улыбнулась. Я ответил ей улыбкой. И ушел. Войдя в свою комнату, быстро снял пальто, бросил зонт, картуз, схватил счета и теперь иду к ней как на свидание. Приятное, жгучее, томительное... Вот черт! Пойми человека! Хотел выгнать, раздавить, презираю ее, ненавижу, а выходит, все наоборот. Прожгла, насквозь прожгла... Вот что баба делает с мужиком — подобрался весь, ощущаю каждый мускул! И откуда такая сила берется?.. Ну нет, не на таковского напала, встречали мы таких и живыми уходили!

Выхожу. Делаю вид, что готов продолжить деловой разговор... Ух, хороша, стерва! Только бы не раскиснуть.

Движением руки предлагаю ей сесть, кладу на стол счета, отодвигаю стул, не отрываясь, смотрю на нее, правой рукой, не глядя, забираю со стола деньги, которые она положила. Знаю и чувствую, что в руке — двадцатипятирублевая. Но задаю вопрос. Его нельзя не задать. Так положено. Традиция такова. Особенно с благородными. А здесь — дама. Духи, запах...

— *Сколько тут?*

Она на меня не смотрит. Это хорошо. Можно рассмотреть ее поближе. Платье на ней хорошее, а под ним груди крепкие, упругие, торчат высоко... Фу-ты черт, какая она вся! Есть что обтянуть. У моей бабы ничего не обтянешь, словно плоскодонка... Нет, милая, не отпущу я тебя, продлю удовольствие. Хоть в мечтах с тобой побываю...

— *Причитается мне еще с вас получить...* — строго, с достоинством обращаюсь к ней, — *за два стекла в коридорном окне...*

В слове «стекла» делаю ударение на последней букве, как бы выстреливаю это «а», упрекая, осуждая ее, и потом, после паузы, заканчиваю фразу: «... в коридорном окне» — и опять с ударением на последней букве.

Недовольна. Глаза потупила и губки надула. Приятно мне потомить, помарьяжить ее. Все это не так просто, как ты думаешь, все это денежки стоит. За все платить нужно. Запугиваю ее своим видом. А потом сбрасываю с себя серьезность, улыбаюсь — все это, мол, была шутка — и произношу:

— *... сорок копеек...* (Не откажите мне в такой мелочи, как заплатить эту пустяковую сумму.)

И звонко, залихватски отщелкиваю на счетах сорок копеек. Поняла, что разыграл. Отошла. Поняла, что ухаживаю за ней. Успокоилась. Снова улыбается. А я за новое берусь. Напоминаю ей:

— *Да за петлю у двери в дровянике...* (смотрю на нее, проверяю — как на

нее теперь это подействует. Опять удивляется, опять зажимается.) ... *кухарка ваша сломала...* (укоряю ее в неумении вести хозяйство, долго на нее смотрю, потом машу рукой) ... *ну, хоть двадцать копеек...* (Бог с ними, с кухарками, да и вещица не стоит внимания, цена ей ничтожная.)

Засмеялась.

— *Какой вы... аккуратный! Извольте... у меня нет мелких...* — ищет в сумочке, достает деньги, кладет на стол, — ... *вот — три рубля...*

Не взял бы я сейчас с тебя ничего... Кроме разве за комнату. Простил бы я тебе и стекла, и петлю от двери, если бы не ввязалась моя жена, Акулина Ивановна. Всегда появится нехстати! Стоит у шкафа, за спиной, подсказывает:

— *Углей мешок вы брали... кухарка ваша.*

Делать нечего — придется требовать.

— *Сколько за угли?* — спрашиваю мать строго, не скрывая своего раздражения.

— *За угли — тридцать пять...* — отвечает она.

Поворачиваюсь к Елене. Молча смотрю на нее, показываю своим видом, как трудно мне с такими вот людьми, словно мы давно с ней в заговоре, понимаем друг друга, понимаем, что нам никуда не уйти от Акулины Ивановны, от ее глаз, от мешка с углями, от этих ничтожных тридцати пяти копеек, от всего мелочного, ненужного... Но делать нечего. Придется тебе, Елена Николаевна, платить, а мне, Василь Васильевичу, получать. Трудно с глупыми людьми — всегда они сунутся нехстати, что поделаешь.

— *И всего — девяносто пять...* — прибавляю на счетах тридцать пять копеек, потом высчитываю из трех рублей девяносто пять, две косячки летят рублями и пять — копейками. — *Два с пятаком сдачи... пожалуйста!*

Все это не спеша, не торопясь. Тяну, чтоб дольше побыла, посидела, потому как не могу наглядеться на нее. Пошутить бы мне с тобой, занять собой твое внимание. Улыбка у тебя хорошая, зубки белые, ровненькие... А дышит-то как! Плавно поднимается и опускается упругая грудь... Фу-ты черт, не сидится ей! Уйти ее тянет! Стесняется. Головку отвернула. Глаз мой ее смущает. Чувствует, что нравится. И я чувствую, что нравлюсь. Потому и беспокойная, что третий лишний у нас. А третьего-то деть некуда. Его не прогонишь. Жена, законная... Ну да ладно, я тебя вырuchu. Хозяйка — глупая, не поймет.

— *А насчет аккуратности, милая барыня...* (растягиваю нашу встречу: нам хорошо, мы двое — ты да я) ... *вы сказали справедливо. Аккуратностью весь свет держится...* *Само солнце восходит и заходит аккуратно...* (говорить-то с ней одно наслаждение; и откуда слова-то у меня берутся, нужные, подходящие) ... *а уж ежели в небесах порядок, то на земле — тем паче быть должно...*

Радость во мне разливается. Она встает. Я тоже поднимаюсь. Все чинно, благородно. Подхожу к ней. Стою совсем близко. Плечи мои развернулись, спина выпрямилась, перекатываю ступни с пальцев на пятку, каблуки чувствую... Хорош я в сапогах. Сам себе кажусь выше, сильнее. Все другие — мелкота, мелюзга, только поют да вздыхают, философствуют, кровь у них гнилая, интеллигентская. А моя кровь здоровая, сильная. Она это понимает,

чувствует во мне мужика. Понимает мои слова, потому и слушает. Нравится ей моя речь, мое обхождение... Ну, взгляни на меня, не прячь глаза-то. Полюбуйся, какой я есть!.. Я распушился, словно голубь возле голубки, воркую да красуюсь... А ты бежишь?! Удаляешься?! Зачем мне сумочку-то открыла? Зачем ты мне ее показываешь? Ах да, забыл! Совсем забыл. Сдачу тебе не вернул. В руках они, два рубля твои. Вскружила ты мне голову. Извини. Сейчас сложу их и аккуратненько вложу в твою сумочку. Вот так, двумя пальцами.

Опять уходишь? Останавливаю ее: а пять копеек? Сейчас достану. У меня тоже есть свой маленький кошелек. Он у меня вот где, в кармане... Любуюсь ею и на себя радуюсь: жив я! Жив!

Вынул свой кошелек, подаю ей открытым, чтоб она сама, своей рукой, взяла пять копеек. Мне весело, улыбаемся, смотрим друг другу в глаза... Она не берет. Сам достаю из кошелька пятак и бросаю в ее сумочку, он стучается, звенит. Елена звонко застегивает сумочку, показывая мне, что мой пятак заперт крепко. Ловко поворачивается, машет мне ручкой.

— Ну, до свиданья! Мне надо идти...

Со спины она еще лучше, один зад чего стоит! Низко ей кланяюсь и пожираю ее глазами, провожаю взглядом до самой двери.

Повернулся, а тут жена. Опять она, моя старуха. Торчит словно пугало. Забыл о ней совсем. Поджала губы, руки на груди сложила, глаза прищурила, сверлит меня взглядом. Поймала. Застукала, черт бы тебя подрал! Ну, чего уставилась? Чего глядишь? Ну, виноват. Развожу перед ней руками:

— Хороша шельма! (С каждым может случиться. Слаб человек. А потом — мужику можно. На то он и мужик. Выкручиваюсь. Показываю моей старухе, что я еще не так стар.) Но все же, однако, с превеликим удовольствием турнул бы я ее долой с квартиры... (А у самого на уме другое. Потому и слово «турнул» звучит смачно, с определенным смыслом.)

— Хорошо бы это, отец... — скрипит под рукой мать. Юлит старуха, видит — в руках моих деньги, от них запах, ее запах, который прогнать хотим... А за что прогонять-то? Деньги платит аккуратно. И всякую порчу в квартире возмещает. Нам нужны такие. И потом...

— Ну, положим... Пока она тут... мы можем следить. А съедет — Петрушка к ней шляться начнет тогда, а за нашими-то глазами она его скорее может обойти...

Хорошо, хорошо у меня, складно получается. И деньги в кармане, и себя ублажил, и жену успокоил. Правда, со мной много не поспоришь, я долго клепать на себя не позволю...

Эх, раньше бы все это, раньше! Теперь уж ты не тот, совсем не тот... Ну да, не тот! Захочу — и буду тот. Видали, как я с ней? Погоди, то ли будет!.. А сам складываю денежки: двадцатипятирублевую в особое отделение, с особым отношением, а три рубля в другое. Но прежде чем сложить, я понюхаю ее еще раз, двадцатипятирублевую. Дам понюхать жене: пусть знает, какой запах от других!.. Что нос воротишь? Не нравится тебе? А ты понюхай, понюхай.

— Может, он жениться и не думает на ней... а просто так... — говорит старуха и морщится от бумажки.

Передо мной всплывает лицо Петра, унылое, грустное. Вот ведь как... Она, Елена, застряла у меня в голове, в крови играет, плоть будоражит... Однако денежки ее теперь не ее, а мои. Уложены, запрятаны... А Петр — молодец, губа не дура — весь в меня. Зачем сейчас думать о плохом? Не бывать плохому. Не такое сейчас у меня настроение, чтобы болеть за него и убиваться. Не до Петра теперь.

— *Кабы знать, что так... то и говорить нам не о чем и беспокоиться не надо. Все равно, чем в публичные дома таскаться, — тут прямо под боком... и даже лучше...*

Молодец, старик! Нельзя ничего пропускать, только с умом все делать надо. А умом тебя бог не обидел.

Забрав счета, иду в свою комнату.

И вдруг — словно кошке на горло наступили, раздавили ее. Кошка взвыла и замолчала. Оборвался крик, сразу стало тихо и почему-то холодно, как в погребке. Все прошлое вмиг исчезло, я даже присел от страха.

— *Что это?* — спрашиваю шепотом перепуганную старуху. Рот у нее открыт, глаза расширились. Опомнившись, зашевелилась, забеспокоилась.

— *В сенях будто...* — прошлепала губами Акулина Ивановна и побежала к дверям, в коридор выглянула. Никого нет. Ничего не слышать и не видеть. Будто вымерли все.

— *Кошка, должно быть...* — успокаиваю себя. Говорю это нарочно громко, чтобы слышно было во всех комнатах. Но никто не отвечает. Тревога моя не уходит. Страх заморозил все мои внутренности. Озираюсь по сторонам, словно кто-то чужой в доме, с ножом сидит под столом или в углу прячется, затаился и молчит, ждет, когда спиной к нему повернусь. Крепко сжимаю счета в руке. Жду чего-то.

И вдруг мать:

— *Знаешь, отец... хочу я тебе сказать...* — мнется, мямлит что-то, с ноги на ногу переступает. У меня сразу подозрение: что-то случилось в доме, только не говорят мне, скрывают. У, стерва, сколько ты от меня укрывала, таила! С беспокойством произношу:

— *Ну, говори...*

Может, срочно помочь нужно, выручить, что-то сделать. А она совсем о другом:

— *Не больно ли ты строго с Перчихиным-то поступил? Он ведь безобидный...*

Фу-ты, вот ведь как напугает! Готовилась так, словно что-то важное сообщить хотела. Я уж думал, с детьми что, а тут вдруг Перчихин. Я и сам знаю, что строго, что нехорошо. Только зачем ты сейчас его подсунула? Всегда не вовремя!

— *А безобидный, так и не обидится...* (отворачиваюсь от нее и иду в свою комнату, разгоняя свой страх и свою вину перед Перчихиным, ступая крепко, твердо) ... *если же обидится — потеря нам невелика...* (Ноги и руки у меня, словно у военного. Грудь вперед, счета — как оружие.) ... *знакомство с ним — честь не дорогая...*

Отвалилось, отлегло. Не дети, а Перчихин... Жалко мне его, нехорошо получилось, воздастся мне за это. Ну, да ладно.

Думаю о Перчихине, а в душе беспокойство. И вдруг опять крик, стон. И снова тишина. Значит, не почудилось, значит, это правда. Что-то произошло... Объясните мне, наконец, что происходит в моем доме! Уже не тревога, а злость во мне закипает.

— *Кто это? Мать...*

Мать стоит потерянная, опять только шлепает губами:

— *Не знаю я... право... что это...*

И тут вдруг у меня возникает страшная мысль: Петр повесился, у себя в комнате. Рванулся к двери, а открыть боюсь, не могу. Откроешь, а он там, к потолку подвешен. Руки мои не поднимаются, ноги от двери назад идут. Пересилил я ужас свой, толкнул осторожно дверь, заглянул в комнату, глазами в потолок. Никто не висит. Может быть, он в глубине, на кровати? Кричу:

— *Тут, что ли? Петр!*

Мать рядом завопила, запричитала:

— *Петя! Петя... Петя...*

А из другой комнаты слышится чужой, незнакомый голос: «*Спасите... мама... спасите... спасите!..*»

Дочь! Она! Выскочили мы из комнаты Петра, счета вывалились из рук, мы на них наткнулись и упали. А из закрытой комнаты Татьяны несется нечеловеческий крик: «*Горит... о-о! Больно... пить! Дайте пить!.. спасите...*»

Спокойно, старик, спокойно, возьми себя в руки, напряги всю свою память и вспомни, что надо делать, когда травятся. Пусть бабы кричат, им это положено: кричать, причитать, выть. А ты мужик, мужчина. Дело делать надо. Дело. Зачем тебе жизнь, если твоей дочери не будет?.. Не укараулил я ее, не устерег. Одна она, одна. Я сам ее одинокой сделал. Виноват перед ней. Ох, как виноват!

— *Что ты... доченька... что ты... что с тобой... доченька?..*

Может быть, от этих ласковых слов ей легче будет? Это же мои, отцовские слова. Они должны поднять ее, вылечить... Господи, да ей сейчас не ласка, а помощь нужна, дурак ты эдакий!

— *Беги, зови... доктора...*

В доме паника, носятся туда-сюда как угорелые, и все без толку. Стараюсь остановить, перекричать их:

— *Доктора!..*

Перед глазами возникает Петр.

— *Доктора зови, Петр... двадцать пять рублей давай!..*

Выталкиваю его из комнаты.

А она, Татьяна, стоит во весь рост, глаза огромные, стеклянные, рот открыт, и из него длинная густая слюна течет, а в руках пузырек, нашатырем пахнет, в нос отдает, в голову стреляет...

Я хочу понять, зачем, почему она это сделала. Но не спрашиваю ее, а только повторяю: «*Доченька моя... Танечка...*»

Ты сядь, ты ляг. Что нужно сделать? Обнимаю ее, целую, ругаю, злюсь,

хочу выхватить у смерти. Она стонет, кричит: «Умираю!.. жить... хочу! Жить... воды дайте!»

Вспомнил. Молока нужно. Господи, где доктор-то? Побежали за ним?

Кто там шумит? Народ шумит? Все на ногах! Это хорошо — приходите, помогайте, спасайте, спасайте, спасайте, кто может! Возьмите все. Только дочь спасите. Что мне без нее? Одна она, одна, несчастная...

Не то вы делаете, не то. Я сам! Дайте, я сам!.. Поднимаю ее, сажаю на кровать... Ты нагнись, нагнись, выплюнь. Возьми пальцы в рот, вот так, засунь их, подальше засунь. Дай-ка я сам, сам тебе помогу. Открой ты рот-то, открой. Где доктор? Доктор где? Вот он. Не спешит, не торопится. Что ему! Не его беда, не его дочь умирает!

— *Мама, уйдите... Степанида, уведи ее...* — кричит Петр.

Правильно! Гони их всех, всех гони!.. А меня-то зачем? Зачем же меня гонишь, выпроваживаешь? Это же я, отец ее!

А Петр меня тащит, выталкивает:

— *Иди, отец, иди к маме! Ну, иди же!*

Значит, я лишний, я ненужный. А если она умрет? Умрет без меня? Не увижу, последних слов ее не услышу?.. Я виноват, я доконал, значит. Замучил. Не выдержала она, не вынесла... Жизнь проклятая, изнемогли мы от нее. Швыряет, бросает нас из жара в холод!

Меня вытолкали, и я иду. Куда иду? Куда глаза глядят. Где я? На что наткнулся? Сундук. Чей он? Кому теперь нужен? Что в сундуке-то? Тряпки. Приданое. Кому оно теперь?.. Терпи, отец! Сколько всего было в жизни — и все живу. А дочь сломалась, не выдержала... Кто это воеет, кто причитает? Мать. Опять мать. Ух, говорил я тебе, говорил. Не углядела. Теперь кричи, причитай, выводи рулады!.. Тоже, значит, выгнали, тоже, значит, вытолкали.

Кто это с ней? А-а, Елена... Смотри, смотри на нас, разделяй наше горе... Хорошая она, ласковая, усаживает, успокаивает. Уютно с ней... А в углу — икона. Божья мать. И лампада горит. Не сама ли зажглась? Коптит она, фитиль большой, укоротить его надо... Уйти бы ей, Елене. От греха подальше. А она сидит, голову мою гладит... Уйди ты, уйди, дай остаться одному! Молиться буду! Грехи свои замаливать.

Господи! Пресвятая Богородица! Отверзи двери твоя, спаси и помилуй нас, исцели дочь мою, не обойди нас своею милостью... Мать, вставай на колени! Молись и ты, проси, упрашивай. Правильно, свечу зажги. Которая потолще. Прикрепи к иконе. Чего трясешься? Чего дрожишь? Ты делай, делай!.. Верую во единого Бога-вседержителя, творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Святая великомученица Татьяна! Имя твое носим и чтим. Не отступись от нас! Умоли! Замолви перед всевышним слово твое!..

Что там за дверью-то? Посмотри, мать. Ты дверь-то не открывай, а в щелочку. Ты в замочную скважину подсмотри и подслушай, что там. Иди!..

Господи! Какими словами умолить, упросить тебя? Чтобы ты не отнял у нас радости нашей...

Ну как, что слышала, что видела?

Старуха говорит мне, что там Елена, а с ней наш певчий. Зачем певчий?

Зачем он там? Сам посмотрю, сам послушаю. Слышу Елену.

— ... *Когда я вижу такого барина, то чувствую злое желание сделать его еще более несчастным...*

О чем это они говорят? О каком барине? При чем тут барин?

— ... *Терпеть не могу, когда женщины философствуют, но когда вы рассуждаете — мне хочется целовать вам ручки...*

Вот сволочи-то, вот мерзавцы! Умирает человек, дочь моя умирает, а они смеются!..

И почему-то в голову непрошеное лезет — Досекин...

Я уже знаю, чувствую, что ничего непоправимого не случилось, и все же с упоением играю трагедию. Демонстративно широко раскрыв скрипучую дверь, выхожу на сцену. Я — главная жертва всех бед, что происходят в моем доме. Всем своим видом хочу показать, как я одинок и переполнен болью.

Длинный переход от двери к доктору, который стоит на другом конце сцены, позволяет насладиться своим состоянием, обратить на себя внимание всех. Я иду медленно. Все должны видеть, что значит для меня жизнь моей дочери. Проявление сыновней заботы меня радует, волнует, но я отвергаю участие Петра, подчеркивая этим жестокость и черствость моих детей.

— *Успокойся, отец: это не опасно,* — говорит Петр.

Я не смотрю на него, я жду ответа от доктора. Доктор молчит. Эта пауза мне помогает. Чувствую, как переживает за меня Петр, как значительно молчит Тетерев.

Вот когда меня слушают, вот когда я полный хозяин положения. Только в беде, только в несчастье! Я смотрю им в глаза, как бы проверяя их. Хочу удостовериться, что они меня не обманывают, и только после этого спрашиваю у доктора: «*Правда ли?*» Когда доктор подтверждает, что дочь вне опасности, опять выдерживаю паузу, потом сразу расслабляю свое напряженное тело. Плечи резко опускаются, а с ними опускается и голова. Я шепчу доктору: «*Ну, спасибо!*»

Медленно поворачиваюсь и ухожу. Но, спохватившись, останавливаюсь. Делаю вид, что только сейчас вспомнил главного моего спасителя — Бога, обращаюсь к его образу, висящему в углу, и продолжаю говорить слова благодарности отрешенно, как может говорить человек, у которого остался только один друг и покровитель, один помощник — Бог. Я — всеми брошенный, всеми обиженный, всеми измученный старый человек, отец, труженик.

Широко кладу крест и, будто бы не в силах завершить молитву, падаю на колени, касаюсь лбом пола и лежу так, пока Петр не помогает мне подняться. Мне радостно, что Петр здесь, рядом, что берет меня под руку и поднимает, но я опять отталкиваю его. Показываю ему, Петру, что я сам, один нес и буду нести до конца свой тяжкий крест. А оттолкнув его, последнее «спасибо» отдаю доктору. Иду к нему, крепко жму руку.

И тут вдруг вспоминаю, что не так благодарят докторов: когда протягиваешь свою руку, нужно что-нибудь в ней иметь. Даю понять доктору,

что действительно только сейчас вспомнил о деньгах. Смотрю на его руку, сжатую моей рукой, потом ему в глаза и, не отпуская его руку, поворачиваюсь к Петру, выговариваю ему: «Петр, ты того...» Потирая большим пальцем указательный и средний, спрашиваю его без слов: ты дал деньги или нет? Открыто, чтобы все видели, что, кроме меня, некому и о такой мелочи подумать — все я, всюду я и за все я! «Поди-ка сюда...» — указываю ему рукой на мою комнату и ухажу тяжелой, неторопливой походкой — так ходят грузчики, когда несут на спине огромную тяжесть. Я иду со своим грузом прямо и с достоинством.

Деньги, все деньги проклятые. Не было бы их, и греха бы не было. С них все начинается... И баба. Сильная это вещь — баба. Она все может. Особенно чужая. Своя-то, она вроде и не баба. Кость, обглоданная кость. Стучит, гремит, а пользы никакой... Да, Петра понять можно. Разве устоишь против такой!

Да, деньги и бабы — вот самое страшное, самое опасное. И Досекин, да еще жида. Всех бы их в один котел свалить и варить, варить, пока ничего не останется. А котел разбить и расплавить...

Сколько же дать за визит? Что я там говорил, когда посылал Петра? Двадцать пять?.. Который час? Обеденный. Как был обеденный, так и остался обеденный, и часа не прошло, как я вернулся... Двадцать пять! Эх ведь сколько! Вот шкурники, мародеры... Но ведь я ему ничего не говорил про двадцать пять рублей. Да, но другие-то так платят. А то и больше... Разбаловали их, посадили на свою шею.

В своей комнате спрашиваю Петра, говорил он доктору насчет денег. Нет? Ну слава Богу. Дам трояк, хватит с него. Где мой пиджак? Бумажник-то не стащили? В суматохе все может быть.

— Ты, мать, в шкафу посмотри, все ли цело?.. На вот, Петр, три рубля вынеси ему.

— Папаша, мало это! Ты же двадцать пять обещал!..

— Разговаривай мне еще!

Мало ли что я обещал! Вот сам будешь зарабатывать, тогда и плати двадцать пять, а я не могу, нет у меня таких денег... Обещал! Сдуру-то чего не пообещаешь? Паника была. Сколько Татьяна выпила? Если бы ведро. А то совсем малость, на двадцать копеек. Мы и без доктора все из нее выворотили. Доктору и делать-то было нечего, и без него бы все обошлось.

— Нехорошо это, нехорошо, неприлично! Поймите вы это, папаша!

— Молчи! Молчи! Возьми три рубля и вынеси. Ты ему не сказывай, не открывай — будешь прощаться, в его руку и вложи. Он и не заметит.

— Как же, не заметит! На ощупь заметит.

— А ты их сложи... Дай-ка сюда. Вот так. Сначала в длину, а потом пополам. Видишь?.. На! Тащи. Чего ты мнешься, чего рожу корчишь? Не до тебя мне теперь. В доме горе, а он смотрит да стыдит. Нашел время! Иди, не задерживай доктора, он, может быть, к другим спешит.

И силой выталкиваю Петра за дверь.



Этот разговор происходит в комнате Бессеменова, куда он с сыном ушел за деньгами. Его никто не слышит — ни домочадцы, ни зрители. Но я, актер, проживаю его.

Господи боже мой! Ничего не знают, ничего не умеют. Конечно, маловато ему дал. Три рубля. Разве дочь три рубля стоит? Кормили, поили, растили — и за все три рубля?.. Так ведь жива она! Жива... А если умрет? Да нет, доктор сказал — неделю похворает. Значит, не опасно... А почему сам доктору не дал? Почему Петру поручил? Неудобно самому-то столько дать. Кабы двадцать пять, я бы и сам отдал... А что Петру? Отдаст, поблагодарит, как образованный с образованным поговорит... Подглядываю из своей комнаты. Чего это они стоят так долго друг против друга, чего-то мнутя? Петр деньги из одной руки в другую перекладывает... Ты в правой держи, в правой — ею же прощаться будешь, а не левой!.. Опять доктор почему-то говорит: «До свидания...» Ну, сунь ему, сунь... Нет, не может. Вот она, интеллигенция, ни дать ни взять ничего не могут. Доктор сам взял. Ну слава Богу! Молодец доктор! А Петр молодой еще. Научится.

Я вышел из своей комнаты, посмотрел, проверил — двери закрыты, тишина, дом опустел, словно вымер. Все куда-то спрятались, притаились и молчат. Слышу, за моей спиной мать крадется, не дышит.

На столе холодный самовар. Все как было, все стоит на месте, словно ничего не случилось.

Почему никто не объяснит, отчего на мою голову свалилось горе и отчего оно никогда не приходит одно? Отчего мы по своему дому не ходим, а крадемся?

В комнате Татьяны тишина. Очень хочется знать, что там теперь. Сесть бы с ней рядышком, поговорить, разобраться. Ей ведь нужна моя отцовская ласка. Надоело ей слушать крики да оры, укоры да попреки. Мать, она глупая, с ней не поговорить. Вот она — согнулась, никому не нужная, одинокая, идет-ползет, как старая кляча. Все на ней висит, словно тряпье на вешалке. Раньше была грудь высокая, упругая, да дети всю высушили. На спине лопатки торчат. Откуда они у нее? Раньше их не было... Тянет ее к дочери. Зачем ей туда? О чем говорить будет? И потом, что ты можешь сказать, когда все говорено? Только душу разбередишь, еще хуже сделаешь. За Татьяну уже не страшно, Татьяна жить будет. Ну, неделю проболит, а то и меньше. Доктора врут, всегда говорят лишнее. Им это выгодно, дольше лечить будут... Страшнее другое: что скажут завтра чужие? Рот им не заткнешь. Вот где опасность-то!

— *Погоди, не ходи туда...* (Меня самого туда тянет, да новая забота пугает больше, чем пережитый страх. Оттого и злюсь, оттого и срываю свою злость на жене. Подошел к двери. Послушал.) *Ничего не слышать. Может, спит она... не разбудить бы...*

А мне теперь не спать, мне теперь думать нужно, что-то решать... Отстранил мать от двери, сам отошел. А идти некуда. Один, совсем один. Что им?! Им дома сидеть, а мне завтра в город идти, глаза от людей прятать.

Старуха подошла ко мне... Ну чего? Чего ты трешься-то? Чего голову в грудь мою воткнула? Плачешь? Ну давай, ладно. Пожалеею я тебя... Обнял

одной рукой, прижал к себе. Стою и жду, когда выплечется. И всплыла передо мной вся наша жизнь, бессонные ночи, заботы о детях. Поднялась обида, горло комком заклинило, не передохнуть. Стоит этот комок, детьми скатанный, и давит до боли.

— *И-да, мать! Вот и дожили... до праздника! Говору, сплетен будет теперь по городу — без конца...*

Не понять этого матери, не понять и детям. Каждый о своем думает. Растащили жизнь по углам, души свои замкнули — не отомкнуть.

Всю жизнь старался дом свой собрать. И все зря. Никому не нужны мои труды, заботы. Звери дети! Звери! Звериный закон у них, не человеческий! Да нет, у зверей-то лучше. Вырос — и ушел на все четыре стороны. А у людей — вырастут и сидят на шее, сами себя жрут и других едят. Отцов, матерей обижают: «Не так жили! Не так дело делали!» Все они знают, только делать ничего не умеют!

Будто все вокруг можно по своему желанию изменить — взмахнул палочкой-выручалочкой, и жизнь стала лучше. Эх, глупые! Все им сказочным представляется. Все Иванушками да Василисами кажутся. А того не понимают, что все сказки страшные, только в конце веселье, и то короткое. Никто не знает, какое это веселье бывает, никто в нем не жил, никто его не видел. Потому-то в сказках оно короткое... Я тоже раньше не задумывался о жизни, а теперь вот ночи не сплю, разъедают меня мысли. В чем причина? Где конец моим страданиям?

— *Отец! Что ты? То ли говоришь?* — бубнит, причитает старуха мать. (Притулились на сундучке и плачем, и злимся. Пожаловаться некому. Сам себе жалуешься, сам себя выслушиваешь.) — *Да хоть во все трубы пускай трубят... только бы жива-то осталась! Во все колокола пусть звонят...*

— *Ну да... Я знаю... это так!.. Только ты... эхма! Не понимаешь ты!* (У тебя мозгов не хватает, курица ты. Мысли твои по поверхности скачут.) *Ведь — позор это нам с тобой!*

— *А ну... какой позор?*

— *Дочь отравилась, пойми! Что мы ей — какую боль причинили. Чем огорчили? Что мы — звери для нее? А будут говорить разное...* (Вот о чем ты не подумала. Тебе до этого дела нет, а мне в правление идти. Теперь городским головой уж точно не быть. У них в руках козырь против меня — дочь отравилась. Меня будут винить, всё вспомнят, чего и не было припишут. Один Досекин чего стоит! Он только того и ждал. Теперь ему не страшно, дорога открыта. И действительно, какой же я теперь голова, если в доме моем нет порядка?! Недоглядел, не уберег. Ждал удара спереди, а нож в спину всадили. И кто? Дети, опять дети. За что они мстят нам? За что обижают?) *Мне — наплевать я все ради детей стерплю... но только — зачем? Никогда не оставлял их, из всего вытаскивал, только бы им хорошо было. Чего не хватает? Не могу понять, не могу постичь, зачем же травиться? Из-за чего? Хоть бы знать...* (Нет больше слов. Комок горло давит, слезы из глаз ползут. Злоблюсь я на силу мою, что она бессильной стала. Сжал бы вот так кулаки крепко-крепко да и обрушил бы на них, на детей моих.) *Дети! Живут —*

*молчат... Что в душе у них? Неизвестно. Что в головах? Неведомо! Вот — обида!*

Ко всему миру обращаю свою жалобу, призываю всех постичь непостижимое, проникнуть в непроницаемое, в тайны неблагодарности.

Из комнаты Татьяны выходит Поля.

— *Она засыпает... Вы потише...*

Вот он, мир-то каков, вот его ответ на мои мольбы. Он затыкает нам рот. И мы затихаем. Терпим, боимся.

— *Ну, как она, что? Посмотреть-то можно?*

Вот до чего дожили — просим разрешения к родной дочери войти, уговариваем, упрашиваем. И кого? Чужого человека, Полю. Вот до чего докатились.

— *Я войду тихонечко?* — подхватывает мать. — *Мы вот с отцом...*

— *Доктор не велел пускать никого...*

Как уложить такой ответ в уме? Кому не велят?! Кого не пускают?! Почему другие тут распоряжаются, посторонние, по какому праву?

— *Ты почему знаешь? Тебя при докторе не было еще...*

— *Мне Елена Николаевна передала.*

— *А она — там?*

Вижу по глазам, по ненавистному ее лицу, что там. Дальше ехать некуда. Дожили... Нет, сдержать себя надо, там больной человек, моя дочь. Закушу язык, зубы сожму, чтобы слова не вырвалось. В себе самом все переварю, закрою толстой крышкой кипящий горшок и навалюсь всем телом, не вытечет из него ничего, не дам убежать.

Но душа кричит, протестует, а слова так и лезут, так и вырываются:

— *Ишь ты... чужому человеку можно, родным — нельзя. Удивительно...*

Под руку попала салфетка — доктор ею руки вытирал. Для чего она мне? Прочь ее! Пусть летит к чертовой матери! Сел за стол и уж теперь больше ничего не скажу. Подопру голову руками и буду так сидеть долго-долго, пока кто-нибудь не сжалится надо мной, кто-нибудь не пожалеет.

И в полном расстройстве, потеряв связь мыслей (в ремарке Горького так и сказано: «Видимо, сам утратив связь своих мыслей, раздражается»), выговариваю Поле:

— *Твой отец бродяга бездомный, а все-таки ты не должна выходить из его воли... Но разве вы понимаете — что такое отец?.. Вот ты замуж выходишь... а тут человек едва жизни не лишил себя...*

— *Я не понимаю, что вы говорите... и зачем?* — отвечает мне Пелагея, как маленькому.

— *Понимай... думай... затем и говорю, чтобы понимала ты.* (Все это я не столько ей говорю, сколько тем, другим, обидевшим меня сегодня. Говорю путано, я устал, плохо соображаю.) *Кто ты? А однако, вот... выходишь замуж! Дочь же моя... (Господи, это уж совсем лишнее, хватит.) ... чего торчишь тут? Иди-ка в кухню...*

## ***В ЧЕТВЕРТОМ ДЕЙСТВИИ***

Мы с матерью открыли дверь и остановились на пороге: в комнате творится такое, что и представить себе невозможно. Угол, где висят иконы, к которым мы обращаемся с молитвами, загорожен танцующей на стуле Еленой, на столе самовар, за столом — песни. Нил, Петр, Татьяна, Поля, Тетерев — все вместе. Им весело, они смеются, все забыто. Словно ничего и не было, словно никто никого не обидел.

Мы стоим со старухой и ждем, когда они прекратят этот бедлам. Пусть не забывают, что мы еще живы и не собираемся умирать. Неужели мы им настолько в тягость, что без нас у них всегда веселье, а при нас?.. Эх, вот бы сейчас в наказание за нас огнем или чем-нибудь другим враз всех смело...

Наконец-то заметили. Перепугались. Смех их разбирает, да все-таки страх смеяться не дает, гримасы строят. Петр, трус, первый метнулся, за ним Татьяна. Елена повернулась, вскрикнула и спрыгнула со стула. Тетерев не пошевелился. В нем совесть, видно, совсем угасла. Сидит и нагло смотрит нам в глаза. Нил отошел от стола, а может быть, он так и стоял там, около моей двери, за моим стулом...

Да, да, за моим стулом. Он, значит, в центре был, вокруг него или вокруг Елены все вертелось... Не поворачивая головы, оцениваю все, что происходит, и догадываюсь о том, что происходило без меня.

Мы со старухой вернулись из церкви. Мы принесли с собой запах ладана, горящих свечей и лампадного масла. Души наши обращены к Богу.

Смотрите. Мы, два великомученика, терпеливо несем свой тяжкий крест страдания. Смотрите на нас, на старых, уступивших вам свое место в доме, только что молившихся за вас, просивших простить за ваши грехи... Обращаюсь к иконе и широко, торжественно осеняю себя крестом. Ничто не может остановить моего порыва. Ни хлопанье дверцей шкафа, ни чей-то сдавленный смешок, ни чье-то «Здравствуйте!».

В момент, когда я низко кланяюсь своему Богу, я все слышу, все замечаю, но делаю вид, что теперь меня это уже не огорчает, не может огорчить. Мой долг — терпеть. Я вынужден смириться с тем, что выпало мне на долю. Я больше не хозяин, я здесь — квартирант. И к сожалению, еще существую.

Закончив молитву, я передаю свой картуз жене — не глядя, зная наверняка, что она возьмет. И Акулина Ивановна берет, тридцать лет она все за мной подбирает...

Стоим и распинаем себя перед теми, кому благодетельствовали, кого растили. Показываем им, что у нас можно отнять все, но высокого обряда — общения с Богом — единственной отрады, у нас никто не отнимет...

— *Наше вам почтение...* — отвечаю Елене Николаевне (это она сказала: «Здравствуйте!»), отвечаю грустно, с сожалением, что она не способна ощутить тех чувств, с которыми мы пришли из церкви.

А жена по-своему ей ввернула, подкузьмила:

— *Здравствуйте, матушка! Только мы вас уже видели сегодня.*

— *Ах, да! Я позабыла...*

Опять какие-то рожи корчат, смеются про себя. Я, не обращая на них внимания, передал зонт жене и стал расстегивать пальто. Расстегнув и сняв, аккуратно сложил.

— *Ну что же... в церкви... жарко было?* — старается быть любезной Елена.

Посмотрел я на нее, на несчастную безбожницу, и ответил ей:

— *Мы не за тем туда ходили, чтобы климат измерять...*

Ее вопрос я превращаю в событие, которое со всей очевидностью показывает, что мы никогда не поймем друг друга. У нас разное отношение к жизни, к миру, и дороги наши врозь.

Елена смущается, юлит.

— *О, разумеется... я хотела спросить не о том... я хотела спросить... много было народа?*

Совсем растерялась, сама уже не знает, что говорит.

— *Не считали мы, матушка...* — прошлепала с обидой старуха.

— *Чай пить — будете?* — спрашивает Поля.

Один-единственный разумный вопрос. А может быть, это подмога Елене — выручает ее Поля?

А, все они заодно! Мне теперь все равно, я отступился. Пусть делают что хотят. Всем своим видом, всеми поступками буду показывать, что перед ними человек, лишенный права спокойно дожить в собственном доме.

Третий день я живу с этой мыслью, третий день нарочно не убираю перед своим домом. Каждый раз, выходя из дома, кладу дощечку, чтобы не идти по грязи, а пройдя, поднимаю ее и прячу в траву. Жалко обувь — мокнет, портится. А грязь прибавляется, растет. Все ругаются, а чтобы взять и расчистить — нет! Так, чертыхаясь, и утонут...

— *Сначала поужинаем...* (Я хочу сказать, что этот порядок установлен не мной, а человечеством, и русское, православное человечество вначале ужинает, а уж потом пьет чай. Жалко мне вас, молодых. Бороды отрасли, груди выпятили для соблазна, талии обтянули, а жить не умеете. Порядок рушите. Уступить бы нам со старухой место за столом, поклониться низко за нашу жизнь, накормить, напоить. Нет! Никто не пошевелится. Наглые стали.) *Мать, ты поди-ка, приготовь там.* (Слово «там» выделяю, как бы говоря: вот до чего мы с тобой, старуха, дожили. Нет нам здесь места. Наше место там, где кормят прислугу, на кухне.)

Грустно мне, словно в доме покойник. Этот покойник не человек, а порядок. Я хороню его с болью и грустью, оплакиваю его и жалею тех, кому придется жить в будущем. Я поражаюсь нравственному распаду нового поколения.

— *Какой народ стал — вор, даже удивительно!* (Елена уронила чайную ложечку, не умеет слушать старших. Нил слушает спиной. Тетерев, развалясь, делает вид, что слушает. Поля стоит у шкафа, тихая, робкая. Врет, притворяется!) *Давеча, как шел я с матерью в церковь, — дощечку положил у ворот, через грязь, чтобы пройти.* (Сижу на уголке стула, мои мысли далеко-далеко, где-то в прошлом. Пережевываю мысли, как корова или лошадь жуют

сено, вспоминая зеленый луг: глаза у них стеклянные, стоят неподвижно, только ушами шевелят.) *Назад идем, а дощечки уж нету... стащил какой-то жулик.* (Перестаю жевать-пережевывать, смотрю в зрительный зал. Это ведь театр. Жизнь Бессеменова выставляют напоказ. Зрители смеются. А я смотрю поверх их голов, куда-то далеко. Я рисую им их жизнь, ведь они и есть будущее.) *Большой разворот пошел в жизни... В старину жуликов меньше было... всё больше разбойничали люди, потому — крупнее душой были все... стыдились из-за пустяков совесть тревожить...*

За окном голоса, пьяные песни орут. Осмотрел я всех сидящих и стоящих вокруг меня... словно статуи безмолвные, ждут, наверное, когда я уйду. А я нарочно тяну-растягиваю, вымучиваю их терпение. Поддеваю их, укоряю.

— *Ишь... поют.* (Поют-то за окном, а мои слова относятся к тем, кто в комнате.) *Суббота, а они поют... Наверное — мастеровые.* (И опять смотрю в зрительный зал, опять рисую зрителям их жизнь.) *Чай, пошабашили, сходили в кабак, пропили заработок и дерут глотку... Поживут эдак-то год... много — два и — готовы!.. Золоторотцами будут... жуликами...*

В хоре пьяных голосов прорезается голос Перчихина. Вот только его и не хватало. Как выгнал из дому, не встречал еще. Зайдет, спяну-то и начнет выяснять, почему выгнал. Некстати он сейчас, лучше бы в другой раз пришел, когда никого в доме не будет.

— *Отец, иди ужинать...* — слышится голос старухи. Это хорошо, что она меня позвала. Можно спрятаться от Перчихина. Медленно поднимаюсь и ухожу, как уходит высший судья, суровый, но справедливый, всевидящий и всезнающий.

— *Перчихин... тоже вот... бесполезной жизни человек...*

Это сказано для всех, на случай, если будет скандал.

Не успел я закрыть дверь, как услышал за спиной шумный вздох. Словно при мне никто не дышал, а теперь все разом вздохнули. И засмеялись! Чего они смеются? Над кем смеются?

Никуда мне от них не деться, никуда не спрятаться. Невозможно не замечать, что происходит вокруг.

Я остановился, чтобы послушать, о чем без меня станут говорить, над чем смеяться будут.

*Елена. А у меня... удобнее чай пить...*

Издевается над нами!

*Нил. Вы очень остроумно разговаривали со стариками.*

Балагурит, и всем смешно!.. Сколько жестокости в людях! Грубы, безжалостны!

*Елена. Я... он меня смущает. Он не любит меня... и мне это как-то неприятно... даже обидно! За что меня не любить?*

Насмехается, стерва.

Петр вступился за меня, защищает, оправдывает. А Нил дразнит их, восстанавливает против меня. За что?

В сени вошел Перчихин. Слышу, меня спрашивает. Куда деваться?.. На кухню проскочу незаметно; в потемках, может быть, и не заметит. Не хочу я с

ним сегодня встречаться, ни к чему он мне. Ведь я из церкви, молился, исповедовался, завтра причащаться буду, мне теперь покой нужен, подальше от греха...

Вот и застрял — ни вперед, ни назад. Словно со всех сторон не люди, а крапива... Что это я в своем собственном доме крадусь да прячусь? От кого мне прятаться? Кого мне бояться-то? Нищих?! Сейчас вот вернусь, и все расставляю по своим местам.

Открыл дверь и опять помешал: оборвался смех, замолкли. Елена бросилась от стола к пианино, точно ее ущипнул кто. Я прошел к столу, поставил стул на место, сиденьем под стол, раз на нем не сидят, — все это спокойно, без всякого вызова.

— *Пелагея! Там в кухне — твой отец... Поди-ка да скажи ему... чтоб он... в другой раз пришел...* (еще один стул поставил на место, встретился глазами с Нилом) *... когда будет тверезый... да!* (Отвечаю на холодный, чужой взгляд моего приемыша. И вдруг вижу: на моем стуле — след от сапога, пыльный, грязный, остался на подушечке. Наверное, нарочно без меня топтали мое место... Чей это сапог? Нила сапог. Ладно. Стряхну, ничего не скажу. Зачем? Пусть сам почувствует, что не то делает. Может, если добром — лучше будет.) *Ты-де, папаша, иди домой... и все такое...*

Поля поворачивается и уходит, двинулся и Нил. Я смотрю, куда он направляется. За Полей... Демонстрацию устраивает. Жених! Защитник!

— *Вот... поди и ты...* (Сорвалось это у меня, не выдержал. Нил тоже, видно, на пределе: не успел я заговорить, сразу остановился. И я осекся. Смотрит он на меня как-то странно. Посмотрел — и пошел дальше. Все-таки я досказал ему свою мысль, не до конца, правда, да он понял. Он ведь понятливый.) *Погляди-ка на будущего... мм...*

Нил, не останавливаясь, прошел в кухню, я остался стоять около стола, смотрю на своих детей, озлобленных, чужих и никому не нужных. Голова, руки, ноги — все у них на месте, все как у людей, а внутри...

Сажусь за свой стул. Слева сидит Тетерев. Он, видно, как вошел в дом, сел за стол, так и не вставал... Все-таки есть в нем что-то страшное, даже тогда, когда молчит, боюсь я его... Все молчат, словно в пустой, безлюдной комнате.

— *Вы что... молчите? Я замечаю, что как я в дверь — вы все сожмете губы...*

Татьяна врет, успокаивает:

— *Мы... и без вас... не много говорим...*

— *А над чем смеялись?* — испытываю взглядом каждого.

Петр что-то мямлит — скрывает или разговаривать со мной не хочет:

— *Так это... пустяки! Нил...*

— *Нил! Все от него идет... я так и знал...*

Делаю вид, что поверил Петру, а сам знаю: не в Ниле дело. Не от него идет — от нее, Елены. Проглотит тебя крокодилица твоя!

Татьяна, наверное, меня поняла. Вся в мать — как утка собаку от своих птенцов, меня от Петра и Елены оттягивает, отводит:

— *Налить вам чаю?*

И интонация, как у матери. Ух, чертовка! Мне почему-то даже смешно стало.

— *Налей...* — сдерживая улыбку, развожу руками, выражая этим, что мне-де ничего не остается, как только подчиниться, уткнуть свой нос в блюдце с чаем и пить.

— *Дай, Таня, я налью...* — по-хозяйски распорядилась Елена.

Что-то часто последние дни стала она вылезать, заботу проявлять.

— *Нет, зачем вам беспокоиться? Мне дочь нальет...*

Без скандала, вежливо обрезал Елену. От неожиданности она растерялась... Правильно поступаю, всему есть предел. Нужно восстановить порядок, вернуть свою власть.

— *Я думаю — ведь все равно, кто нальет? Таня нездорова...* — взвился Петр.

Понимаю, ее защищает.

— *Я тебя не спрашиваю, как ты думаешь на этот счет.* (Показываю, что меня удивили не слова его, а тон, которым они сказаны. Слова-то нормальные, правильные, в них нет никакой обиды, в тоне обида, в окрике. Учить еще меня будет, как мне поступать с теми, кто мне неприятен! Почувствовал он, наверное, что зарвался, совесть заговорила — не выдержал и отошел. Спиной ко мне встал, чтобы глаз бессовестных не было видно.) *Если тебе чужие люди ближе родных...*

Не договорил я до конца: слишком круто взял, может ведь и уйти, если договорю. Правда, я не кричу, не иду на скандал, просто к случаю сказал. А Петр в бутылку полез — как же, он ведь должен себя героем выказать перед ней, перед кобылицей!

— *Отец! Ну как тебе не стыдно?*

Татьяна, наливая мне чай, в муках произносит: «*Начинается!*» — и взывает к благоразумию брата. За ней сказала что-то и Елена, и Петр замолчал. Я заметил, что она ему сигнал рукой подала — отступись, мол.

... Зачем мы фотографировались все вместе? Словно в насмешку висит эта фотография на стене. Зачем мы ввали, что нам всем хорошо, что мы одна семья? Для кого мы изображаем эту идиллию? Дочь отравилась. Дальше, как говорится, ехать некуда.

Вот она, фотография. Прилизаны, приглажены, отутюжены. Умные все, серьезные. Счастливая семья на отдыхе. Перед дымящимся вулканом и пальмами, с семейным альбомом на кругленьком столике. Все это у фотографа напрокат брали, у него там много разных картин нарисовано. Можно в дырку голову просунуть, и будешь сидеть на коне в черной бурке, с кинжалом...

Как это противно, когда пьют чай и оставляют губную помаду на чашке. Кто у нас губы красит? Елена! На ложечке тоже помада. За стол опасно садиться. Не стол, а конюшня. Того и гляди — измажешься. Пила бы у себя, там наверху... И сахар весь сожрали. Утром полная сахарница была...



Перед грозой наступает тишина. Вот и сейчас тихо-тихо. Сидим и молчим. Хорошо бы исчезнуть. Выскользнуть. А как, когда кругом глаза и уши? Да и куда уйти?

Вдруг дверь отворилась, и в комнату занесло Перчихина, словно его толкнули и он закатился. Смеется зритель, а мне не до смеха. Над чем смеяться? Пьяненький он, а у пьяного на языке, что у трезвого на уме. Да, правильно Тетерев говорит: «Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека — ненавидят, а пьяниц — любят».

— *Василь Васильевич!* — конфузливо обратился Перчихин. — *Я сюда пришел... (лопочет, язык-то у него совсем заплетается) ... ты оттуда ушел... а я — сюда... за тобой...*

Чувствую я свою вину перед ним: напрасно его выгнал, зря. Ни в чем он не виноват, с ним поступают точно так же, как со мной. Ни во что не ставят. Сейчас мы с ним сравнялись. Оба нищие: нас всего лишили.

Нет, есть разница. Нил — не родная кровь, он и поступает не по родственному, да еще грозит: хозяин тот, кто трудится! Но Поля-то — дочь, родная ему дочь, и ни слова... Другие ему рассказали, что дочь замуж выходит... Жаль мне тебя. Только пришел ты не вовремя, вон сколько глаз и ушей. Я ведь понял, зачем ты пришел. Ладно, я тебя тоже лаской, покажу, что забыл. Было и прошло.

— *Пришел, так садись... Вот — чаю выпей... ну...*

— *Н-не надо мне чаю! Кушай сам на здоровье... Я — для разговора пришел...*

А я свое тяну:

— *Какой там разговор? Всё пустяки.*

Перчихин от слова «пустяки» не рассердился, нет, а удивился:

— *Пустяки? Н-ну?* — и засмеялся. Но не радостно, а горько. — *Чудак ты!* (Лезет на скандал Перчихин, а тут еще Нил появился, встал и стоит, слушает.) *Четыре дня собирался я к тебе прийти... ну и пришел...*

— *Ну и ладно...*

Я опять стараюсь отвести его от разговора. Ну некстати он мне тогда подвернулся, зол я был, а к злому человеку лучше не подходи. Он же, пьяный, на своем настаивает:

— *Нет, не ладно! Василь Васильич! Умный ты человек! Богатый человек... ведь я к совести к твоей пришел!*

Зачем он совесть мою трогает, что ему до моей совести? У каждого есть своя совесть, и каждый ее бережет, не тревожит. Я сам не позволяю себе к своей совести обратиться, не смею...

А Нил стоит, слушает... вон у него глаз какой нехороший! Руки на груди сложил и смотрит, наблюдает, как судья какой, прокурор.

Ну тут, наверное, они заметили, что терпение мое кончается. Петр бросился к Нилу и что-то ему шепчет, вроде: «Зачем ты его пустил сюда?» А тот Петру громко: «*Оставь! Это тебя не касается...*» И отстраняет его рукой.

Я все это вижу, прислушиваюсь, чувствую, что какой-то скандал назревает между Петром и Нилом, потому что Петр прошипел ему сквозь зубы: «*Ты*

*всегда делаешь... черт знает что...»* А Перчихина ни Петр, ни Нил не интересуют. Он своего добивается, перебивает их, меня усостыжить хогет:

— *Старый человек... да-авно я тебя знаю!*

Берет стул и подсаживается ко мне.

— Тебе чего надо? — стараюсь по-дружески остановить его.

— *Скажи мне... — не слушая и не принимая во внимание то, что происходит вокруг, будто специально при свидетелях спрашивает: — ... за что ты меня намедни вон из дома выгнал? Думал я, думал — не возьму в толк! Скажи, брат! Я — без сердца на тебя пришел... я, брат, с любовью к тебе...*

Не рассердился бы я на него, если бы не Нил. Беззащитный ведь он, совсем беззащитный. Да Нил не его пришел защищать. Себя защищать, свои права отстаивать, хоть пока и молчит.

— *С дурной головы пришел ты... вот что!* (Подозреваю, что научили его, подослали. Дурной не только оттого, что пьян, но и оттого, что другими научен. И я знаю, догадываюсь кем.)

Татьяна не выдерживает, показывает, что она больна, ей тяжело, не хогет слушать наш разговор, зовет Петра, просит:

— *Петр! Помоги мне... нет...* (поняла, наверное, что Петр должен быть здесь, при мне, не хогет меня с Нилом и Перчихиным оставлять, боится — двое против одного!) ... *позови Полю...*

— *Вот — Поля!* — подхватывает Перчихин. — *Дочь моя милая... птица моя чистая... Из-за нее ты меня выгнал? — верно? За то, что она у Татьяны жениха отбила?*

Тут сразу все заговорили, один Нил молчит. Татьяну словно пырнули чем-то, застонала, взвыла:

— *О! глупость какая... какая пошлость!..*

— *Гляди, Перчихин! Второй раз...*

Но мне не дают договорить. Елена бросается к Нилу с просьбой увести Перчихина. Явно назревает скандал. Я перестаю пить чай. Мне наплевать на то, что Татьяна еще больна, что ей неприятна эта сцена, что ей стыдно перед Нилом. Внешне я сдержан и еще пытаюсь погасить конфликт, замять его.

А Перчихину нейдется, он делает то, чему его научил Нил... наверное, Нил. Старик глуп, не понимает, что может из этого получиться. Все это нужно Нилу, только Нилу! Не любит он меня, ненавидит.

— *Второй раз — не прогонишь, Василь Васильич! Не за что...* (Если бы все шло от самого Перчихина, он бы злился, а Перчихин не злится, он похорошему, по-доброму. Он жертва, невинная жертва Нила и Поли! Эта Поля не такая тихая, какой кажется. Она змея... А Перчихин свое поет.) ... *Поля... я ее люблю... она у меня — хорошая! Ну, все же я не одобряю... я, брат, ее не одобряю, н-нет! Зачем чужой кусок взяла? Нехорошо...*

Мое внимание сосредоточено на Ниле. Он вошел, встал у дверей, следит за мной и Перчихиным. Я не смотрю на него, но чувствую всякое его движение, всякий взгляд. Он вошел совсем другим, не таким, каким уходил. Раскаленный, жжет меня глазами.

Все мои старания направлены к тому, чтобы замять скандал, не ввязаться в

него; я понимаю, что надо быть сдержанным, благочестивым, не опускаться до низкой суеты после прихода из церкви. Что бы ни случилось, я должен быть спокоен. Это мне испытание! Я, Бессеменов, страдаю. Жизнь стала трагедией. Я — жертва ее. Терпеть — вот все, что остается нам в этом мире, несправедливом и жестоком.

Со стоическим смирением несу я свой крест несправедливо осужденного.

... Когда люди ругаются, они не слышат друг друга. Они кричат. И громче всех кричит Бессеменов. Только у него не крик, а вопль души. И это еще одна демонстрация, представление, лицедейство. Бессеменов упивается своими муками, растравляет свое воображение. Ему нужно только зацепиться за что-то, занозиться маленькой обидой, чтобы довести себя до невероятных страданий. Он разгоняется в них до боли в сердце, до полного изнеможения, чтобы, намучившись всласть, расслабиться от жалости к себе и к другим, заплакать добрыми слезами, освободиться от гнетущего груза до следующего раза. И так всегда...

За дверью шум. В комнату вбегает Пелагея. По всему видно, что ее сюда не пускали. Но она ворвалась, решительная, протестующая, в слезах.

— *Василий Васильевич! За что вы прошлый раз выгнали отца?*

Вопрос неслыханный по своей дерзости. Я, Бессеменов, никогда бы не смог повести себя так с людьми вышестоящими по должности или по возрасту. Я не нахожу сразу, чем ей ответить, этой девчонке, поденщице. Я с детства трепетал перед каждым, потому что каждый был выше меня, старше меня, богаче. Через унижения, оскорбления, правдой и неправдой я пробивался в жизни и завоевывал так право быть выше и лучше других. Я — старшина малярного цеха, мне пятьдесят восемь лет, а эта девчонка требует от меня ответа! Нет, это не она. Ее научили. Кто? Нил. Он причина.

Петр что-то говорит Поле.

— *Ты бы помолчал...* — вдруг останавливает его Нил.

Я оставляю недопитый чай, откидываюсь на спинку стула, расстегиваю пиджак, крепко охватываю сиденье. Слежу за Нилом. Это он, он затеял! Три дня я молча терпел, старался быть ласковым со всеми, ничего не замечать. И теперь он, этот мальчишка, «сын», останавливает, учит, словно хозяин дома.

Нужно прекратить все это, пресечь. Каждый должен понять, кто он и что он такое.

— *Ты, Пелагея, вот что... ты — дерзкая...*

— *Она? Нет, она... у меня...* — защищает дочь Перчихин.

— *Молчи ты!* — резко останавливаю птичника.

Все вдруг притихли. Перчихин, испугавшись, сел. Я нарочно начал с Пелагеи. Она не поймет, а Нилу обидней.

— *Я что-то плохо разумею... чей это дом?* — И, отвернувшись от них, глядя прямо перед собой, вопрошаю с угрозой: — *Кто здесь хозяин?* (Предупреждаю Нила о той опасности, которая ему грозит.) *Кто судья?*

— *Я!* — балагурит Перчихин.

Пусть его балагурит! Молчание Нила меня занимает больше, чем вся болтовня Перчихина и Петр, который в нее влез. Петр — дурак.

Почему Нил молчит? Неужели одумался? Испугался? Нет. Вот он идет. Спокойно подошел к Петру, приказал ему не трогать Перчихина и двинулся ко мне. Я как можно обиднее, оскорбительнее встречаю его:

— *Ты что тут — собак травить? а?*

Поворачиваюсь к нему всем телом, чтобы подчеркнуть мое отношение к его поступку. В глазах его вижу огонек, злой огонек, опасный. Значит, задел я его, зацепил, только делает вид, что ему не больно... А Нил спокойно продолжает:

— *Нет, я хочу понять — в чем дело? В чем виноват Перчихин? За что его выгнали?.. При чем здесь Поля?*

Что же это такое? До чего же дошло? Мой сын! Пусть не родной, приемный, но все-таки сын! Отец я ему! Отец! А он... Вот стоит передо мной, чужой, холодный. Я таким его никогда не знал, не видел. Я догадывался, что он такой. Но что-то уж слишком. Я не могу поверить. Наверное, ослышался. И хочу понять, правильно ли я понял то, что мне сейчас в нем открылось.

— *Ты меня допрашиваешь?*

— *А если вас — так что ж? Вы — человек, я — тоже...*

Мне стало жалко погибшего Нила. Мне стало страшно за будущее, за детей моих, больно за тех, кому суждено будет столкнуться с такими, как он.

— *Нет, ты не человек... ты — яд! Ты — зверь!*

Медленно говорю, с наслаждением, упиваясь презрением и ненавистью, распинаю словом своего приема, своего врага. Поднимаюсь, не торопясь направляюсь на кухню. Продлеваю удовольствие от этой ненависти и наступившей тишины. По дороге разжигаю себя, распалю, уничтожаю двух ненавистных мне «человеков» — Нила и Полю.

— *А ты — ехидна! Ты — нищая!* — словно выблеваю из себя что-то мерзкое, отвратительное.

И вдруг...

— *Вы не кричите!..*

До этого окрика Нила, до этой угрозы я еще держался. Мог бы уйти. Но теперь не уйду. Теперь я имею право делать все, что хочу. Меня уже не остановить.

— *Что? Вон! Змееныш... я тебя вскормил от пота-крови!*

Это крик не запугивающий, это крик душевной боли, накопившейся за долгие годы. Это укор за жестокость, за бесцельно потраченные силы. Мне хочется его убить. И убил бы, если бы не суббота, если бы не церковь, в которой я только что молился, просил Бога удержать меня от греха.

Все сразу всполошились, все сразу заговорили. Умоляют меня остановиться: «*Папаша! Папа!*» Сквозь эти слова Татьяны слышу голос Поли: «*... не смейте на меня кричать! Я не раба вам... не можете вы обижать всех...*» Она вступилась за себя и за отца. В этой «тихой», «смирной» проснулась сила.

У меня под рукой кресло. Мне хочется размахнуться и пришибить ее этим

креслом... Если бы не суббота... я ведь только что молился, за себя, за них всех. Я смирил себя, подавил в себе обиду, и вдруг... от кого? От тех, кого пригрел, вырастил, выкормил... От чужих. Ну, были бы свои... Петр и Татьяна поступили бы так? Они все-таки мне ровня. И все, что в доме, им принадлежит, а у этих нет ничего. И вот они требуют от меня ответа! Да если я и ошибся, сгоряча что сделал — эка обида! Я сам понимаю, что зря на Перчихина накричал, злоба была совсем на других. Меня головой не выбрали, головой!.. И потом — это наше дело, стариковское. Мы и разберемся.

— *Я тоже требую... здесь не сумасшедшие живут... надо отвечать за свои поступки,* — спокойно, уверенно продолжает наступать на меня Нил.

Сумасшедшие... Это он меня называет сумасшедшим, отца?! Да за такое... Вцепиться бы мне в рожу твою нахальную, бесстыжий!

Я уже схватился за стул, но вспомнил о Боге, о своей сегодняшней молитве. Оставляю стул, складываю ладони и прошу, молю его, зверя, пощадить меня сегодня, не вводить в грех.

— *Уйди, Нил...* — преодолевая желание кричать, говорю шепотом, хочу усмирить, умиловать его, — *от греха... уйди!* — И, не сдержавшись (невозможно сдержаться!), выпаливаю: — *Смотри... ты, выкормок мой, которого я воспитал...*

Ему бы промолчать, пропустить все это, понять меня, а он кричит:

— *Не корите меня вашим хлебом! Я отработал все, что съел!*

Разве в хлебе дело? Разве самое дорогое — хлеб?

— *Ты душу мне сожрал... разбойник — ты!..*

Криком кричит обида моя. И когда Поля вдруг начинает звать Нила, тянуть его за собой: «*Идем отсюда!*», — я всю свою ненависть выливаю на нее, потому что она мне чужая, далекая.

— *Иди... ползи, змея! Ты всё... из-за тебя... ты дочь ужалила... его теперь... проклятая...* (Мне мало этих слов, чтоб унижить, оскорбить, ужалить ее. Я усиливаю их голосом, жестом, движением. Я сам превращаюсь в ту змею, которая жалит меня, моих детей, корчусь, извиваюсь.) ... *из-за тебя дочь моя...*

Спохватившись, я не договариваю, что сделала дочь. Гордость не позволяет мне этого. Поденщица отняла жениха! И у кого? У образованной! У моей дочери! Я не могу опуститься до сравнения моей дочери со швеей. Меня поднимут на смех. Перчихин, дурак, и тот это понимает, чувствует, потому он меня и жалеет, а мне его жалость еще обиднее, потому что он, Перчихин, не ровня мне. Здесь нет никого, кто бы понял меня до конца. Один я. Один!

— *Отец! Неправда!* — кричит Татьяна.

Зацепил я ее, задел ее самолюбие, обнажил рану. Слышу, что врет. Правда. Больно мне за нее, а выручить нечем. Я бессилён. Она больная, сломленная, мечется от одного к другому, защиты просит. А кто ее защитит? Как защитить, когда каждому из нас и мне самому защита нужна?! Все мы обижены. Но мне больнее всего. У меня последнее отнимают.

И опять я слышу: «*Идем!*» Это как приговор мне, как вызов, как наказание.

— *Хорошо!* — соглашается с Полей Нил. И так же, как она, с таким же презрением, но и с болью (я чувствую эту боль, это боль его любви ко мне): *Ну,*

*мы уходим... Вот! Мне жаль, что все вышло так громко.*

Нет, еще не все потеряно. Значит, ему тоже нелегко, значит, ему тоже больно.

Я сижу к ним спиной, перед маленьким столом, руки лежат на столе, кулаки сжаты, тело напряжено. Если его расслабить, то не сдержусь, брошусь на них и разорву... и разрыдаюсь. Глухо, еле-еле выговаривая слова, выжимаю из себя:

— *Ступай, ступай!.. Уводи ее...*

Если я скажу еще одно слово, то не выдержу, сорвусь. Что с собой и с ними сделаю — не знаю...

— *Я уж не ворочусь...* — говорит Нил.

Атмосфера такая, словно в дом положили бомбу, которая может взорваться от лишнего, случайно сказанного слова. Все затихли, сжались. Только Нил не хочет успокоиться. И эта его курва, воровка... Ну вот, за что я ее так? Не виновата ведь она. Оттого и злюсь, что понимаю — не виновата... За что ей счастье такое?.. А она:

— *Винить меня в таком... винить за Таню... разве можно? Тут разве я виновна? Бесстыдник вы...*

— *Уйдешь ты?!*

Ведь в точку попала, вот гадина! Вот змея-то! Ищу под рукой что-нибудь тяжелое. Но меня остановили, оттащили.

Вдруг все сорвались с места, засуетились. Нил и Поля зовут с собой Перчихина. Но Перчихин с ними не идет.

Здесь все: и Терентий, и Елена, и Перчихин, и Татьяна, и Петр — нет только матери. Она где-нибудь в углу, притаилась и ждет, ждет своей поры — чтобы выручить, заслонить собой. Дура! Она о своих печется. Только о своих — о Татьяне и Петре. До остальных ей дела нет. А Петр с Татьяной здесь и ни при чем. Беда идет от Нила, от Тетерева. Вот откуда опасность надвигается. Свои на такое неспособны.

... Уходить собираются. Неужели уйдут?.. Я хочу заставить себя поверить в то, что это не так. Это, может быть, наш последний семейный бой. И то, что вырвалось из глотки, — это же не закон. Мало ли что может сорваться в пылу-то? Долго злили, вот и обозлился... Да нет, не уйдут! Куда им уйти? Уйти-то им некуда. Ведь это крайность, предел — из дома уйти. Это значит — врагом меня назвать. Хуже врага. Так могут только чужие, далекие поступить, а не сын. Ну что ж, что приемный?! Все равно он мне сын. Нил Васильевич! И фамилия у нас одна — Бессеменов... Нет, не уйдет. Как он может уйти?!

И вдруг он просто:

— *Иду... прощай... какой, однако, ты...* (Это он Петру).

Даже не попрощался. Петру сказал: «Прощай», а мне...

Ушел. Даже не оглянулся. Смотрю я на всех, а все стоят безмолвные, равнодушные. Словно так и должно быть. И это люди? В кого они такие? Срываюсь с места к двери. И если бы не Петр и Татьяна, которые меня удержали, я бы их догнал, остановил... Кричу им вдогонку:

— *Ворóтитесь! Поклóнитесь!*

Ушли. Разве, так делают?

А эти меня успокаивают. Говорят: ушли — и хорошо. Что ж тут хорошего? Это же страшно! Я же их кормил, поил. Почему вы-то молчите? Кричать надо! Перчихину:

— *Ты, старый черт!.. Чего тебе надо? чего?*

Вот они какие, нынешние. На чужое жили. Вот им и безразлично все.

— *Я... потерял мысли. Не понимаю... Что вышло? Вдруг... как летом, в сушь, пожар... Одного — нет... говорит — не ворочусь... Ишь как просто! Ишь ты как... Нет... я этому поверить не могу...*

Говорю для всех, чтобы все постигли, в какую бездну толкает нас Нил. Для меня, Бессеменова, это событие не узкосемейного характера, оно выходит за рамки моего дома. То, что происходит здесь, и то, что происходит там, — звенья одной цепи, это все Нилы делают. На моих глазах, при моей жизни идет всеобщий распад. Хочу постичь душу и мораль тех, кто разрушает мою надежду, мою веру в человека... Какой же будет жизнь, если в ней живут вот такие? Мне пятьдесят восемь лет, я помню всех. Отца, мать, мастера, людей, которые меня учили. Я же не один был, я с ними был. Им я обязан. А эти — никому не обязаны. Все сами... Не могу...

— *Неужто Нил... так и уйдет?*

Словно раздели меня, ограбили в людном месте, и никто не взглянул, никто не заметил. Кому кричать караул? У кого просить защиты?

Вот когда старуха-то появилась. Она всегда вовремя является, на то она и мать, на то и жена. Знает, что мне тяжело, видит, а все притворяется. В доме ор стоит, а она спрашивает:

— *Что случилось?.. Нил с Палагеей в кухне там... а я была в чулане...*

Ну, сейчас врать начнет.

— *Ушли они?* — с надеждой, что не уйдут, спрашиваю.

— *Нет...* — говорит.

Вот мне когда стало радостно, чуть слеза не прошибла. Не ушли! Значит, не ошибся я в них. Есть все-таки в нем, в Ниле, мое, бессеменовское... Я как-то обмяк. Но слишком рано. Старуха-то мне говорит совсем другое, на радостях что-то пропустил, недослышал. Хочу догнать ее мысль, а она:

— *... зовут Перчихина... Палагея говорит, скажите, говорит, отцу... а губы у нее дрожат. Нил все равно как пес — рычит... что такое?*

Значит, опять ошибся? Все-таки уходят? Перчихина зовут, а я как же? Я, что же, им не нужен? Вот я сейчас пойду и поговорю с ними.

С горечью, с болью, с обидой я поднимаюсь и иду к ним. Сейчас поговорю, скажу...

Меня останавливают, и кто? Петр и Татьяна. Меня грабят, раздевают, а Петр и Татьяна говорят:

— *Отец, не надо! Не ходите... Папаша! Пожалуйста... не надо...*

Не надо, мол, связываться с ними. Они считают, что нужно оставить все как есть, как случилось. Для меня это новое событие. Оно еще страшнее. Потому что это родные мне говорят, мои кровные дети. Я хочу понять их, постичь их мораль.

— *Чего — не надо?*

Дважды повторяю эту фразу, чтобы усилить, обострить событие. Хочу, чтобы они были поражены поступком Нила так же, как я, Бессеменов.

И жена с ними заодно. Тоже как будто не понимает: «*Да что такое?*»

— *Ты понимаешь...* — обращаюсь к старухе, но хочу, чтобы все поняли, все видели, как я один в этом доме отбиваюсь. Хочу, чтобы и они мучились. Поэтому не говорю, а кричу, хочу докричаться до них: — *Нил уходит... совсем...*

А они словно глухие.

— *Ну, что же в том?* — говорит Петр. — *Уходит и — прекрасно... Зачем он вам? Он женится... он хочет жить своей семьей...*

Не поражается, а растолковывает мне, старому дураку, по-своему, то есть по-новому.

Мне даже ответить на такое нечего. В этот момент и сын, и дочь, и мать для меня такие, словно я в первый раз за всю свою жизнь их вижу. Впервые они мне открылись. Оказывается, не в Ниле я ошибся, а в своем собственном сыне. Он сейчас страшнее Нила.

— *А!* — вскрикнул я. (Это «А!» — не восклицание, это что-то другое. Оно так и повисло. Все замолчали, дышать перестали... К чему меня призывают? Чему меня учат? Меня, жизнь прожившего.) — *Так разве... я-то, я — чужой ему?*

Я как будто ослеп, и вот, слепой, прошу меня провести, подать мне руку.

Чего-то я еще не сказал, чего-то еще не постиг, не открыл, и не где-нибудь, а здесь, в моем доме. И оно, это непонятое, огромное, давит на меня. Оттого мне еще больнее. Я в чем-то виноват. Я чувствую это. Я не могу зацепить, ухватить конец, чтобы вытащить, распутать непонятное. Откуда оно все началось? С чего?

— *Нет... тут не то совсем... уходишь — уходи! Но — как? Как он ушел... какими глазами глядел на меня?..* (Это я сейчас увидел его глаза — новые, страшные, дикие глаза, глаза зверя.) *Я знал, что он от нас уйдет... ну только — разве так?* (Мне казалось, что за пятьдесят восемь лет своей жизни я все-таки что-то сделал, что-то выстроил, и вдруг такое!) *А эта... эта... кричит! Поденицца, девчонка... пойду поговорю им...*

Но сил уже нет, слезы, проклятые слезы жалости мешают, расслабляют... Нет, не так я все делал. Надо было жестче, круче. Срезать в зародыше. Вот говорят: что посеешь, то и пожнешь. Разве я это сеял?

— *Э, полно-ка, отец! Они — чужие нам люди! Что их жалеть? Ушли — и ладно!*

Дура мать! Была и осталась душой. Прав Перчихин — все мы дураки. Никогда не нужно давать детям больше того, что сам имеешь. Я всегда об этом думал. Всегда эта мысль меня тревожила.

Тащит меня жена в спальню, туда, где в мыслях, лежа в постели, я — решительный, храбрый, потому что там — потолок, мой бессловесный друг. С ним у меня все хорошо, потому что молчит, не возражает. А вот как выйдешь на люди, так тут тебе и конец. Все стали образованные, грамотные, все у них



по-новому, по-другому.

— *Идемте ко мне...*

Это Елена. Кого она зовет? Конечно, Петра. Кого же еще? Вот случай! Вот когда нужно вмешаться и разорвать все это, покончить.

— *Куда?* (Останавливаю решительно и властно. Я — хозяин, я — судья.) *Кого зовете-с? Петра?* (Прекращаю всю эту лживую игру, обнажаю всю ее распутную затею.)

— *Да... и Таню...*

Я слышу, я понимаю, она мне этими словами говорит: какое, мол, ваше дело? У, беспутная...

— *Таня — ни при чем! А Петру ходить к вам... не надо!* — отрезаю просто и ясно. Вот так. Так нужно было поступать всегда. За это уважение к себе имел бы. Потому что сам себя в это время уважаешь. Всегда нужно быть решительным... Вот и замолчали. Возразить не посмеют.

И вдруг... Петр:

— *Позволь, отец! Я... не мальчик. Я пойду или не пойду...*

— *Не пойдешь!* — обрываю его. Еще не знаю, что скажу. Знаю только одно: нужно оборвать, остановить. Ишь ты, против меня, отца, голос подал. Я решаю. Какие могут быть возражения?! Я еще не остыл от Нила, но он мне чужой, а ты родной сын, и поступаешь не лучше чужого.

Что за день! Все против меня! Объединились? Заговор? И эта вылезает, стерва-то!

— *Позвольте,* — говорит, — *Василий Васильевич!*

— *Нет уж, вы позвольте! Хотя вы люди и образованные... хотя вы потеряли совесть... и никого не уважаете...*

— *Папаша! Перестаньте...* — кричит Татьяна.

— *Молчи!* — ударом по столу обрываю ее и внушаю давно всем понятное, самой жизнью установленное:

— *Когда ты не хозяйка своей судьбы — молчи...*

Говорю это не одной Татьяне — всем им. Говорю так, чтобы каждое слово, каждая буква человеческого закона хлестала по их черствым сердцам. И вдруг Татьяна, не дослушав, фыркнула, отвернулась (я даже не сразу понял, не разглядел), и Петр за ней.

Слушать не хотят. Говорить не хотят. Хотят уйти. Бросить меня.

— *Постой! Куда?* — останавливаю Петра и Елену. (Непостижимо, что происходит в доме. Сейчас, сию минуту я готов пойти на смерть. Если меня не слушают, значит, моя жизнь бессмысленна.) *Сделайте мне милость — выслушайте! Дайте мне понять — что такое?* (Это уже не крик — истошный вопль. Я хочу добраться до их сознания, до их сердец во что бы то ни стало. Чтобы они постигли тот ужас, в который вторгли меня и всю жизнь.) *Все куда-то уходят... без всякого объяснения намерений... зря... обидно и беспутно!*

Я вижу перед собой свою одинокую, никому не нужную старость. Мне жалко себя. Обхожу стол, сдерживая рыдания. Я подавляю их, скрываю. Автоматически расставляю разбросанные по комнате стулья, возвращаю их на свое место, навожу порядок... Ищу чего-то. Что-то нужно сделать такое, от

чего должно все измениться, повернуться и встать на прежнее место. Что-то простое, ясное и в то же время непонятное. Хочется, чтобы было как раньше, в старину... Ведь кажется, уже сказал, уже нашел, понял... и опять чего-то не хватает... Мне хочется получить определенный, ясный ответ на вопрос: в чем смысл жизни? Ради чего мы живем на земле? Я не понимаю, не постигаю.

Я требую ответа от Петра. Я его просто, по-человечески спрашиваю:

— *Куда ты можешь идти, Петр? Ты... что ты такое? Как ты хочешь жить? Что делать?.. Я имею право спрашивать... ты — молод, ты еще — глуп!*

И уже в бессилии перед вставшей вдруг передо мной бесцельной, бессмысленной моей жизнью — обида захлестывает, сжимает горло — едва выговариваю:

— *Я — пятьдесят восемь лет... (показываю им свою руку, а она вся в краске, в мозолях) растягивал жилы мои в трудах ради детей...*

— *Я слышал это, отец!* — с животной ненавистью кричит мне сын. — *Я сотни раз...*

— *Стой!* — кричу, ударяя кулаком по своим коленям. — *Молчи!*

Захлебываюсь в собственной обиде.

Тут вмешалась мать:

— *Ах, Петя, Петя...*

Татьяна накинулась на мать. Собравшись с силами, снова пытаюсь добраться до бесчувственного, чужого, далекого мне Петра:

— *Какие ты слова можешь сказать? На что укажешь? Нет ничего...*

Вижу, что добрался, прижал Петра — нечего ему возразить. Юлит, изворачивается, мелко, подло, трусливо, глупо, словно раздел я его догола... И вдруг истерика, слезы.

— *Отец! Ты мучаешь меня! Что тебе нужно? Что ты хочешь?*

Какой же ты мужик, если при бабе, при своей любовнице, гордость свою теряешь? Тряпка ты!

Мать набросилась на Петра. И ей стало невмоготу, взвилась, закричала:

— *Нет, стой! И у меня есть сердце... и я имею голос! Сыночек! Что ты делаешь? Что затеял? Кого спросил?*

Как будто по мертвому — запричитала, заплакала. А чего плакать, чего рыдать? Сейчас все испортит. Разрвется, разрыдается — на этом все и кончится. А мне этого не надо.

— *Это какая-то тупая пила...*

Правильно говорит Татьяна: она и в самом деле тупая пила.

— *Старуха, погоди!*

Я отталкиваю от сына мать, хватаю Петра за рукав, он упирается, я сильным рывком выталкиваю его на середину комнаты: смотрите! Вот кого я вырастил! Вот она — моя гордость!..

Сжимаю крепко свой кулак: мне хочется ударить его, сильным, страшным ударом. Стоим мы и смотрим с бессилием, со злобой друг на друга.

Сделай же что-нибудь!.. Передо мной мой сын, любимый сын, мой первенец! Ради него пожертвовал всем, что было возможно. Вот оно, его лицо,

его нос, о который я терся своим носом, его глаза, когда-то смотревшие на меня с любовью и надеждой, а теперь злые, колючие. Я живо представил себе это лицо после того, как я ударю по нему кулаком. Беспомощный, жалкий, он отлетит в сторону, сожмется в комок... и, может быть, даже умрет. Ведь я могу, я способен на то, чтобы убить... Нет, в мыслях только, только в мыслях, на деле, наверное, не убил бы, но мне страшно стало и стыдно и за себя, и за сына. Закрываю свое лицо руками, отхожу от него и показываю всем, до чего дошли наши отношения. До чего они могут дойти.

И вдруг все опять разом закричали, заговорили. Елена кричит Петру: «*Я больше — не могу!.. Нет, это сумасшедший дом!*» Петр в растерянности успокаивает Елену — не меня, а Елену! В комнату влез этот громила, Тетерев. Он еще раньше с Перчихиным явился, стал в дверях, да так и стоял. А теперь и он кричит, лезет в нашу драку, подливает масло в огонь. Мне хочется прекратить этот шум — мне нужен только ответ Петра, я хочу слышать его голос, а не посторонних, не чужих!

Вот он, пронзительный крик Петра, его нельзя не услышать, он всех перекричал:

— *Отец... смотри! Мать...* — хватает за руку Елену, силой притягивает ее к себе и объявляет мне: — ... *вот — это моя невеста!*

Я знал, что и такое может когда-нибудь случиться. Но чтобы именно сейчас, в такой момент? Для меня это конец. Меня поразило не то, что Петр объявил своей невестой Елену, а то, что он сделал это в самый тяжелый для меня момент. Лежачего не бьют, а Петр бьет лежачего. Он страшнее Нила...

Что в таких случаях делают, как поступают? Мой единственный сын — моя надежда, мое будущее — меня бросил, предал. Вот он. Стоит. Глупо улыбается, выпятил грудь, руку заложил, как победитель, как Наполеон. Эх ты, вояка, сопливый черт... Нет, это все не так. Это не мой сын. Такой от меня произойти не мог. Нет, это непостижимо, это не уместится в голове... Раньше в таких случаях выли, рвали на себе волосы, дрались. Но это раньше, это было плохо. А что сейчас, как же теперь поступить? Так же? Или так, как Перчихин советует: лети из клетки, как птицы в Благовещение?

Нет, я просто так не выпущу. Я до конца испытаю его, узнаю, до какой степени он развращен этим новым временем. Тут не кричать нужно, нет. А спокойно — словно я рехнулся. Они сами сказали — сумасшедший дом. Вот я им и покажу, что я ума лишился. Вот так, по-сумасшедшему, и будет. Радостно, словно, свадьбу играем, вот-вот плясать начнем, и я с ними пойду вприсядку.

— *Н-ну, спасибо, сынок...* — не вставая со стула, одной ручкой тихонечко этак размахиваю, словно в ней платочек, — ... *за радостное известие...* — И, не вставая, низко кланяюсь ему, моему сыну.

Я терпел от тебя, теперь ты потерпи. Всласть упьюсь горем своим. Всего себя выверну, всего себя изничтожу в глазах ваших, оставляю память по себе на всю жизнь. Вот бы умереть сейчас! Всю жизнь будут винить себя, будут убиваться, что меня убили... Да нет, забудут, нынче все быстро забывают. Лучше жить. Ходить разутым, раздетым, но жить. Пусть все говорят, пусть все видят, как сын отца по миру пустил. Пусть совесть в них проснется, пусть она

их ест поедом днем и ночью... Нет, нет, ничего не дам. Все мое, все у меня останется!.. У, гнида! Сидит, отвернула рожу. Ничего, я к тебе подойду. Я в ножки тебе поклонюсь. Вспомним, как раньше кланялись барыням-то нашим. Мы ведь рабы, крепостные, пораболепствую перед тобой.

Медленно подхожу к Елене и низко кланяюсь.

— *Спасибо и вам, барыня!* — говорю ей тихо, чтобы не спугнуть «счастье». А потом на ухо, как будто я в заговоре с ней, как будто соглашаюсь с ее тайными мыслями. — *Теперь, стало быть, — пропал он!*

В этих словах и вопрос, и утверждение. Хочу дать ей понять, что я все понял, что это мне знакомо — сами так делали. Верный способ — захватить, завладеть, обчистить, а потом выкинуть, выбросить.

Тишина. Моя игра, мое мнимое безумие изумили всех. Застыли и молчат. А мне это помогает. Помогает углубить атмосферу грандиозной трагедии. Я сейчас не Бессеменов, не мещанин, а пророк, апостол. Я великомученик, Василий Блаженный.

— *Ему бы учиться... а теперь...* (Что ему с этой бабой делать? Можно только с грустью вспоминать об учебе, об университете. Мог бы быть большой адвокат — Петр Васильевич Бессеменов! А теперь... Смотрю куда-то вдаль, как это делают в театре артисты, трагики. Но боль не театральная, не придуманная, а живая, она не дает мне играть, она тянет за собой. Горе мое меня снедает. Смотрю на Перчихина. Вот он сидит, тоже покинутый, и у него дочь бесчувственная.) *А теперь...* (заканчиваю свою мысль жестом — все, мол, лопнуло) ... *ловко!* (Ударяю рукой по шкафу.)

Даже Тетерев, который меня не любит, я это знаю, и тот поразился, и того прошибло удивление, как это сын против отца пошел. Он сказал:

— *Ловко выбрал время!..*

Значит, ему меня жалко, значит, он меня понимает.

И вдруг я вижу, что Тетерев передразнивает меня: точно так же хлопает по шкафу. Все против меня! Вот кем я окружен — бандитами! Мне холодно от них, озноб берет. Я застегиваюсь на все пуговицы: не так-то просто положить меня на обе лопатки. И с новой силой, отбрасывая весь этот театр — теперь я уже не пророк, не апостол, не актер, а Василий Бессеменов, такой, какой есть, теперь мне все равно, — обрушиваю на них свое презрение, свою ненависть, свою злость. Иду прямо на Елену, крупными шагами, руки заложены в карманы пиджака, и сквозь зубы, остервенело, готовый разорвать, загрызть ее:

— *Поздравляю вас с добычей!*

Как бы выплевываю эти слова и направляюсь в свою комнату.

Петр молчит. Чувствую, что он раздавлен. Еще один удар — и от него ничего не останется. Я подошел к двери и тут вдруг завыл, громко, протяжно, как воют на похоронах, когда опускают в могилу. Я знаю, чем на него подействовать. Он же мой сын, он испугается.

— *Пе-е-еть-к-а!..* (Повернувшись, засучив рукава, иду смело, решительно на них — на Петра и Елену.) *Нет тебе благословенья!* (Сейчас будет драка, сейчас я их обоих пришибу!) *А ты... ты... поймала? Украла? Кошка... парш...*

И передразниваю ее, уничтожаю эту кошку.

Петр что-то пролепетал, а Елена схватила его и отшвырнула, он отлетел и свалился на диван. Она оцетинилась, того и гляди, в меня вопьется: красная, злая, пальцы словно когти.

— *Да, это верно! Да, я сама взяла его у вас, сама!*

Меня всегда боялись бабы, а тут, сейчас... Я даже не понял, не разобрал. Она, эта Елена, маленькая... и бросилась на меня, говорит:

— *Я сама... я первая... сама сказала ему... предложила жениться на мне! Вы слышите? Вы, филин! Слышите?..*

От ее слов, оттого что она сама все это сделала и бесстыдно, прямо в глаза про такое говорит, я оторопел, даже отступил назад. Про такое раньше молчали, вслух не высказывали, а она... Ей жалко его, вы его замучили, говорит... ваша любовь — гибель для него... вы ржавчина, а не люди... Она с ним, оказывается, даже венчаться не хочет, а так, без венца... Говорит, не вернется он к нам, не вернется... Забрала Петра, схватила его за руку, или Петр схватил Елену, я не разобрал, я слышу только последние ее слова: *«И он не придет к вам — никогда! Никогда! Никогда!»*

И ушли, хлопнув дверью.

А Тетерев радуется:

— *Виват! Виват, женщина!*

Нет, это сумасшедший дом, здесь все сумасшедшие. Как же я проглядел? Сколько раз мне жена говорила, подсказывала — прогнать. Я и сам об этом думал, много раз думал, да не решался, откладывал, оттягивал. Деньги проклятые... Вот и дожил: не я их, а они меня оттолкнули. Ржавчиной назвали. Ржавчина... Два сына было. И обоих увели... Украли! Полицию нужно звать, полицию. Она вон там, за окном, на улице. Мы же ненормальные! Сумасшедший дом! И я сумасшедший.

Иду к окну, не торопясь... Диван мешает... Что ж, нужно влезть на диван. А сначала убрать горшки с цветами... Осторожно, чтобы не разбить, снимаю каждый и бережно ставлю — один на стул, другой на стол. Потом вытираю ноги... чтобы не запачкать диван.

За спиной затихли жена, Татьяна, Тетерев, Перчихин. Они ошеломлены тем, что я не кричу, не плачу, не бью посуду, а тихо, спокойно совершаю, с их точки зрения, ненормальные поступки. Сошел с ума!.. Пусть так и думают. Я им подыграю.

Залезаю на диван, открываю окно и кричу в пустую улицу:

— *Полицию зови! Долой с квартиры!* (Последнее обращено к подбежавшим Перчихину, Татьяне и жене: пусть все уходят.) *Завтра же... ах ты!*

Меня стаскивают с дивана, оттаскивают от окна. Сумасшествие мое продолжается. Только бы ничего не побить, не сломать. Со мной-то пусть что хотят делают: связывают, руки выкручивают, водой отливают... Паника нужна, паника. Чтоб наверху было слышно: над нами она...

— *Ах, ты! Ты еще...* (Татьяна целует мою руку, а я ей сам, насильно, сую в губы, то одну, то другую — на! на! на!) *... осталась! Чего ты не уходишь? Уходи и ты...* (Сильно отталкиваю ее от себя, она отлетает и падает между столиком и пианино, бледная, с распущенными волосами, перепуганная,

беззащитная, карабкается, ползет, а я ее добиваю самым больным для нее.) *Не с кем? Некуда? Прозевала?*

— *Василь Васильевич, брось! Подумай! Учиться Петр теперь не будет... на что ему?* (Я не понимаю, жалеет меня Перчихин или смеется надо мной. А он мои мысли вслух говорит. Словно во мне самом был. Чего я боялся в жизни, о чем думал, он наружу вытаскивает.) *Жить — есть на что ему. Ты денег накопил... Жена — малина-баба... а ты — кричишь, шумишь! Чудак, опомнись!*

Нечего мне ему возразить: кругом прав! Одно остается — кричать благим матом, орать, как коровы на бойне.

Сквозь стоны и причитания старухи слышу, как Тетерев хохочет... огромный... лохматый. Он над нами смеется... над такими, как я...

Еще не все потеряно.

— *Молчи, мать!* (Тетерев хохочет. Хочу заставить его замолчать. Неправда все это! Ложь! Семья моя не виновата!) *Воротятся... не смеют!.. Куда пойдут?* — И уже в бессилии, сломавшись от обиды, от злости, от слез, обращаюсь к бесчувственному, к этой каменной глыбе — Тетереву:

— *Ты что тут скалишь зубы? Ты! Язва! Дьявол! Долой с квартиры!*

Хватаю за угол скатерти и хочу свалить на себя самовар. Перчихин останавливает, прижимает меня к себе, утешает, успокаивает, а Тетерев, этот оборванец, пьяница, вдруг спокойно, без злобы выговаривает мне:

— *Не кричи, старик! Всего, что на тебя идет, ты не разгонишь... И — не беспокойся... Твой сын воротится... Он не уйдет далеко от тебя. Он это временно наверх поднялся, его туда втащили... Но он сойдет... Умрешь ты — он немножко перестроит этот хлев, переставит в нем мебель и будет жить — как ты, — спокойно, разумно и уютно... (Мне интересно, что мне еще нагадает Тетерев, потому я его не перебиваю. Выслушиваю его до конца. И потом разобью его, так же спокойно и уверенно. А Тетерев все говорит.) Он переставит мебель и — будет жить в сознании, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как и ты... Совсем такой... труслив и глуп... И жаден будет в свое время и так же, как ты, — самоуверен и жесток. И даже несчастен будет он вот так же, как ты теперь... Жизнь идет, старик, кто не поспекает за ней, тот остается одиноким... И так же вот несчастного и жалкого сына твоего не пощадят, скажут ему правду в лицо, как я тебе говорю. Чего ты ради жил? Что сделал доброго? И сын твой, как ты теперь, не ответит...*

Нечем мне ему возразить сейчас. Трудно поверить в эту его правду, но возразить нечем. Да и плохо я понял, о чем он говорил. Понял только, что живем среди зверей. Жизнь злая, уйти некуда, всюду так...

А вдруг он правду сказал? Неужто зря жил?.. Да нет, живут же люди. И я буду жить...

— *Ну... будем терпеть... ладно! Будем ждать...* (Тетерев ушел. Один я, и передо мною — жизнь прошедшая и будущая. К ней я обращаюсь, с ней разговариваю.) *Всю жизнь терпели... еще будем терпеть!*

Трудно подняться со стула. Нет сил. Комок в горле. Не передохнуть... Нужно жить... Жить... Опираясь о стол, поднимаюсь и иду в свою комнату.

Дверь по-прежнему скрипит, нет времени ее починить.

Вхожу в свой угол, валяюсь на постель, и передо мной снова потолок — мой единственный собеседник...

# ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕТРАДЕЙ

## *ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕТРАДЕЙ*

### ПОСТИЖЕНИЕ РОГОЖИНА

Если хочешь делать роль сам, то делай, но при одном условии: у тебя должно быть свое собственное понимание образа, действующего лица. Тогда никого не слушай, лишь прислушивайся к тому, что говорят, что советуют. Чужие суждения в процессе нашей работы могут сильно помешать. Особенно — я заметил — много советчиков бывает вначале. Всем все ясно. Только тебе одному ничего не ясно. Все всё понимают — один ты ничего не понимаешь. Если будешь слушать других и подчиняться их воле, можешь так растеряться, что ничего не получится. Отсутствие воли — самое опасное препятствие на пути к образу. Пусть будет скромное решение, но свое. Тогда ты не будешь походить на других, не станешь употреблять несвойственные тебе выразительные средства.

Известная истина: прежде чем начать что-то делать, нужно знать, что именно и за чем это надо делать. А уж когда знаешь, решай, как ты будешь это делать. И не торопись. Это вопрос серьезный.

«Как» — это принадлежность формы. А форма зависит от твоего вымысла. Для того чтобы уверенно отсекай лишнее, нужно видеть, чувствовать форму.

Я совершил в своей практике все ошибки, о которых меня предупреждали мои педагоги. И через эти ошибки пришел к выводу: постижение точной формы — уже есть мастерство.

Школа — только заведение, в котором ты прошел предметы, положенные актеру. В школе очень многое не преподают вовсе. Театр — наша высшая школа! Каждая новая роль — экзамен, и чем ты взрослее, тем он труднее.

Хочу рассказать о главной моей школе, в которой я многому научился и многое постиг. Это школа Достоевского.

Когда Г. Товстоногов решился поставить спектакль «Идиот», мне была поручена роль Рогожина. Я работал над нею десять лет, то есть столько, сколько шел спектакль. Десять лет жил Достоевским.

Рогожина я в себе не чувствовал. Как и все, был в плену традиционного понимания образа. Во мне жил привычный подход: положительный персонаж или отрицательный. Карл Моор, Амалия, Франц («Разбойники» Шиллера) — положительный, положительный, отрицательный. Фердинанд, Луиза, Вурм («Коварство и любовь») — то же самое. И в «Идиоте» та же триада: Мышкин, Настасья Филипповна, Рогожин.

Первый из наших актеров, кто пришел мне в голову как будущий Рогожин, был В. П. Полицеймако. Его фактура, голос, темперамент... Лучшего Рогожина и придумать было нельзя! Так считали у нас все. Единственное, что могло



помешать, — возраст Виталия Павловича. Рядом с Мышкиным — Смоктуновским Рогожин — Полицеймако выглядел бы стариком.

Как-то при встрече я с завистью сказал ему: «Мне бы ваш голос!» На что он мне ответил: «Вам нужен не только голос, но и еще кое-что». И я понял, что ему очень хочется играть Рогожина. Но случилось по-иному. Назначили меня.

Тут-то и пошли советы. Среди наших стариков актеров немало было таких, кто видел в этой роли больших артистов. И я слушал бесконечные рассказы о том, как играли другие, какие у них были приемы, как они рвали страсти. Ведь только неслыханная страсть могла толкнуть Рогожина на убийство Настасьи Филипповны!

И стал я наживать эти страсти. То есть начал поднимать такие тяжести, которые мне вовсе не под силу. И чем больше старался «поднять», чем больше изображал страсть, тем меньше чувствовал радости. Да и партнеры мои в сценах со мной ее не испытывали. Я и глазами вертел, и рычал, особенно в первых двух картинах. Так сказать, оправдывал фамилию, в которой слышится что-то грубое, первобытное — рогожа!

Первый раз в жизни у меня на репетиции заболело сердце. Это он меня довел, мой Рогожин, этот «паук», «стяжатель», «сын своего отца»...

Вот что писал о Рогожине Ермилов: «Четвертое действующее лицо, претендующее на Настасью Филипповну, — Рогожин. Страсть отца к деньгам стала у сына страстью к женщинам, но осталась той же угрюмой собственнической страстью. Конечно, только великий художник мог дать нам такое глубокое ощущение того, что любовь Рогожина пропахла тяжелым запахом денег! Рогожин хочет перекупить Настасью Филипповну, набавляя, как на аукционе, цену и выставляя против семидесяти пяти тысяч, предложенных Тоцким, свои сто тысяч».

Вот и вся биография, вот и весь характер Рогожина по Ермилову, статьи которого о Достоевском я тогда читал.

На такого Рогожина я и нацелился, такого Рогожина на себя и напялил, хотя и чувствовал: неудобно, жмет. Надел парик с черными кудрявыми непослушными волосами. Маленькая черная бородка протянулась от одного уха к другому. Надел толщинки, чтобы быть шире в плечах, черный тулуп с огромным черным воротником... Посмотрелся однажды в зеркало и увидел... Садко!

Таким «красавцем» и вышел на сцену. Таким его и играл первые спектакли. Моим партнером, как вы знаете, был Смоктуновский. Этот безыскусный, этот подлинный Мышкин поражал всех с первого его появления на сцене и до конца спектакля. Актер слился с образом. В Смоктуновском все — и фигура, и голос, и руки, и глаза — было как будто специально создано для исполнения роли князя Мышкина. И конечно, нужно прибавить главное — его талант.

И рядом с ним ехал в вагоне мой Рогожин как персонаж из другого произведения.

Сейчас мне смешно. Я понимаю, что попытался тогда перейти вброд реку, которая оказалась глубокой. И плыл, держась, как за соломинку, за статью Ермилова.

Еще раз повторю: если хочешь делать роль сам, пропусти ее через собственное «я», не уходи от своей природы, пользуйся тем, что тебе отпущено.

... Мой отец любил петь. Я спрашивал его: «Почему ты так тихо начинаешь романс “Накинув плащ, с гитарой под полою...”? У тебя же сильный голос?» «А зачем орать? — отвечал мне отец. — Речь идет о чувствах тайных, глубоких, потому я и начинаю почти шепотом... Пойми, я как бы крадусь, прячусь, задыхаюсь, переполненный страстью. Я стараюсь донести мою страсть до той, от которой она загорелась... И потом, мне так кажется, я так себе представляю это, так вижу...»

На репетициях я шел против своей природы, я насиловал ее. Пользовался теми приспособлениями, которые мне не свойственны. Выразительные средства, которые я употреблял, были заемными, чужими; они не трогали ни меня, ни партнеров, ни зрителей.

Первые тридцать спектаклей прошли для меня в самообмане. Мне, представьте, нравилось выходить на сцену таким вот, не принадлежащим себе. Я шел по той самой дорожке, по которой ходили до меня многие театральные Рогожины. Я не нарушал театральной традиции. Держало меня в этом чуждом обличье известное театральное правило: зритель всегда будет на стороне Фердинанда. Чем чернее коварство, тем больше будут ненавидеть зрители Вурма.

Играя Рогожина, я пользовался только черной краской. Весь облик мой был черный. Черные волосы, черная борода, черный костюм, такой же черный тулуп, на ногах черные сапоги. Только лицо бледное, с тонкими красными губами, сжатыми в злой усмешке. Мне нравилось, что у меня широкие плечи, могучая грудь, грязные руки с огромным перстнем на пальце правой руки. На шее красная, цвета крови, повязка, хриплый голос... Вроде бы все по Достоевскому.

Я пришел на обсуждение спектакля в надежде, что меня похвалят, был уверен: Рогожин получился.

Долго мне пришлось ждать, когда критики доберутся до моей роли. Отмечался день рождения Смоктуновского. Все похвалы, поздравления сыпались на него. Я завидовал. В каждом артисте сидит этот зверь — зависть. Тот артист, который скажет, что равнодушен к большому успеху товарища, солжет. Поздравляя товарища с успехом, артист целует его, восторгается его работой, но чего ему это стоит! В каждом, в каждом сидит Сальери, пусть маленький, крошечный, но сидит.

Зависть живет не только в артистах. Я много раз наблюдал, как критики слушают своего коллегу. Критики — плохие артисты, они плохо скрывают свои чувства. Все выражено у них на лице. Когда оратор сказал то слово, которым его товарищ хотел поразить собравшихся, последний не может порой скрыть досаду. Видно, как в его глазах — глаза выдают — прыгает чертик зависти, как он выскакивает, крутит хвостом, доводит до полуобморочного состояния. И новый оратор старается найти такое слово, которое могло бы сразить предыдущего оратора и всех остальных.

При всей моей зависти к успеху Смоктуновского, я был рад за него, потому что именно я привел его в театр. Мы снимались со Смоктуновским в одном фильме. Его серьезное отношение к работе мне понравилось. Я обратил внимание на его руки — тонкие, длинные, безвольные — мышкинские руки, лицо и глаза. Он был ни на кого не похож. В нем жила странность. Я подумал: как странно — работает в Московском театре имени Ленинского комсомола артистом вспомогательного состава, и вдруг так хорошо снимается. Очень странно. Я сказал Товстоногову, что нашел Мышкина. Товстоногову Смоктуновский понравился.

Его взяли к нам в театр. На спектакле «Идиот» родился новый большой артист.

Играть с ним было легко. Трудно бывало в конце спектакля, когда понимал, что успех всего спектакля в нем и что мы, остальные актеры, на поклон могли бы и не выходить. Зритель хотел видеть только его одного.

... На обсуждении спектакля наконец заговорили и обо мне. Сказали, что мой Рогожин — это персонаж Островского, а не Достоевского, особенно в первой половине спектакля, до сцены обмена крестами между Рогожиным и Мышкиным. Что дальше у меня пошло лучше и моему Рогожину верили, особенно в конце, когда он убивал Настасью Филипповну...

В старых театральных рецензиях про меня написали бы так: «Господин Л. не портил спектакля и не мешал играть главному герою». Черт дернул меня прийти на это обсуждение! Ведь никто не тащил! Я сам полез на эшафот и получил по заслугам. Да, критики хороши тогда, когда хвалят. Тогда они твои друзья... Я терпеливо слушал все, что обо мне говорили, но никак не мог понять, в чем же моя ошибка, почему у меня получается Островский, а не Достоевский. Ведь кажется, я сделал все, что от меня требовалось, выполнил все, что подсказывали товарищи. У вас, говорили, диалект. А это — Островский! Но и у Рогожина Достоевского диалект. Его речь отличается от речи Мышкина, Настасьи Филипповны, Епанчиных. Говорили — не хватает страсти. Но я же рвал ее, я ревел как зверь! И грудь нараспашку, и все — грубое, злое, собственническое. Только что не носил с собою «денежного мешка»! И грязная пачка в сто тысяч, перевязанная бечевкой, была в моих грязных руках. Чего еще нужно?!

Никто не мог ответить на мои вопросы, помочь разобраться, в чем дело. И вот тут-то, слава Богу, наступил момент, когда я стал искать ответы у самого Достоевского.

Купец на Волге зарезал свою любовницу. Этот факт Достоевский использовал в своем романе. Но его интересовал не столько факт, сколько причина преступления. Что заставило купца зарезать свою любимую? Достоевский боролся против «социологов», «критиков», холодных рационалистов. «Такие теоретики, — писал он, — никогда не смогут по-настоящему любить свой народ, ощутить свое родство с ним. Величие ума художника, ценность его произведений и заключается в том, насколько глубоко он может приобщиться к окружающей его действительности, насколько он может впитать ее и выразить в своих созданиях. Его реальность может стать

частью исторической правды, выходящей за пределы его ограниченной идеологии».

Я стал изучать роман «Идиот»: не читать, а вчитываться в него. Перечитал письма, дневники Достоевского. И увидел, сколь мелка «глубина» моего проникновения в суть характера Рогожина.

Сейчас не помню, где, в каких именно письмах я вычитал, что образ Рогожина — самый сложный из всех образов романа. Это действительно так.

Достоевский придает огромное значение случаю в жизни человека. Он и роман-то начинает со случая, посадив в вагоне друг против друга Рогожина и Мышкина. Два молодых человека одного возраста. Одному — двадцать шесть, другому — двадцать семь. Оба едут налегке, без вещей. У Мышкина — узелок, у Рогожина — ничего. Оба странные, болезненные. Оба без денег. И тот и другой потом будут миллионерами.

«Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда».

Я спрашивал себя, почему критику Ермилову Рогожин не понравился, а князю Мышкину понравился? И кому я должен больше верить?

В Рогожине есть доброе человеческое начало, ибо он способен сострадать. Чем больше проявляется в нем это человеческое начало, тем трагичнее его существование.

У Рогожина есть Бог, вернее — страх перед Богом. С детства в нем живет наивная «наука» о Христе. Он привык верить и молиться, как молились его отец и мать.

Отец Рогожина необразованный человек. Всю жизнь деньги копил; считал, что деньги в жизни — главное. Качества души человека им не то что не учитывались, а попросту были ему неведомы. Все продается и покупается — вот закон, по которому жили и живут такие люди. При этом он исправно молился, крестил рот перед обедом, ходил в церковь.

В пореформенной России возросли алчность, стяжательство, погоня за чинами. Вот обстоятельства, в которых формировалось сознание Рогожина. И сознание это неизбежно должно было быть противоречивым. Ведь молодость его пришлась на такую эпоху, когда, говоря словами В. И. Ленина, «весь старый строй “переворотился” и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, *каков* “укладывающийся” новый строй, *какие* общественные силы и как именно его “укладывают”, *какие* общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам “ломки”» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 20, с. 102).

Эта ломка и проходит сквозь сердце Рогожина. В нем действительно все смешалось. Живет во власти денег, а в глубине души его «начала, привычки, традиции, верования» еще патриархального уклада...

Встретив Мышкина, Рогожин почувствовал в нем что-то родственное. Что? Ему самому неясно: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может,

оттого, что в этакую минуту встретил...»

Но что же это за минута? «Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб... черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся».

Вот над этим мне уже следовало глубоко задуматься.

В Рогожине тут ни бахвальства, ни куража. Он интуитивно чувствует в князе измученного, обездоленного человека, чувствует, что над князем так же, как и над ним, Рогожиным, посмеялась судьба. И характерно, что Рогожин нисколько не сомневается в том, что Мышкин — князь. Одежда для него ничего не значит. Он сам из богатых, а теперь в вагоне чуть ли не без сапог домой едет. Парфен чувствует благородство нового знакомца. Рогожин «бунтует», не приемлет свою жизнь. Оттого бежит, уезжает, таскается по кабакам, заливает свою тоску...

Задавая вопросы Мышкину, Парфен хочет понять, насколько схожи их судьбы.

— А что вы, князь, и наукам там разным обучались, у профессора-то?

— Да... Учился, — отвечает князь.

— А я вот ничему никогда не обучался...

Вот первая его беда. Ценит он себя невысоко, хотя уничижение его и в самом деле паче гордости. «Рогожиных знаете?» Мол, Рогожиных все знают. Перед потомственным почетным гражданином, миллионером Семеном Парфенычем все благоговеют, дрожат, выпучивают глаза. Всем известен дом Рогожиных.

Этот дом — страшный дом. «Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого... Строены они [такие дома — *Е. Л.*] прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками... И снаружи и внутри как-то негостеприимно и сухо, всё как будто скрывается и таится... Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красною краской... Стены были “под мрамор”, со штучным дубовым полом и с мебелью двадцатых годов, грубою и тяжеловесною, проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги...» Мать Рогожина «вот уже два года, точно как бы не в полном рассудке сидит (больная она), а по смерти родителя и совсем как младенцем стала, без разговору: сидит без ног и только всем, кого увидит, с места кланяется...»

В таком доме и вырос Парфен Рогожин. Имя ему дали потомственное, дедовское.

И вдруг — встреча с Настасьей Филипповной. И вдруг — чувство, огромное, неотвратимое. Конечно, Достоевский придает этой встрече роковое значение.

«Так меня тут и прожгло», — говорит о себе Рогожин. Слово-то какое подобрал — «прожгло». Не зажглось, не сразило, а прожгло насквозь. Прожог

непоправим, прожог неизлечим!

Чувство Парфена Рогожина сильнее страха перед отцом: «У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал... Что у меня тогда под ногами, что передо мною, что по бокам — ничего я этого не знаю и не помню».

Чувство толкнуло Рогожина на крайний поступок. На отцовские деньги, полученные по двум пятипроцентным билетам (пять тысяч каждый), он покупает бриллиантовые подвески, чтобы подарить их Настасье Филипповне. И заметьте — не сам передает их, а товарища просит. А сам при этом рядом прячется. «Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно...» Настасья Филипповна улыбнулась, и Рогожин вмиг испытал огромную радость.

«А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» — спрашивает его товарищ.

Рогожин знал, какое страшное наказание понесет он за свой поступок. Но чувство его сильнее разума. «Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, — говорит Рогожин, — да думаю: “Ведь уж всё равно”, — и как окаянный воротился домой».

Он был избит отцом до полусмерти. Потом убежал в Псков, «а там по кабакам, да в горячке, насилу и очнулся». Вот чего ему стоила встреча с Настасьей Филипповной. Не случайно она, узнав, во что обошлись Рогожину подвески, говорит: «... они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал».

Хотел ли Рогожин «купить» Настасью Филипповну подвесками?

Глупая мысль, хотя Рогожин и плоть от плоти отца своего.

Случай (рок!) пробудил в Рогожине человеческое начало, данное ему природой. Первый раз случилось с ним такое, с чем он не в силах совладать. Какой же ценой он мог заплатить за то, что в нем открылось, кроме как собственной жизнью?! И он готов отдать ее ради той, которая доставила ему такую невыносимую муку и вместе с тем невыносимую радость.

Он интуитивно почувствовал, что Настасью Филипповну деньгами не купишь, это не Арман, не Коралли — те за деньги что хошь...

Два разных Парфена: один — до встречи с Настасьей Филипповной, другой — после.

В нем проснулась любовь, страсть. Ему не под силу подавить ее. Заговорила природа! Он осознал то унижение, в котором проходила до роковой встречи его жизнь.

Парфен — человек незаурядный, не тупой, не бесчувственный, не злодей. Это не какое-то среднеарифметическое — «купец», «самодур» и «стяжатель». Он человек среди зверей, в нем есть прекрасное начало. Только оно заглушено, задушено обстоятельствами жизни и теми, кто учил его, как нужно жить, каким мериллом пользоваться, когда капитал в развитие пошел.

Это у них, «учителей», «законников», все покупается и продается. Бога у них нет. Бог только для бедных и униженных, для таких, как Парфен Рогожин,

пока он без капитала. В этой жизни гибнет все красивое, подлинное, эта жизнь доводит до той болезни, в которой пребывают и Мышкин, и Рогожин. Оба они обездоленные. Разные по сословию, но с одной болью в душе.

Потому Рогожин проникается родственным чувством к Мышкину и предлагает ему свое покровительство: «Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя снимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью...»

Теперь, после моих углубленных занятий Рогожиным и, шире, Достоевским, мог ли я по-прежнему «разоблачать» моего Парфена?

Достоевский-художник ставит трех героев романа — Мышкина, Настасью Филипповну и Рогожина — в одинаковые отношения к деньгам как к самому страшному злу. Каждый из троих знает, что такое деньги, и каждый их ненавидит. Деньги сделали их несчастными, но каждый в отдельности не знает про другого, как он несчастен.

Вернувшись из Пскова, Рогожин застаёт Настасью Филипповну уже не той, что принимала рогожинские подвески и улыбалась. После той встречи в жизни Настасьи Филипповны произошли события, потрясшие ее, приведшие в лихорадочное состояние. Она узнала о семидесяти пяти тысячах, за которые Тоцкий хочет ее продать, и о том, что Ганьке Иволгину предложили на ней жениться.

Настасья Филипповна и Рогожин поставлены Достоевским в такие обстоятельства, когда оба находятся уже на грани помешательства. Слишком напряжены их чувства, чтобы эти два человека могли понять друг друга. От их соприкосновения происходит взрыв. Это закономерно, притом что судьбы их схожи: оба унижены, оскорблены сильными мира сего.

Нет, Рогожин не злодей, не убийца. Карандышев в «Бесприданнице» убивает Ларису от бессилия, в порыве ревности. В убийстве Рогожина — сознательное освобождение от страданий и мук, которые терпят все, и сам Рогожин, и Настасья Филипповна, и Мышкин, и Аглая.

И во всем «чудо», даже в том, что нож вошел в самое сердце, а крови всего одна капля. Это чудо окончательно свело с ума Рогожина. Он почувствовал, что, убив человека, убил самого Бога!

Играя Рогожина, я многого не учел. В первой картине, в сцене вагона, пропустил главное обстоятельство. Парфен тут рассеян. Он слушает и не слышит, смотрит и не видит. Я пропустил смерть отца. Каким бы ни был рогожинский отец, сын Парфен не мог равнодушно пережить его смерть. Освободившись от отца, он попадает в еще более сложные обстоятельства, и он это сознает. Поступок брата Семена, срезавшего золотые кисти с покрывала во время похорон отца, вызвал у него недоумение. Он предчувствует, что весь рогожинский дом придет теперь в полное разорение. Возвращение домой не сулит ему ничего хорошего. Его гнетут страшные предчувствия. Встречу с князем он воспринимает как нечто чудесное.

А я его делал открытым, распоясавшимся купцом-миллионером. Оттого и получался он скорее из Островского, чем из Достоевского. У Достоевского Парфен собран, весь в себе, напуган. Оттого и рассеян. Надобно еще прибавить важнейшее обстоятельство, что Настасья Филипповна помолвлена с Ганькой. А уж это никак не может уложиться в сознании Рогожина. Это событие и торопит его в Петербург.

Встреча у Ганьки Иволгина. Достоевский приводит тут всех действующих лиц к такому душевному состоянию, когда существуют только чувства — обнаженные, больные, лихорадочные, оскорбленные, гордые... Каждый понимает, что дошел до предела, что все происходящее гадко, но совладать с бурей не может. Всякое слово, сказанное персонажем, вызывает ответный взрыв. Тут люди ненормальные, раскаленные, словно какие-то крышки срываются, вырывается наружу обжигающий пар и от ожогов все кричат, воют. Тут сам сатана не разберется.

Достоевский показывает людей в том состоянии, когда каждый из них готов на преступление.

Каждый считает, что он прав, у каждого свои болячки, свои раны, свои муки, до которых нет дела никому. Каждый думает только о себе, тут царствуют эгоизм и эгоцентризм, после каждого следующего события отношения становятся еще запутаннее, обостреннее. Здесь идет драка в темноте, бьют неизвестно кого и неизвестно за что, бьют куда попало, как попало. И попадают в самые болезненные места.

И Рогожин тут совершает поступок, свойственный его характеру и с его точки зрения естественный: предлагает «отступные» Иволгину. Но для Настасьи Филипповны этот торг оскорбителен: «Вот сейчас мужик и сказался!» Рогожин понимает «мужика» в том смысле, что восемнадцать тысяч мало. Это его оскорбляет — он все может отдать, все, что имеет. Не он отдает, а его любовь!

В сцене у Ганьки Иволгина я появлялся в разнузданном виде вместе со своей компанией. Я входил шумно, опять так, как могло быть у Островского. А у Достоевского вот как: «... Рогожин ступал осторожно во главе толпы, но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным... Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление; он так побледнел, что даже губы его посинели».

Рогожин не мог прийти один в дом к Ганьке, у него не хватило бы на это смелости, потому-то он и взял с собой компанию. Он был уверен, что Настасья Филипповна у Ганьки нет. И вдруг...

Раньше я орал в этой сцене, кричал и криком уничтожал в присутствии Настасьи Филипповны Ганьку Иволгина. Полупьяная компания подыгрывала, шумела вместе со мною.

Теперь я уже понимал, что делаю неправильно, но иначе существовать в этой сцене еще не мог. То, что было наработано в репетициях и в шедших спектаклях, невозможно было сразу изменить. Теперь каждый выход в «Идиоте» был для меня мукой.



Первое, что я сделал, — снял с себя толщинки, снял парик, голове стало легче, но это не помогло. В своих действиях я оставался прежним.

Сколько раз мне хотелось сорвать бороду, снять костюм и уйти из театра! Не позволяла этика профессии. Я ни с кем не советовался, не делился моими муками и тем, что открыл в Рогожине. Но заставить себя играть по-новому не мог. Не получалось.

Однажды меня пригласили в гости в дом, где бывал известный врач, профессор Рысс. Старый театрал, он знал всех актеров, хорошо помнил многие спектакли. Мы разговорились с ним о Достоевском, и в частности о Рогожине. Он сказал: «Такие роли без допинга ни один актер не играл. Вам нужно перед спектаклем выпить сто грамм коньяку, это вас взбодрит и настроит на ту волну, какая нужна в Рогожине, освободит от ненужного напряжения, даст волю чувству. Разум тормозит чувство! Одним разумом играть нельзя!»

Я всегда был против таких допингов, никогда не прибегал к ним ни в одной роли. Сцена — место святое. Возбуждать свои нервы допингами — губить искусство в самом себе.

Однако чем больше я узнавал о характере Рогожина, тем труднее становилось мне выходить на сцену. Форма не вмещала в себя открытое мною содержание.

Я стал понимать, что роль Рогожина — вся в молчании, а не в бешеном крике и необузданной страсти. Это всё на поверхности. Но молчать на сцене, да еще в образе Рогожина — самое трудное. Внутри тебя идет бешеный процесс оценки обстоятельств, всего, что происходит вокруг. Необходимо не внешнее, а внутреннее действие, чтобы в молчании все было видно. И при этом надо не потеряться среди тех персонажей, у которых большой текст.

Рогожин понимает, кто тут на какой ступени стоит, чувствует свое собственное ничтожное положение, несмотря на свои миллионы. Смерть отца принесла ему свободу, но эта свобода ввергла его в новую зависимость. В мечтах-то легко распорядиться своей свободой. Его наивные представления о силе миллионов давали ему право думать, что, получив их, он сможет возвыситься над всеми, станет вхож туда, куда ему захочется, и можно будет наконец наверстать упущенное. Но эти иллюзии рассеялись.

Он встретил Настасью Филипповну, и свобода его обернулась несвободой, новыми муками. Безденежный князь Мышкин, над которым он посмеивался, оказался богаче его и без особого труда завоевал любовь Настасьи Филипповны, нет, не завоевал — покорила ее, и Аглаю, и всех, с кем пришлось ему встретиться.

Я знал о Рогожине все, мог ответить на многие вопросы и, как «адвокат» Рогожина, мог защитить и оправдать его, все его поступки. Но говорил только мой разум. Чувство молчало, зажатое в тисках рассудка.

Наступил кризис. Однажды после первой картины «В вагоне» я вошел в свою примерную с твердым намерением снять костюм, сорвать бороду и бежать из театра. И тут вспомнил профессора Рысса. Все равно пропадать! «Вера! — позвал я свою одевальщицу Веру Григорьевну. — Сходи в наш зрительский

буфет и купи мне двести пятьдесят граммов коньяку!» Вера Григорьевна остолбенела. Все в нашем театре знают, что значит появиться на сцене в нетрезвом виде. Если дойдет до Товстоногова, актеру в театре делать больше нечего. Понимал это и я, но при всей моей любви к театру и к Товстоногову, все же решился. Мне надо было заглушить свою ненависть к себе, к Рогожину, к моему безволию.

Выпив не сто, как советовал профессор, а все двести пятьдесят граммов, я не почувствовал крепости коньяка. Но проглотив все, я испугался. Что я сделал? Зачем?! Передо мной зритель... Он-то в чем виноват?

Успокоило одно обстоятельство: я начинаю правильно петь, лишь когда немножко выпью. У меня появляется слух. Тогда я могу вторить, петь с хором, даже с великолепными грузинскими певцами, находить свой подголосок среди их многоголосия.

... Следующая картина — приход Рогожина в квартиру Ганьки Иволгина. Иду. И вдруг внутренний голос мне говорит: «Зачем ты кричишь, когда встречаешь Настасью Филипповну? Она же тебе дороже жизни, зачем тебе нужно выглядеть в ее глазах дураком? И приход Настасьи Филипповны в дом Ганьки тебя поразил. Ведь ты же знаешь, кто такой Ганька и кто такая Настасья Филипповна!»

И увидев Настасью Филипповну, я вдруг замолчал. И долго не мог произнести первые слова. На сцене наступила тишина. Никто не ожидал такого. А зритель? Вместе со мною он перестал дышать.

Атмосфера сцены чревата взрывами.

Но я не взорвался.

Я стал уничтожать Ганьку в глазах Настасьи Филипповны не силой голоса, не криком, а шепотом, не сводя с нее глаз. От нее зависела моя жизнь. Я стоял потерянный и тихо постигал непостижимое, сравнивая свою жизнь с жизнью подлеца Ганьки, который за три целковых на карачках доползет до Исаакя.

В этот момент в Рогожине пробудился борец за свое право называться человеком, а не «холуем». Рогожин не покупает Настасью Филипповну, а выручает ее из беды, в которую втягивают ее Тоцкий, Епанчин и Ганька.

Я не могу подробно описать сейчас, что делал в этой сцене. Но когда закрылся занавес, мне мои товарищи, мои партнеры сказали: «Ты сегодня так играл, что мы все перепугались».

Профессор Рысс оказался прав: для таких ролей нужно сверхраскрепощение, полная внутренняя свобода. На каждый следующий спектакль я приносил с собой коньяк. Никто не догадывался о «допинге». Я не пьянел. Надо было ощутить в себе такой крик души, чтобы зритель услышал этот крик в молчании. Трата нервной энергии происходила такая, что хмель полностью выветривался.

У Достоевского много говорится о рогожинских глазах. Мышкину кажется, что они преследуют его всюду. В рогожинские глаза нельзя смотреть без страха. В них отражаются его чувства, вся его боль. Какое нужно иметь ему адское терпение, чтобы вынести эту невыносимую боль и еще найти ей

оправдание!

Оправдание своему терпению Парфен находит в картине Гольбейна. Избитый и весь в кровоподтеках Христос изображен на ней человеком, который ничем не отличается от других людей. «Он» терпел и нам велел! Он человек, и я человек. Достоевский специально повесил в доме Рогожина «Христа» Гольбейна. Он считал, что только через муки и страдания можно прийти к состраданию, к пониманию другого человека. Я не помню, в каком музее я видел эту картину, но она произвела на меня огромное впечатление.

... Я вспоминаю свое посещение детской больницы. Я видел глаза детей. Они до сих пор смотрят на меня, просят о помощи. Пришел я из любопытства: посмотреть на ребенка, лежавшего под стеклянным колпаком. Мальчик был весь истыкан иглками с надетыми на них тонкими резиновыми трубочками. Мне вдруг показалось, что глаза ребенка понимают все, что он знает, зачем я пришел. Глаза его смотрели осуждающе.

Дети в больнице не плакали. Им, наверное, не было больно. Родившись больными, они воспринимали боль как естественное состояние человека.

Мне стало стыдно. Зачем я пришел? Зачем просил своего друга показать мне его клинику? Затем, что люди моей профессии должны знать и видеть все, что можно узнать и увидеть, и испытать это на себе...

Вот я и испытал, поставил на себе опыт. Мой эксперимент с коньяком затянулся, я не знал, как из него выйти. Кому рассказать, с кем поделиться, посоветоваться? Даже с Товстоноговым, для меня самым близким человеком, другом, товарищем, родственником, поговорить не решался. Тогда я вспомнил о своем учителе Владимире Владимировиче Готовцеве. Я никогда не терял с ним связи. Рассказал ему, что прибегаю к допингу и не знаю, как дальше быть. «Можешь перестать, — сказал он, — у тебя уже выработался рефлекс». И добавил: «Если бы ты не проделал всей работы по освоению Достоевского, никакой допинг тебе бы не помог!»

Я ему поверил и в дальнейшем играл роль Рогожина без всякого допинга. Первое время чего-то не хватало. Учитель мой был прав, но мы народ суеверный, и работа наша темная...

Темная?! Включи фонарик разума и освети им темные места. Доверься подсознанию, интуиции. Но прежде всего пойми, кого, что и зачем ты хочешь сыграть.

## **МОНАХОВ И ПРИШЕЛЬЦЫ**

Прекрасно понимаю, не раз на себе испытывал неуместность всяческих советов, которые мы с такой охотой раздаем коллегам, когда те приступают к работе над уже сыгранной тобой ролью.

И ведь знаем, что это вредно, а не можем удержаться. И все из добрых побуждений! И ведь помним, как нам самим мешали эти советы и как трудно было избавиться от неизбежно проникающего в твое сознание чужого рисунка, а все советуем, все подсказываем...

Хочу вспомнить, как играл роль Монахова в горьковских «Варварах», поставленных Товстоноговым много лет назад. Сознаю, что полной точности мне не добиться: у меня уже другой и актерский, и человеческий опыт. Я не смогу сейчас восстановить в памяти весь ход репетиций. Не вспомню, на каком этапе работы возникли те или иные ощущения. Когда роль сыграна, то длительный процесс ее формирования, «прилаживания» к себе, перестраивается в твоём сознании в готовый сценический образ порой с совсем иными сочетаниями и пропорциями отдельных частей, чем это было вначале. Готовая роль — это всегда пересоставленная роль. Элементы те же, что в репетициях, а целое — иное. Потому что целое — образ — существует в движущемся мире спектакля.

Такова диалектика создания образа. Если он по-настоящему живое художественное явление, то он вечно ускользает от тебя.

Представляю себе, что передо мной сидит человек, задающий вопросы, которые помогают «разложить по полочкам» мои разрозненные мысли.

Он спрашивает меня:

— Как по-вашему складывалась биография Монахова, что было для вас главное в этом человеке с психологической и философской точки зрения? Как преломлялось в нём «варварство» изображённой автором жизни и, наконец, как трактовалась роль Монахова режиссером и вами? Были ли у вас расхождения?

Наверное, он задал бы мне ещё несколько вопросов, которые перестают быть банальными, как только соприкасаются с твоим конкретным делом.

Итак, вопросы заданы.

В сезон 1959 года, когда началась работа над «Варварами», в театр пришли новые актёры — Павел Луспекаев и Татьяна Доронина. Они были назначены на главные роли — Черкуна и Надежды Монаховой. Мы ждали, как они себя проявят, как будут репетировать. Ведь приход новых артистов — это своеобразный экзамен не только для них, но и для уже сложившейся труппы. Теперь я воспринимаю тогдашних новичков как незаменимых в своих ролях в «Варварах». Кстати, и снят-то был спектакль впоследствии с репертуара не потому, что устарел, а из-за болезни Луспекаева. Наверное, можно было «ввести» кого-нибудь, но представить себе другого в этой роли было невозможно, и другой Надежды нельзя было вообразить...

Актеру в начале работы важно физически почувствовать, что делается с его героем и что вообще делается в пьесе.

Товстоногов как-то в начале работы сказал: «Представьте себе, что вы живёте на острове Таити. Так вот, если жители уездного городка, условно говоря, “таитяне”, то у них есть и своя интеллигенция, и своё “высшее общество”, и своя культура. Они патриоты острова. У них дикая, но своя, особая цивилизация, свои законы. И вот к ним приехали люди из иного мира. Каждая группа смотрит на другую как на что-то необычное, противоречащее привычным нормам их жизни».

Так складывались черты почти материального представления об

обитателях города, провинциального уже в символическом значении этого слова. Снимался налет обыденного восприятия, появлялась та странность, без которой тут никак нельзя было обойтись.

Часто, читая пьесу по ролям, мы уходим в подробности психологические, социальные, этнографические, литературные, но до конца так и не знаем, *как* играть.

А тут — таитяне!

Я их не видел, но чувствую: это что-то необычное. Так появлялся новый взгляд на затертое понятие «провинция».

Этот воображаемый «Таити» помог мне из некоей общей странности происходящего вывести конкретную жизнь Монахова.

Мы искали атмосферу дня, когда начинается действие. Все развивается очень медленно. Жарко — «город, как яичница на сковородке».

Главное событие — приезд в город инженеров. Но почему действие начинается почти за городом, на лугу? Оказывается, все дороги ведут через это место. Любопытство жителей маленького городишка всех привело сюда. Ждут инженеров. Те приедут не поездом, а на лошадях. Расписания, естественно, нет. Никто точно не знал, когда они приедут. И шли к этому месту по той самой дороге, по которой они должны были проехать, — боялись разминуться.

Монаховы тоже «случайно», во время прогулки, дошли до реки, переправились на другую сторону, прошли по дороге и очутились здесь, на лугу.

Как будто бесцельная прогулка. Мне казалось, что Монаховы в этот день были на ярмарке. Поэтому для Монахова мне понадобилась длинная конфета с бахромой — такие были в то время. Монахов во всем оригинальничает. Он все время вертит конфету, показывая, что она ему не для лакомства нужна, а для упражнения пальцев. И у Притыкина ярмарочная покупка: детская игрушка с крутящимися мельничными лопастями.

Кажется, что всем тут нечего делать. Но дело есть: первыми увидеть приехавших! И у каждого к ним свой интерес: у одних — как к новым мужчинам, у других — как к работодателям, у третьих — как к покупателям...

Мой Монахов появлялся здесь с почти уже сложившимся отношением к приезжим. Это отношение определялось его жизнью, внешне благополучной, со всеми признаками довольства и с тайной жгучей неудовлетворенностью.

К началу действия акцизному надзирателю уездного города Верхополье Маврикию Осиповичу Монахову сорок лет. Главное же обстоятельство его жизни то, что он — муж красавицы.

Мне было важно понять, как начался роман Монахова и Надежды. Он, конечно, получил какое-то образование, может быть, даже в университете учился. В городе руководит любительским оркестром — долго, упорно. Надежда вышла за него и даже полюбила ненадолго, потому что он человек передовой, необычный.

Вероятно, выбирал он. Она далеко не заурядная (для этого города) женщина и не пошла бы за первого встречного. Значит, дала согласие. И этим согласием отвергла многих поклонников, вившихся вокруг нее.

Монахов не уроженец Верхополя. Лет пятнадцать назад, уже взрослым, приехал сюда на службу. И остался навсегда. Собственно, приехал он так же, как Цыганов и Черкун. Но у него были маленькие задачи. Он принес на «Таити» некое усовершенствование законности — акциз, то есть правильный сбор налогов и выдачу разрешений на разную экономическую деятельность. А эти, новые, идут с железной дорогой, с машинами, с чем-то по виду и по сути невиданным — инженеры!

Историю его ассимиляции, постепенного, но прочного притирания к обычаям затхлого городишка, по-моему, можно в чем-то сравнить с историей чеховского Ионыча. Монахова тоже стало засасывать. Началось это давно. Если поначалу и любил он поговорить о высоких материях, то продолжалось это недолго — в результате все выливалось в лото, стуколку... В этом обществе все знают наперед, кто что скажет. Мы часто хотим увидеть что-то новое, а видим только старое. Так и здесь. У персонажей пьесы темы для размышлений и обсуждений всегда одни и те же, одни и те же. Разве что настроение иногда меняется.

В таком вот крошечном городишке, где новости распространяются со скоростью движения городских сплетников (и скорость эта в уездном масштабе оказывается не так уж и мала!), — в таком городишке смысл жизни обывателей концентрируется на мелких и, как правило, одинаковых устремлениях.

Об идефикс, захватившей здешних жителей, говорят они сами. Притыкина (Анне): «Всякому человеку погордиться хочется — мы вот деньгами гордимся, а вы науками...»

Выделиться, любыми средствами, любыми качествами, умениями, но выделиться! У Редозубова — столбы, торчащие посреди дороги помехой движению; у Головастикова — девять лет сочиняемое «Некоторое рассуждение о словах, составленное для обнажения лжи бескорыстным любителем истины...». И Монахов тоже — быть может, больше всех — хочет, ах как старается выделиться!

У него постоянная симуляция серьезной деятельности, глубокомыслия, значительности. Психологически такое стремление в не слишком значительном по сути человеке вполне объяснимо. Это даже с больными так бывает, когда они хотят во что бы то ни стало доказать: моя болезнь особенная, ни на чью не похожая.

Кроме жены-красавицы у Монахова еще одно средство выделиться — «общественная миссия». Ему кажется, что он прививает культуру страшному, темному городу с рабской душой.

Что ему в жизни надо? Иметь обставленный, приветливый дом, уют, созданный красавицей женой, и — быть заметным. Давно усвоенные и давно потерявшие смысл столичные привычки в уездном городе позволяют ему чувствовать себя выше тех, кто не умеет, как он, кланяться, здороваться. Чем изощреннее он делает самое обычное, тем выше в его представлении уровень его светскости. Когда первый раз видит Цыганова, хочет показать, в каких невыносимых условиях, среди грубости и пошлости, он сумел сохранить должный этикет. Кипя от негодования, но внешне терпеливо сносит

бестактности непрерывно вмешивающихся в разговор Притыкина и Дунькина мужа. Хранит достоинство.

Моего Монахова как-то сравнивали с Карандышевым. Я считаю, если в Монахове видится только Карандышев, в этом слабость решения образа. Монахову не свойственно многое из того, что характеризует Карандышева. Карандышев тщетно тянется к роскошному быту богачей, хочет позаимствовать их привычки, манеры. Но он мельче тех, с кем пытается состязаться. Его цель — всплыть на поверхность и быть как все. Цель Монахова — удержаться на поверхности и ни в коем случае не быть как все. Разница между ними — это разница между простым обывателем и обывателем с претензией, «философией».

К своей цели Монахов двигался не стихийно, он шаг за шагом отбирал все, что выделит его в среде тупых «моржей», как он презрительно называет своих оркестрантов-пожарников.

Ему необходимо выглядеть так, чтобы чувствовать свое превосходство над всеми. Отсюда его походка, когда каждый шаг подается как некая эстетическая ценность; в нем гордость и сдержанность. Отсюда нелепая осанка — заметный, но не подобострастный наклон фигуры вперед и величественный, но не высокомерный наклон фигуры назад. Отсюда его движения, мягкие и манерные, как в старинном танце. Отсюда его сверхаккуратная прическа — волосок к волоску. На нем белый отглаженный китель. Он играет на кларнете — это тоже средство выделиться.

Он выработал привычку как бы упражнять пальцы, все время перебирать ими. (Поэтому мне нужна была в начале действия длинная конфета: для него она — модель инструмента.) Пусть все видят — он музыкант! И длинный ноготь на мизинце тоже знак его необычности. Он виден при игре на кларнете.

Монахов в собственном представлении — незаурядный человек. Явление.

Чем больше я, Монахов, с таким складом ума и характера, понимаю приезжих, тем глубже ненавижу их, завидую им. По отношению ко мне они привилегированная каста. Но если я к ней не принадлежу, то и они, в моем монаховском понимании, принадлежат к ней незаслуженно. У них только оправа другая, а содержание то же, что у меня, Монахова!

Соотнесение Монахова с приезжими начиналось для меня с его речи. Строй ее у Монахова манерно-претенциозен. В своей речи Монахов движется по усложненному, неестественному пути и в этом обнаруживает свое сходство с Цыгановым. При такой же витиеватости речи Цыганову свойствен лишь больший лоск, большая изысканность. Поэтому я, Монахов, стану запоминать его обороты, пользоваться ими. И походка у Монахова витиевата. Переходя с места на место, он шагает не по прямой, а по какой-то изломанной линии, вывернутыми, «балетными» ступнями.

Идя от этого ощущения сходства с Цыгановым, я едва ли не при первой встрече предлагаю ему неприличное, с точки зрения светских правил, пари, утверждая, что он без взаимности влюбится в мою красавицу жену. И о Мопассане, которого по плану своей «просветительской» деятельности он дал

почитать Надежде, я с удовольствием говорю, что жена, мол, не одобряет, а мне — понравилось. И говорю чуть ли не пританцовывая, перебирая пальцами в воздухе и двусмысленно причмокивая.

В Цыганове я вижу себя, а в Черкуне ощущаю превосходство, не могу найти к нему ход, подобрать тему для разговора. Цыганова я понял сразу, а Черкун для меня загадка. Потому Цыганову я, уверенный в своем знании, могу предсказать все его дальнейшее поведение и тем самым стать для него загадкой. Таким способом я добиваюсь того, что вырастаю в его глазах, то есть — выделяюсь.

По сути дела Монахов — это тот же Цыганов. Тот же цинизм, та же пронизательность. Им обоим в ней нельзя отказать. То же знание человеческой психологии и умение утилитарно и не всегда чисто плотно использовать его. Каждый из них стоит другого, каждый, окажись он в положении другого, просто стал бы им. Но сейчас в этих обстоятельствах у Цыганова — высший пилотаж по сравнению с тем, что доступно Монахову.

Тут иной уровень быта. Провинция и столица. И участь каждого предрешена — оставаться в прежнем состоянии. Потому Монахов почти ненавидит Цыганова, чье существование само по себе подчеркивает недостижимость для Монахова его цели — во всем выделяться.

Но идефикс, если уж она захватила человека, непременно выходит за пределы чисто внешних проявлений, гнетет, коверкает психику. А это уже непосредственно связано с центральной темой нашего спектакля — темой варварства, скрывающегося в человеке и распространяемого им на окружающих.

В начале работы над спектаклем мне казалось, что варвары — это только те, кто приезжают в город. Но постепенно это обозначение стало связываться и со всеми остальными. Монахов не заметил, как стал варваром.

Для Монахова его жизнь определяют взаимоотношения с Надеждой. Но если бы мы начали спектакль с того, что превратили его в маленького, ничтожного человека, каким он ей видится, — это было бы неверно.

Как-то во время подготовки спектакля я встретился со знакомым артистом из Тбилиси, уже игравшим Монахова. Он с готовностью взялся помочь мне и рассказал, что на зрителей очень сильно действовал финал, когда он выносил мертвую жену. Все внимание у него было направлено на погубленную Надежду. Получалась мелодрама. Говорил он и о том, что Монахов неполноценен как мужчина, потому-де Надежда ему изменяет. Его ловля рыбы, игра на кларнете — это все от неполноценности. И детей у них нет...

Я не согласился с таким пониманием Монахова.

Мне кажется, что Надежда необъективна (да она и не может быть объективной), видя в одном Монахове причину всех своих несчастий. Я, Монахов, искренне любил ее, но все больше страдал от безответной своей любви, которая и во мне убивала былое чувство.

Надежда обрекает меня на муку — она для меня варвар. Поэтому я хочу, чтобы она сама испытала ту боль, что постоянно причиняет мне. (В этом



Монахов тоже варвар для Надежды.)

Я все думал о Монаховых: как они идут на луг в первой своей сцене — вместе или врозь? Разговор в пьесе ведут мужчины — Монахов, Притыкин, доктор; вероятно, они идут втроем, и идут первыми. Но дело не только в разговоре.

Монахову — сорок, Надежде — двадцать восемь. Они могут быть женаты уже лет десять. Действует привычка: до женитьбы все время вместе, а потом, когда муж уже чувствует свое достояние под рукой, «в кармане», он бежит вперед, у него другие дела...

Но и это еще не все. В пьесе Монахов с Надеждой мало сталкиваются. Есть случайные встречи, но даже среди них — ни одной наедине. Их любовь уже перешла в ненависть.

В сцене именин у Богаевской, в третьем действии, взаимная эта их ненависть накаляется до такой степени, что если бы они были одни (когда он «кратко» спрашивает: «Опять живот болит? Или мозоль?»), то, вероятно, подрались бы. И эти грубые слова — «живот», «мозоль», «пьяной будешь» — говорятся не только для того, чтобы отпугнуть от Надежды мужчин, как она думает. «Расправа» моего Монахова и с поклонниками, и, главное, с самой Надеждой заключается в том, чтобы не разъяснить, не доказать, не убедить ее, а разочаровать. Я решаюсь делать все, чтобы и Надежда испытала муку. Если не делать, то, во всяком случае, не мешать тому, у кого это получится.

Весь ужас положения Монахова в том, что, стараясь принести муку Надежде, он причиняет не меньшую муку себе. Варварство, направленное на другого, оборачивается варварством по отношению к себе.

Но мука, приносимая Монаховым Надежде и переживаемая им самим, не исчерпывает проявлений его варварства. Оно выражается и в его отношении к доктору Макарову.

Монахов ведь не садист. Мучая других, он не перекладывает на них свою боль, он сам страдает. Если, например, его разговор с доктором о Надежде в третьем действии вести без этой неизбежной его муки, то Монахов получается просто подлецом. А это не так.

«Доктор. Что вам нужно?»

Монахов. Чтобы она — несчастье испытала... чтобы удар ей дали... От удара — она мягче будет... несчастье смягчает...»

На самом деле Монахов доведен до такого состояния, когда вынужден прибегнуть к жестокому способу воздействия. Эта жестокость у него не врожденная, она навязана ему жизнью.

Я воспринимаю Монахова и доктора каторжниками, осужденными за одно и то же дело и скованными одной цепью. Это чувствуют и окружающие. То Надежда недобро упомянет их обоих, то Катя Редозубова скажет, вздрогнув: «Монахов и доктор похожи на лягушек».

За долгие годы осточертевшей безвыходной жизни рядом с доктором у Монахова сложилось двойственное отношение к нему. Доктор ему близок, и в то же время он его презирает. Презирает потому, что видит в нем все ту же отвратительную неспособность подчинить себе Надежду. Мой Монахов

сочувствует доктору и ощущает его ничтожество.

Монахову нужен доктор, чтобы все видели, как он влюблен в его жену и как он, Монахов, ненавидит его за это. Он мне, Монахову, позволяет смеяться над собой, а я все-таки ревную к нему — ведь можно и к собаке ревновать!

Я, Монахов, вижу, как доктор переживает появление новых соперников. Мы с ним равно мучаемся. Но доктор еще может вызвать соперника на дуэль (он романтик!), а я — нет. Мой цинизм по отношению к доктору — это моя защитная броня.

Доктор не понимает происходящего, потому что не предвидит то, что я, Монахов, предвижу. Мука еще не захватила его до такой степени, как меня, еще не заставила видеть все так ясно, как вижу я, и жить сжав зубы, без проблеска истинного чувства, как живу я.

Самое страшное, что я все время жду момента, когда Надежда, полюбив Черкуна — впервые по-настоящему полюбив, — наконец получит пощечину равнодушия, которая и будет отмщением за меня.

Подглядывая за Надеждой и Черкуном (в четвертом действии), Монахов не поцелуя ждет, а крупного, на всю жизнь, ее разочарования. Но именно в этот момент он и сам испытывает наибольшую муку.

Что же могло поставить моего Монахова на колени перед Черкуном? Оказывается, несмотря на свое редкое умение все предугадывать, Монахов не учел главного: его испугала перспектива действительно потерять Надежду. Он чувствует, что все пропало. Здесь речь уже идет о спасении самого себя. Это вопрос жизни и смерти.

Русскому человеку свойственно наслаждаться мукой, страданием — в них он видит искупление своих грехов и возможность обвинить окружающих. Жизнь трагична, и Монахов действующее лицо этой жизни. Обстоятельства помогают ему показать, «сыграть» на людях свое страдание в трагедийной форме. Отсюда — градус кипения Монахова, который лишает его спокойного голоса. Спокойствие его нарочитое, звенящее. Голос придавленный, звучит все время на высоких тонах. В сцене с Черкуном Монахов начинает говорить тихо, но не потому, что хочет исповедаться, а потому, что произносимое им огромно, важно. Мизансцена строилась так, что Монахов и Черкун были в центре. Игралась трагедия. Монахов сам вышел на нее и поставил точку.

На мгновение он забывает о своей жажде унижить Надежду и искренне умоляет Черкуна вернуть ему последнее, что у него есть в жизни. Но вот Черкун бросает свое «Пожалуйста... возьмите!», и Монахов снова обретает чувство уверенности и собственного превосходства.

В паузе после ответа Черкуна Надежде («Не люблю») — кульминация моей роли. Торжество тут никаким текстом не иллюстрируется, но Монахов в этот миг наконец может вздохнуть свободно, добившись так долго ожидаемой победы.

Произошло то, чего он хотел: Надежда испытала ту же муку, что доставляла ему, Монахову. Конец он предвидит в мысленном обращении к ней: ты все равно вернешься, ты моя! И хотя он обманулся в Черкуне — тот

оказался слишком уж ординарным, таким, как все остальные, — мести Надежде дождался.

Как ни дико, как ни противоестественно, но мука, испытываемая самим Монаховым от всего этого, — еще одно (едва ли не главное) средство выделиться. Здесь есть что-то от Достоевского: чем больше, тем приятнее.

Возможность чувствовать мучительность своего положения подчеркивалась для меня в Монахове тем, что он, не переставая, наблюдал. Его профессия — акцизный надзиратель — приобретала символический смысл. Они с Надеждой все время на людях, поэтому, чтобы наблюдать за ней, не выходя из рамок приличия, ему постоянно приходится делать вид, что он занят чем-то другим.

Читая пьесу, можно заметить, что между двумя репликами Монахова часто проходит много времени, мы уже забываем о нем, существующем где-то здесь. На самом деле он то «тихонько наигрывает на кларнете», то появляется или задерживается в кустах, за деревьями (чтобы не мозолить глаза). В спектакле мы усиливали впечатление постоянного присутствия Монахова: он, например, видел в третьем акте всю сцену объяснения доктора с Надеждой. Я, Монахов, смотрел исподлобья и чуть искоса, готовый в любой момент отвести глаза, сделать вид, что и не смотрел вовсе.

На всем протяжении спектакля я был настолько осязательно «привязан» к Надежде, что даже за кулисами чувствовал: если Дорониной нет рядом, значит, пропустил свой выход. Бежал искать ее.

Мой Монахов жил в сплошном ожидании, на взводе. Ни минуты не оставался один, все ту же затягивал сам себя в форму благоденствующего чиновника и главы семейства и все яростнее скрывал неумную душевную муку.

Надежда с отвращением говорит, что муж любит рыбу удить. Доктор так объясняет его пристрастие к этому занятию: «Рыба молчит». Правильно. Рыбная ловля для Монахова — один из редких моментов одиночества, дающих возможность хоть ненадолго расслабиться, выйти из напряжения постоянного выслеживания, выжидания. С развитием действия тиски сжимают его все сильнее.

После первого выхода Монахова идет привычный разговор о любви доктора к Надежде. Почему Притыкину позволяет упоминать об этом при муже? Монахов настолько умен, что не дает повода окружающим видеть в нем страдальца. Он делает вид, что стоит выше этого. На самом деле ему очень тяжело. Всякий раз надо снова придумывать способ, как не выдать себя.

На именинах у Богаевской он доведен почти до предела, готов сорваться в истерику, раскрыв влюбленному в Надежду доктору свой план воздействия на нее. И в момент единственной своей реплики он остается один: «Да... тебе, брат, больно? А мне — не больно?» В эту минуту он освобождается от постоянной игры. Ему не до позы сейчас, боль свою он чувствует в эту минуту не как «сторонний наблюдатель», который в нем почти все время присутствует, а совершенно непосредственно.

Но его застают в этом состоянии — и он сразу же влезает в привычную форму. При известии о приезде жены Черкуна он хочет скорее побежать туда, к ним. Этот приезд ускорит развязку, понимает он. Но нужно успеть скрыть свою муку. По ремарке Монахов «смеется и идет». Смех скрывает нервозность. Среди манерных жестов с массой лишних движений вдруг прорывается один быстрый, резкий. Это последнее проявление вновь уходящего в скорлупу человека, задавленный порыв.

И уходит Монахов не обычной своей плавно-танцующей походкой, а пятится задом, неуверенно и нелепо-игриво раскланиваясь. Чувство такое, что если повернется спиной — все пропало, обнаружится его слабость.

В финальной сцене я ощущал в Монахове какое-то раздвоение. Оттого что внимание его постоянно сосредоточено на чем-то своем, тайном, прямые действия его выглядят особенно подчеркнутыми, демонстративными. Я входил в комнату так, словно она пустая, и шел через нее, «не замечая» стоящего у шкафа Цыганова. Почти натыкался на него по дороге к двери, за которой были Надежда с Черкуном. Ощущение реальности происходящего Монахов терял настолько, что при звуках пения Надежды вдруг спрашивал, здесь ли жена. Была полная, мучительная аритмия существования.

Притом что надломленность, мучительность жизни Монахова вызывает к нему сочувствие, он отталкивает. Зная все наперед, он при этом доводит человека до катастрофы, не предотвращает ее. Он не на доброе направляет свой ум, свою пронизательность.

И все же его нельзя до конца обвинять. Зло идет не от природной его злобности, а от отсутствия вокруг добра.

Этот человек многое в жизни видит верно, о многом судит здраво. Он действительно многое знает. И ценит и любит в себе именно это знание, выделяется им. Он любит об этом своем знании таинственно и важно напомнить: «Я знаю все, что надо...», «Что мне нужно, я, батя, понял... а что не нужно, того и понимать не надо...» Что и говорить, в этих словах есть сходство со скромным признанием Мефистофеля: «Я знаю многое, хоть не всеведущ я». И наверное, Монахов был бы не прочь, чтобы его хотя бы здесь, в городке, сравнивали с Мефистофелем.

Впрочем, в нем действительно есть что-то, позволяющее назвать его провинциальным Мефистофелем. Мефистофельское начало снижается тут провинциальностью: Монахов не ироничен, а язвителен; его пронизательность основана не на остроте ума, а на опыте. Но его цинизм, приложенный не к вечности, а к повседневному провинциальному быту, не менее разрушителен.

Монахов — обыватель. И варварское в нем и во всей окружающей жизни — это именно засасывающее и гнетущее душу обывательское начало. При всей своей близорукости Черкун однажды заметил о нем зло, но точно: «Он — как лужа грязи, в которую наступили ногой». И добавил в другой раз: «Сила этой жизни... этой грязи...»

Монахов такой же, как все, у него соответствующий общему уровню психологический строй. Именно поэтому он — сила. Сила, которую будущему предстоит сломить.

Философия спектакля строилась на том, что обывательщина, варварство провинциальной жизни шире каких-то конкретных проявлений. Это не бытовая история уездного города, а социально заостренная картина тьмы и безвыходности общества в целом.

Поэтому мы могли сделать последний выход Монахова контрастным по отношению ко всему, что было в его поведении на протяжении спектакля.

Входил человек без всякой оболочки, формы — просто человек. У него была одна цель: понять, что и как произошло. Для него выяснялся смысл его поистине пирровой победы. Человек понимает причину трагедии, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, когда что-то вне него — высокое и главное — переоценивает все и определяет: что есть человек? Насколько он необходим другому? Гибель одного рождает у другого прозрение и сознание своей вины.

Каждого в пьесе по-своему проявляет смерть Надежды. Монахову эта смерть открывает подлинную суть их уродливой, мелочной жизни.

Сейчас от потрясения он мыслит иными, новыми для себя категориями. У него в руках не Надежда (как играл тот тбилисский актер, о котором я рассказывал), а люди, мир. Тут надо было, чтобы Монахов не просто шел из комнаты в комнату, а двигался в каком-то новом измерении.

У него очень короткие заключительные реплики: «Господа, вы убили человека... за что?.. Что же вы сделали? а? Что вы сделали?» И ремарка: «С ужасом».

Это должно было звучать как глобальное обвинение. Чтобы трагедия поднималась над бытом. Чтобы в рваных, растерянных вопросах слышалось: это и меня убили, это и вы виноваты, и все мы. Чтобы отрицание варварства, подготовленное всем ходом спектакля, завершалось последней фразой пьесы — последними словами моего Монахова: «Что вы сделали?»

## **ВОЙ ХОЛСТОМЕРА**

Мне задают вопрос: «Откуда у вас этот вой Холстомера? Или плач, уж и не знаем как назвать. Скорей всего крик. Душераздирающий вопль».

Я никогда никому не рассказывал, откуда он у меня. А теперь, когда я сыграл «лошадь» больше двухсот раз, можно и рассказать. Никогда не нужно рассказывать преждевременно, особенно тогда, когда работаешь над ролью.

Эмоциональная память у каждого своя, и другой не в силах ее постичь, соединить с тем, о чем говорится в данный момент. Не все слова вызывают у нас одно и то же эмоциональное состояние. Можно рассказать факт, вызвать сочувствие, но этот факт не может поразить так, как поразил тебя в тот момент, когда ты был соучастником или невольным наблюдателем какой-то сцены. Ее подробности, не словесные, а звуковые, ее тон быстрее возбудят эмоциональную память слушающих, нежели словесные описания. Точная тональность определяет точное действие.

Это было в деревне во время коллективизации. Меня разбудил ночью вой бабы. Она орала. Нет, это не точное определение — она выла. Как воеет корова

на бойне перед тем, как ее убьют. От такого воя дрожь по телу идет, мурашки бегают, делается холодно. Мы тогда все проснулись и молчали. Было темно, но от страха казалось, что глаза светились. В окно нам было видно, как против нашего дома, во дворе, вцепившись в рога коровы, баба не отдавала ее тем, кто пришел забирать скот в общественное стадо. Коллективизация проводилась немислимыми темпами. Того, кто не шел добровольно в колхоз, загоняли туда силой и отбирали скот. При свете керосиновой лампы и керосиновых фонарей там, во дворе, было видно, как военный бил плеткой по рукам бабу, не отпуская корову. Корова от каждого удара шарахалась вместе с бабой до тех пор, пока руки ее не оторвались. Корову выгнали на улицу. Те, кто был с фонарями, ушли вместе с коровой. Старик с керосиновой лампой стоял молча. Юлька и Фроська, жившие напротив, поднимая упавшую мать, что-то выкрикивали вдогонку тем, кто увел корову. Слов их я не запомнил. Остался в ушах вой их матери. И теперь, через пятьдесят лет, стоит мне закрыть глаза, я слышу этот вой. Так, мне казалось, был и Холстомер, когда его кастрировали, делали из жеребца мерина.

Плач Холстомера, вой лошади, ее крик... Холстомеровская русская доля, выраженная через песнь, в которой жалоба, тоска, несправедливость земной жизни и человеческих законов...

## **ИСПЫТАНИЕ ПАМЯТЮ** **(Мои тридцатые)**

Порой я попадаю во власть воспоминаний. Они словно испытывают меня. Текут чередой. Вроде и не связаны между собой, а чувствую, что связь есть. Из этих мыслей что-то складывается. Иначе, зачем они приходят?

Сашка. Мой бывший друг, мой приятель. Мы учились на первом курсе Центрального техникума театрального искусства имени Луначарского, теперь это ГИТИС.

Сашка был видный, рослый, с голубыми глазами и низким голосом. Читал стихи и пел песни. У него был бас. Я завидовал всем тем, у кого бас, потому что у меня тенор, да еще, как мне сказали тогда, — лирический, а я был уверен, что по наследству мне перейдет голос от отца. У него был бас кантанта. И в детстве, читая апостол, я старался басить — надеялся, что из моего второго альты вырастет бас. Кроме как бас или баритон, я другого голоса себе не представлял. На одном из концертов я услышал певца Бадридзе. Когда он вышел на сцену, подошел к роялю, встал в позу великого певца — стройный, высокий, широкоплечий, — мне показалось, что только таким и положено быть артисту. Но когда он запел, я чуть со стула не свалился. Мне было смешно, что из такого мужика исторгается женский голос, тонкий-тонкий. Он запел: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни...», и я понял, что мне никогда не спеть так, как пели мой отец и Сашка «Клубится волною кипучею...». Моей мечте пришел конец. Я дал себе слово, что никогда не буду оперным артистом.

А мог бы им быть. Мы и подружались с Сашкой у педагога по пению.

Педагог меня уверял, что сделает из меня оперного артиста. Участь в театральной школе, я каждый день ходил к нему домой и, чтобы мне не было скучно, заставил ходить и Сашку. Но когда я узнал, какой у меня будет голос, перестал заниматься пением.

А может быть, так и должно было случиться? Мне всегда казалось, что кто-то невидимой рукой направляет меня, подсказывает не доверяться своей глупости.

На режиссерском отделении, тоже на первом курсе, учился тогда Г. А. Товстоногов. Мы не были знакомы, хотя и жили в одном общежитии на Трифоновке и Алексеевке.

Комнаты, в которых мы жили, заполнялись студентами разных отделений — по двенадцать-пятнадцать человек в комнате: и с оперного, и с режиссерского, и с драматического отделения, и из национальных мастерских.

Студенты оперного отделения были самые беспокойные, всего боялись — открытой форточки, холода. Мне запомнилось, что они всегда проверяли, как звучит голос, особенно тенора. «Ма-ме, ми-ма-ме, мия миии-я...» У меня до сих пор звучат в ушах их упражнения. Мы, драматические, посмеивались над ними. Особенно смешно было смотреть на них в зимнюю пору, в морозы. Они накрывались не только одеялом — напяливали на себя и матрацы. Просыпаясь утром, прежде всего проверяли голос; выходя на улицу, кутали шею.

Мы с Сашкой ходили с открытой шеей при любой погоде. У нас ничего не было, всегда полураздеты. Вместо носок покупали женские чулки, износившуюся часть подворачивали. Таким образом сэкономили на носках.

Морозов я не боялся, закалился тогда, когда жил на улице. Мог спокойно висеть на подножке трамвая, держаться голыми руками за поручни, подставив грудь холодному колючему ветру. Моему голосу ничего не вредило. Я не боялся простудиться, не полоскал глотку никакими снадобьями, и на удивление оперным и в насмешку над ними брал высокую ноту, свободно тянул: «Ми-а-а-а-ми-и-и! Ма-ме-ми!» Они злились на нас с Сашкой, а мы злились на них — обеспеченных, укутанных, сытых.

Мы всегда ходили голодными и с нетерпением ждали нашей очереди дежурства в столовой. Эта общественная работа нас кормила. Карманы пиджаков и брюк у нас всегда были засаленные — мы прятали в них украденные нами котлеты. Если дежурил Сашка, то свою бесплатную порцию он съедал в столовой, а мне приносил еду в кармане. Я поступал так же.

Теперь я часто завидую тем, кто поет в опере. Опера — это высший класс драматического искусства, если при голосе у артиста есть еще и драматический талант. Я встречал таких певцов, которые в совершенстве владели своим голосом и как хороший драматический артист раскрывали суть пропетого слова.

В детстве меня поразило церковное пение. Я пел в церковном хоре. Теперь, когда можно приобрести пластинки с лучшими образцами духовной музыки, я узнаю свое детство в литургиях великих композиторов, благодаря которым

развивался мой вкус. Когда мне бывает грустно или мои нервы не выдерживают повседневного напряжения и я становлюсь злым, когда в работе преодолеваю мучительные вопросы, на которые трудно ответить, я ставлю пластинку с музыкой моего детства или сам тихонечко напеваю псалмы. Слова в них наполнены огромным смыслом, они глубоко проникают в суть жизни человеческой. В далеком детстве я этого не понимал, только слепо верил. Силу и смысл этих песнопений я начал понимать в середине жизни, когда все более глубоким делалось мое преклонение перед живописью, архитектурой и скульптурой прошлых веков.

Путешествуя по стране во время гастролей, бывая в других странах, я захожу в древние храмы и думаю о том, что сюда много веков приходили люди и оставляли здесь свои просьбы, жалобы, хоронили умерших, и чувствую, что все они до сих пор живут здесь. Я словно прикасаюсь к тому, что происходило за много лет до моего рождения. Очищаюсь от всех дрязг, зависти и понимаю, что не один я это испытываю.

Обязательно надо омыться не только водой обычной, но и водой духовной.

На песнях я учился актерскому мастерству.

Меня интересовал процесс нахождения нужного звука. Чтобы выразить мысль, я задумывался над содержанием музыки и, не зная нот, находил верный тон песни своим способом, способом драматического артиста — через действие в предлагаемых обстоятельствах.

«Титулярный советник» Даргомыжского. Автор рассказывает драматическую историю маленького человека, полюбившего генеральскую дочь в атмосфере неравенства и унижения. И я стараюсь передать эту атмосферу.

«Дубинушка». Народная песня. Я слышал ее у грузчиков на Волге во время погрузки и разгрузки барж, на пароходе перед большой пристанью, когда подготавливают груз, вытаскивая его из трюма.

«Дубинушек» много. Исполняют эту песню по-разному, в зависимости от настроения. Мотив один, а характер пения разный.

Передо мною картина Репина «Бурлаки». Невеселый труд. В лохмотьях, под палящим солнцем идут по бездорожному берегу — по камням, по песку — измученные, погоняемые хозяином баржи, его окриками, угрозами люди. «Тяни-тяни, натягивай-вай-вай...» — несется вдоль реки.

Я оживил картину Репина и попытался сделать этюд бурлаков, связанных бичевой. Я старался влезть в образ каждого действующего лица, выписанного художником. Я находил для них звук, через который мне хотелось выразить их судьбу. «Дубинушка»... В ней боль и плач, жалоба и проклятие судьбе...

Голос и тело должны сочетаться, сливаться в единое целое. Музыка дисциплинирует драматического артиста.

Мне кажется, чем условнее выразительные средства, тем ближе результат к подлинному искусству.



Народное творчество мы нередко называем «примитивным», но в этой примитивности — высший художественный смысл.

Опера условнее драматического искусства. Она требует особой правды — правды оперного изображения. Нарушение ее условности ведет к неправде. Пример — «Евгений Онегин» на экране. Варится настоящее вишневое варенье, и тут же, возле дымящегося таза, не разговаривают, а поют. Это нелепо. Или — Ольга бежит по полю. Поле настоящее, пшеница настоящая. Опять же нелепо. Надо найти оперную пшеницу и оперную варку варенья. Самая бытовая опера требует столько быта, сколько позволяет ее условность.

Увлёкся оперой, романсом, песнями и ушел в сторону от своего рассказа, своих воспоминаний.

... Всю весну и лето болел фурункулезом. Двадцать восемь фурункулов по всему телу! Они крепко, глубоко впились в меня, портили кровь. Потом прицепилась малярия. Через сутки, в три часа дня — точно как по расписанию — приходила ко мне и, если к трем часам я не успевал добраться до общежития, хватала меня на улице, в трамвае и трясла, как припадочного. Ни тепло, ни чужие руки не могли меня удержать. На улице жарко, а мне холодно. Дрожал так, что зуб на зуб не попадал. Потом из холода — в жар. Я терял сознание, точнее — начинался бред при высокой температуре. И казалось мне, что земной шар разрывается, земля сыплется на голову. Потом я летел в какую-то красную пропасть, все горело. Малярия и фурункулез...

В проходной общежития меня не узнавали и требовали студенческое удостоверение. Я ходил скрюченный, фурункулы не давали мне выпрямиться, повернуть голову, потому что на шее их было сразу три, и не маленьких, а больших.

Чем меня только не лечили, сколько я выпил хинина, акрихина, пивных дрожжей! Переливали кровь, резали, вскрывали... Фурункулы прошли, а малярия осталась. Она только приобрела другую форму — перестала трясти, но выматывать не перестала.

Вылечил меня главный мастер шоколадного цеха фабрики «Красный октябрь» Зайцев.

На кондитерскую фабрику я попал после того, как ЦЕТЕТИС переформировали в ГИТИС.

Меня направили в школу Камерного театра. Педагогом по актерскому мастерству там был Протасевич. Если память мне не изменяет, он тогда работал помощником режиссера в Художественном театре и почему-то преподавал актерское мастерство по системе Станиславского. Это был самый скучный педагог из всех, каких я знал по «мастерству».

Не любил я Протасевича, да и он меня тоже. Наверное поэтому он на курсе и сказал, что драматический артист из меня не получится, и при реорганизации я в ГИТИС не попал. Но не попал туда и Протасевич. Ему вообще запретили преподавать актерское мастерство. Кто-то из студентов сказал, что у меня есть голос и что я могу петь. Тогда Протасевич и предложил направить меня в Камерный театр.

Помню, придя туда, я дошел только до второго этажа. Отощавший, с прыщавым лицом, протертые, много раз штопаные брюки, дырявые носки... В общем, я не решился подняться на четвертый этаж, где помещалась школа.

Она резко отличалась от тех школ, в которых я начинал учиться актерскому делу. После ТРАМА, Театра Красной Армии и ЦЕТЕТИСа я пришел к «буржуям». Тут целовали дамам ручки не на сцене, а в жизни. Шли спектакли «Адриена Лекуврер», «Машиналь», «Негр», «Любовь под вязами», «Оптимистическая трагедия» и музыкальные — «Жирофле-Жирофля», «День и ночь», «Сирокко»...

Что делать? Я решил найти такую работу, где бы я был сыт и на свободные деньги мог одеться, а уж потом идти в Камерный театр.

Мне повезло. Однажды, проходя мимо кинотеатра «Ударник», я увидел объявление: «Кондитерской фабрике “Красный Октябрь” требуются грузчики, разнорабочие». Лучшего и придумать нельзя!

Взяли меня грузчиком в шоколадный цех. Оказалось, тут мое спасение. Я ел шоколад, орехи, миндаль, масло, вафли, пил молоко, и все это бесплатно. Не стакан, а большая кружка настоящего шоколада с молоком. И вафли, размоченные в молоке, смазанные куском сливочного масла, — получались великолепные блины. Но все это было потом, когда я освоил производство, а вначале меня не оставляла малярия. Дня четыре-пять проработаю — неделю болею. Мастер Зайцев стал подозревать во мне симулянта и поставил на самую тяжелую работу — на обжарку бобов какао.

Огромная печь с двумя крутящимися барабанами, в которых жарились эти бобы. Моя обязанность заключалась в том, чтобы, когда бобы готовы, подкатить тележку, открыть огненную пасть и высыпать оттуда бобы. Меня обдавало горячим воздухом, словно в парной бане, когда поддают пар, и шелухой от бобов какао — какавеллой. Я был цвета какао, надышался какавеллой и прогрелся насквозь от высокой температуры. Так проработал я полсмены и очнулся в медпункте. Но с тех пор у меня никогда не повторялись приступы малярии, и я до сих пор с благодарностью вспоминаю мастера Зайцева, которого уже давно нет в живых. Помню, что его незаслуженно унижали за то, что он раньше работал у хозяина этой фабрики, тоже мастером. Не считались с тем, что после Октябрьской революции он перешел на сторону большевиков и, зная рецептуру всех сортов шоколада и технологию его производства, передал ее новым владельцам — народу. Он оставался на посту главного мастера до 1937 года, когда его за какой-то проступок перевели в розничный цех на «женскую» работу. По дореволюционной привычке он требовал от всех высокого качества работы, а мы ему отвечали количеством.

Я в совершенстве освоил шоколадное производство, мог работать на любой машине и заменять не только тех, кто стоял у станков, но и самого мастера. Я был изобретателем и рационализатором.

Помню начальника цеха Гуляева, мастеров Фаткина, Байкова, Кирсанова, Пашку Логачева, веселых весовщиц и любовные интриги. Влюблялся я часто — красавиц было много.

... Ночь или поздний вечер. Мы сидим вдвоем на стрелке Москвы-реки —

там и сейчас эта фабрика. Кругом никого. Где-то совсем недалеко огромный пожар, и кажется, что река, горизонт, сама Москва пылают: огонь высвечивает дома, кремлевские башни. Обвалилось что-то беззвучно, взорвавшись высоким столбом огня и искр. А мы сидим, любуемся и тоже горим огнем, пламенея от восторга, целуемся...

На другой день я узнал, что сгорел театр, помещение бывшего любимого моего МХАТа 2-го. Его незадолго до пожара почему-то закрыли. Много хороших спектаклей видел я в этом театре. А каких артистов! Берсенев, Гиацинтова, Дикий, Азарин, Бирман, Готовцев... «Сверчок на печи», «Двенадцатая ночь», «Испанский священник», «Блоха». Мне и сейчас, стоит закрыть глаза, видятся целые сцены из этих спектаклей...

Моя кондитерская фабрика послала меня на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности работников пищевой промышленности в Харьков.

Поезд отходил в четыре часа дня, а утром председатель профкома вызвал меня и уговорил завиться, чтобы голова моя была кудрявой. Он повел меня на Кузнецкий мост, в самую лучшую московскую парикмахерскую. Там я попросил завить меня на два-три дня. Мне сказали, что такой завивки нет — могут сделать только на шесть месяцев. Уговорили. Усадили в кресло, покрыли всю голову бигудями, воткнули провод в розетку. Я сидел перед зеркалом и чувствовал, как нагревается голова. Мой парикмахер был многостаночником: оставив меня, он накручивал еще чью-то голову, но не мужскую, а женскую. Потом вернулся ко мне, снял бигуди, вымыл мне голову и уложил волосы точно таким манером, как на фотографии в витрине. Когда я появился на перроне, товарищи не сразу меня узнали — так я изменился. Мои прямые волосы сделались как шерсть у молодого барашка — пошли мелкими кудрями. Утром, уже в Харькове, на моей голове обнаружили волдыри от ожогов, расчесать голову было невозможно, волосы спутались. Когда я дотрагивался до головы, на пальцах оставались вылезшие волосы. В таком виде я и выступал. Показывал сцену у фонтана из «Бориса Годунова», пел в хоре нашей фабрики.

Все кончилось хорошо. А. И. Микоян вручил мне коверкотовый костюм. У меня появились галстуки, рубашки. Я был одет. Жил я тогда на станции Правда, в селе Братовщина, там снимал маленькую комнатку и каждый, день ездил на работу в Москву. Тогда мне казалось, что это совсем близко. Теперь у меня дача тоже в сорока пяти километрах от города, но мне кажется, что она за тридевять земель. Приходит мысль, что хорошо бы жить за городом, но... уже невозможно — возраст, новые привычки, новые условия жизни мешают, не дают. А хорошо бы...

В 1936 году я пришел в школу Камерного театра.

Почему именно в этот театр? Может быть потому, что был ошеломлен спектаклем «Оптимистическая трагедия». Этот спектакль изумил тогда всю Москву. Первый раз я смотрел его еще будучи студентом ЦЕТЕТИСа. Помню, нам выдали тренировочные брюки для уроков по движению, совсем новые. Я крепко держал их в руках — боялся потерять, где-нибудь оставить. Так и

случилось. На «Оптимистической трагедии» я совсем забыл о них. Вспомнил на Трубной, по дороге в общежитие, в панике вернулся в театр. Слава Богу, брюки были, и мне их вернули.

На первом курсе я учился без отрыва от производства. Первую половину года мы занимались только сценическим движением. Ритмика, шведская гимнастика по два-три часа в день. Никаких уроков по актерскому мастерству. Девушки занимались в купальных костюмах, мы — в коротких трусиках, чтобы каждая мышца была видна. Биомеханику преподавал И. С. Иванов, балет — Воронько.

Встречу с Александром Яковлевичем Таировым, его напутственное слово о том, что такое Камерный театр и каким должен быть синтетический артист, я запомнил хорошо. Другок мой Сашка Клишкин тоже не был рекомендован в ГИТИС. В другую театральную школу он решил не поступать.

— Учиться больше не буду, не пойду, мне много лет. Где-нибудь устроюсь, похожу к педагогу по пению, а там видно будет, — сказал Сашка.

Отчисленным из ЦЕТЕТИСа разрешили остаться на лето в общежитии (до поступления в другую театральную школу). Студенты разъехались по домам. Нам с Сашкой ехать было некуда. Мы блаженствовали в одиночестве — все комнаты пустовали. Вот только жрать было нечего — стипендия кончилась. Что делать?

— Давай распарывать матрасы! Вату в печь затолкаем, а мешки матрасные продадим, — предложил Сашка.

Так и сделали. Несколько мешков продали, этим и жили, но потом нас стала мучить совесть. Да и могут спросить, куда девались матрасы. Нужно устраиваться на работу.

Первым устроился Сашка — инструктором на парашютную вышку в ЦПКиО.

— Вот работа великолепная! Сверху видно все, весь город! Стою и затягиваю ремни, затяну, а потом уговариваю прыгать. Попадется какая-нибудь хорошенькая, ее уговариваю дольше, а сам развязываю и снова завязываю, стихи ей читаю. Договорился сегодня с одной — встретимся у нее дома.

— Везет тебе. У тебя морда, у тебя вид. Ты стихи читаешь. А я прыщавый, малярик, фурункулезный. Куда мне...

— Терпи. Я тебя кормить буду. Жратву принесу.

Были у нас тогда на двоих одни брюки, в которых можно было выйти. Один уходит, другой дома сидит. Чаще уходил Сашка, я ждал его, он приносил хлеб, колбасу, сыр. Жили на Сашкины доходы.

— Вот, понимаешь, история! Муж вернулся, а я в постели в чем мать родила. Схватил свое барахло и выскочил в коридор. За дверью встал. Стою, жду: заметит или не заметит. Здоровый такой! Ну, думаю, конец. Прошел мимо, я напялил кое-как брюки и деру... Ну ее к такой-то матери, вышку!

Тогда-то я и устроился на кондитерскую фабрику, а Сашка остался сидеть дома. Бабы к нему сами приходили, подкармливали. С его стола и мне перепадало. Но основная надежда была на мою зарплату... Не забуду, как мы, два мужика, сидели однажды на рельсах железной дороги у товарной станции

Ржевского вокзала и плакали. У меня украли зарплату. По дороге домой купил «маленькую», колбасу и хлеб в булочной на Сухаревской площади. Потом сунул руку в карман, а в нем — ничего. Все карманы обшарил несколько раз — нет денег, украли. И у кого?! Так обидно было, так жалко себя! Долги отдать нечем, да и как будем жить дальше? Мне-то еще ничего, на фабрике сыт буду. Но надо брюки купить. И мы ревели...

Такой дружбы, как с Сашкой, у меня уже никогда потом не было. После того как мы расстались, я перестал верить в существование дружбы. Случилось это так. Дружба наша тянулась несколько лет, мы не теряли ее и тогда, когда Сашка поступил в Краснознаменный ансамбль к Александрову. Я учился в школе Камерного театра, а он уже побывал в Париже: тогда ансамбль впервые выехал на гастроли за границу. При встрече Сашка рассказывал мне о Париже. Потом поездка в Лондон. Но начало ухудшаться международное положение. Ансамбль где-то задержался, его не выпускали, и мы беспокоились о его судьбе. Очень я волновался тогда за Сашку: как бы его не кокнули там, в капиталистическом мире, вместе с ансамблем! Но все кончилось благополучно, они вернулись. Я решил пойти в ЦДКА, встретиться с моим лучшим другом, узнать, что там с ними случилось. Увидел его в ресторане, окликнул. Он оглянулся, поднял руку над головой и ответил: «Мне некогда!» По его интонации я понял, что моя дружба ему не нужна. Он уже артист, работает в знаменитом ансамбле, бывает за границей, а я — жалкий студент. Еще попрошу что-нибудь, какой-нибудь помощи!

После этой нашей встречи я его больше не видел. И не хотелось мне его видеть. Слышал потом, что он умер...

А в Камерный театр я пришел в приличной одежде, и мне было не стыдно подниматься на любой этаж.

## **КАК Я ИГРАЛ СОБАКУ**

В «Золотом ключике» дали мне роль собаки — пуделя Артемона.

Мне было двадцать пять лет. Дожив до этого возраста, я не предполагал, что мне придется играть животных — выступать в роли собаки. Даже сказать-то об этом как-то стыдно, неудобно, неловко. Встречается знакомый, спрашивает: «Что делаете? Над чем работаете?» — «Над собакой». — «Как так над собакой?» — смеюсь, переспрашивает он. И я ему, также смеясь и извиняясь: «Над собакой!» Объясняешь ему, что это не моя вина, так видит режиссер. Что наш театр для детей, им нужна сказка. И потом, это ведь не просто собака, а пудель Артемон, звучит совсем не по-собачьи, это вам не Дамка или Полкан, не какая-нибудь дворовая, а пудель. Да еще Артемон! Почти д'Артаньян. Приятель тебе верит, сочувствует, но не поздравляет с новой ролью. Ему, как и мне, все это кажется нелепым, несерьезным...

Если бы мне сейчас дали роль пуделя Артемона или даже просто какого-нибудь дерева, я бы с большим желанием работал, а тогда... молодо-зелено, как Фирс говорит.

Итак, пудель Артемон... Вспомнил я студию Станиславского, над которой смеялся, когда ученики изображали там уток, собак, куриц, верблюдов, лошадей, и все это делали всерьез. Какого черта всем этим заниматься? Кому это нужно? Есть столько ролей! Да не только ролей: взять любого человека — с улицы — и изобразить! Мне казалось, это намного интереснее, чем строить из себя курицу: показывать, как она ходит, пьет воду, похлопывает крыльями, а руководитель, взрослый, седой человек, при этом кричит: «Не верю!» Ерунда! Издевательство!

У нас были большие споры в школе Камерного театра, нужно ли всем этим заниматься. Мы с великим удовольствием издевались над студийцами Станиславского. Как бы они посмеялись надо мной теперь, когда я получил роль Артемона!

Я представлял себе живую собаку. Да что представлял! Они мне просто встречались на улице, я смотрел на них и думал: как же мне превратиться в собаку? Возможно ли это? У нее четыре ноги, у меня только две. У меня есть руки, у нее их нет. Она не говорит, а лает. Я вставал на четвереньки, руки превращал в ноги, старался ходить по-собачьи. Пачкал брюки, протирал колени, уставал, а успеха никакого.

Я смотрел на своих товарищей и завидовал им — у них все получалось. Передо мной была живая Мальвина, такая нежная, такая хорошенькая, ласковая. Актриса уже знала текст роли и так сладко говорила... Ну конечно, ей было легко — она играла человеческую роль, да и внешние данные актрисы были мальвиньи, а у меня ничего собачьего!

Буратино... Он ходит на прямых ногах, они у него деревянные, но все-таки человеческие. Руки тоже деревянные, но и они человеческие. Буратино — человек, а не собака, хотя и деревянный. Я научился лаять, я овладел лающей речью, я говорил не просто «Мальвина», а пролаивал: «Ма-а-а-львина!» Я все время искал в себе собаку.

Конечно, можно было все сделать проще. Не задумываясь, выучить текст роли, надеть костюм собаки, сделанный художником, гримироваться не надо — художник придумал маску, лицо закрыто, играй себе на все четыре стороны. Но мне захотелось сделаться собакой.

Николай Яковлевич Маршак, постановщик спектакля и наш главный режиссер, ревниво относился к своему детскому театру. Все, что делал и говорил Маршак, было интересно и своеобразно. Это был настоящий художник, он владел четкой, выразительной театральной формой, хорошо чувствовал стиль автора. Свои спектакли он не приземлял, а романтизировал. Красочность, яркость, занимательность выразительных средств, театральность — вот что любил Николай Яковлевич. В работе над спектаклем он шел своим путем, его пугала система Станиславского, он боялся актеров, пришедших из ГИТИСа.

Мы с ним спорили, и мы его погубили. Он стал бояться самого себя и нас. У него была своя собственная терминология, он всегда шел от личного ощущения, от интуиции, от формы к содержанию, он видел, как должно быть, он слышал интонацию роли, куска, спектакля. А мы ему возражали, мы

говорили, что это неправильно.

«Решайте роль через каблучность», — говорил он актеру. Что такое «каблучность», понять было трудно. Ему одному было понятно, что это такое. И он обижался, когда его не понимали. Артист говорил: «Мне нужно знать, чего я хочу в этом куске? Какая у меня задача?» «В роли написано, чего вы хотите, — говорил Маршак, — а мне нужен тип, мне нужен образ, почувствуйте его через каблук своих ног, возьмитесь руками за пояс брюк, поднимитесь на носки и опуститесь на пятки, на каблук, чтобы ноги пружинили... вот какой это человек!.. У вас опущены руки, они у вас болтаются. А у этого человека они подтянуты, в них ощущаются мышцы, этот человек не расслабленный, а собранный, сколоченный...»

Мы долго просиживали за столом — застольный период был длинным. У каждого артиста было свое постоянное место. Места эти занимались по ролям, по взаимоотношениям и по личным симпатиям. Много курили. Очень много. Артист создавал для себя маленькую внутреннюю крепость, защищая себя от посторонних объектов, — только репетиция, только внимание к роли!

Главным объектом была лежащая на столе тетрадь с ролью. Она написана чужой рукой, чужим почерком.

Меня приучили в театральной школе переписывать роль. Я переписываю ее всегда, но не сразу, а когда намечается хоть какая-нибудь логика поведения. Переписывая, запоминаешь эту логику, выверяешь ее...

Логика поведения пуделя Артемона у меня не выстраивалась. Переписывать роль было бесполезно.

Маршак приводил много примеров исполнения ролей собак другими артистами, которые вошли в историю театра. Он говорил мне о собачьей преданности, о собачьих глазах, о том, что пудель Артемон — это рыцарь, и администратор, и любовник. Режиссер будил мое воображение. Увлекая меня, Николай Яковлевич увлекался сам. Он говорил много и долго, вставал, садился, опять вставал и опять садился. Играя, он уходил в своем воображении так далеко, что появлялись Ромео и Джульетта, Дон-Кихот, Синяя птица, Буря, Шекспир, Шиллер, Сервантес, Гете, Андерсен, Пушкин, Лермонтов, но только не Алексей Толстой. Он самого себя считал Алексеем Толстым: «Я и Алексей Толстой — мы думаем так...»

Я вспоминаю сценическую репетицию «Разбойников» Шиллера. Артист стал доказывать, что смысловой кусок эпизода решен неверно. Маршак из зрительного зала закричал: «Я и Шиллер — мы думаем так...»

Спорить было бесполезно. Маршак любил говорить один. Для него это был спектакль, а мы, артисты, — его зрители. Нам тоже хотелось поговорить, показать ему, что мы тоже что-то понимаем, думаем о своей роли, о своем образе. Но если кто-то из артистов прорывался, Николай Яковлевич слушал его недолго. Вцепившись в какое-нибудь слово, он кричал: «Неправильно!» — и продолжал развивать свою мысль.

Он не умел слушать. Мы обижались. Он забрасывал нас классиками, крупными именами. Мы сидели тихо и поражались его эрудиции. Он не был эрудитом, но нас можно было запугать всем: труппа эрудицией не блистала.

Я увидел все во сне.

Мне приснился сон, что я играю на сцене пуделя Артемона в спектакле нашего театра. Во сне я увидел и запомнил все мизансцены. Я играл эту роль в той предлагаемой декорации, которую сделала художница спектакля Ирина Штенберг. Во сне выходило, что я давно играю эту роль. Я получал от нее наслаждение.

Я был и собака, и человек. Человек и собака. Все человеческое у меня перешло в собаку. Мне было легко и удобно. Собачьего во мне было столько, сколько позволяло выразить мое тело. Сходства с собакой было столько, чтобы можно было поверить, что это собака, а в остальном, даже в главном, я был человеком.

Придя на следующий день на репетицию, я уже все знал и доверился тому, что мне приснилось. Наяву я стал чувствовать себя так же, как и во сне. Мне стало интересно. Мои глаза стали собачьими. По-собачьи преданными и внимательными. Я был предупредительным по отношению к Мальвине. Я активно переживал все то, что происходило с Мальвиной. Ведь я — ее собака. Она моя хозяйка. А я ее раб. Я люблю Мальвину. Я ее рыцарь. Я ее защитник. Что только я не делал! Смеялся, плакал, завывал, прыгал от радости, заполнял собой всю сцену. Я ласкал свою Мальвину. Я дошел до того, что мне захотелось подойти к дереву и, как делают это собаки, понюхать его, а потом, подняв ножку, постоять у этого дерева и сделать то, что делают собаки — отереть о землю задние ноги. У меня не было ни передних ног, ни задних, они были у меня одни — человеческие ноги. Но я ими действовал по-собачьи.

Репетиции для меня стали удовольствием, текст роли — своим, начали возникать ассоциации не только из собачьей жизни, но главным образом из человеческой. Мне не нужен был костюм и грим собаки, мой репетиционный костюм меня вполне удовлетворял. Но все-таки костюм, эскиз которого я уже видел, меня волновал, и я с нетерпением ждал, когда он будет готов, чтобы его надеть. Я ожидал от него эффекта. Я думал, если и без костюма получается собака, то костюм усилит это впечатление, поможет мне до конца ощутить себя Артемоном.

Начались генеральные репетиции. Я надел костюм — черное трико с бутафорскими коленями, на груди и спине — морская трава, на руках — лохматые перчатки. Наконец была готова маска — голова собаки. Я ее надел, и всем понравился мой вид.

На просмотре костюмов смеялись, радовались, меня это вдохновляло, обнадеживало. Правда, я сразу обнаружил первое неудобство: через жесткую маску трудно смотреть, отверстия для глаз маленькие, все лицо закрыто. Но промолчал. Начались репетиции в костюмах. Все шло удачно, все были довольны, в том числе и Маршак. Но мне с каждой репетицией, а потом с каждым спектаклем становилось все скучней и скучней. Мне что-то мешало. Я стал нервничать. А тут еще приехала моя сестра. Из госпиталя, после контузии на фронте, в морской форме — маленькая, толстенькая морячка. Я посадил ее в зрительный зал и хотел показать свои успехи на сцене. В середине репетиции она вдруг встала и закричала: «Чем вы занимаетесь?! Напустить бы на вас всю



нашу полундру! Там люди гибнут! Война! А вы сказочки играете! Собаку изображаешь?! Этого вашего толстого режиссера на один бы денек к нам под Новороссийск! И тебя бы вместе с ним!..»

Сестра вернула нас из сказочного мира в реальность. Что такое мы с нашим театром, с нашими спектаклями? Спорим об искусстве, о своей профессии, о задачах, кусках, сквозных действиях, о методах работы... Идет война! Нет хлеба, жрать нечего, госпитали заполнены ранеными, немцы близко, а мы в лесу Карабаса-Барабаса ловим, он для нас Гитлер. Лиса Алиса и кот Базилио — шпионы. Буратино, Мальвина и я, пудель Артемон, — мы с ними воюем. И у нас никто не умирает, никого не контузило...

Репетиция не прекратилась, но был объявлен перерыв. Я жил в бывшей бухгалтерии театра. В ней не было окон — одна дверь. Комнатка маленькая, квадратная, с высоким потолком, фанерные стены обклеены бумагой. Кровать, стол, стул и диван из какого-то спектакля. Сестра лежала на кровати, я сидел рядом, в собачьем костюме. На стене — новая афиша: «Золотой ключик». Запах валерьянки.

— Эх, напиться бы!

— Да ты с ума сошла, тебе нельзя.

— Нельзя?! Все можно! Я раньше сама думала, что нельзя, а пожила, посмотрела, нагляделась — и поняла: все можно. Нет невозможного, все возможно. Нам в госпитале кино показывали, я все ждала, тебя искала. Все знают, что у меня брат артист. Артист! Ха-ха! Собак играет! Я, конечно, об этом никому не скажу. Засмеют... Хорошо, что твоего лица не видно. Хитрый! Закрылся. Стыдно, небось.

— Да нет, не стыдно...

— Вот Витьку бы сюда, в театр.

— Кто этот Витька?

— А ты и забыл? Я тебе говорила, сын мой. Его убило бомбой, он так и не видел театра, маленький был.

— Ты не волнуйся, лежи спокойно.

— А я и не волнуюсь... Испугала я вас? Мальвина-то жива? Не упала в обморок?

— Нет, не упала.

— Сколько ей лет?

— Мальвине?

— Да нет, той артистке, которая играет Мальвину.

— Сорок.

— Сорок? Сорок лет? Вот это да! Я думала, шестнадцать. А Буратино?

— Ей сорок два.

— Живут же люди! Скажи, а грим лицо не портит?

— Да нет, не портит, наоборот, сохраняет.

— Слушай, дал бы ты мне своей краски, вашего грима, я бы сделала себе подводочку, брови подвела, губы и щеки надраила...

Спектакль «Золотой ключик» долго не сходил со сцены. Я играл своего

Артемона по-разному, и хорошо, и плохо. Во время войны играли по два, по три спектакля в день. Театр дотации не имел, жили на самоокупаемости, нужно было зарабатывать на зарплату труппе, на декорации, на художников, на режиссеров. Рабочих сцены нет — все на фронте. Один мальчишка, Булат Окуджава. Он и рабочий, он и массовик. Мы сами таскали декорации, сами делали перестановки. Потом, через много лет, я встретился с поэтом Булатом Окуджавой. Он спросил:

— Вы меня не узнаете?

— Как не узнаю? Я вас знаю. Я ваш поклонник.

— Нет, я не об этом. Вспомните Тбилиси, вспомните тюз. Я был рабочим сцены, а вы артистом.

— Ну да, правильно. Но тогда у вас была большая копна волос.

— Да, была. Все было.

Действительно, все это было. Была молодость, был тюз, была война. Остался опыт, остались воспоминания...

Я смеялся над студией Станиславского. Я не хотел играть собак. С высоты ролей Фердинанда, Карла Моора, Ромео я смотрел на пуделя Артемона как на что-то ничтожное, унижительное, оскорбительное и не понимал, какой клад таится в пуделе Артемоне, как много я открою в других ролях благодаря пуделю Артемону. Незаменимый урок актерского мастерства преподал мне «Золотой ключик».

Чем больше я играл человеческого, тем больше появлялось собачьего. На спектакле мне мешала маска: она закрывала человека, закрывала мои глаза. Зрители не видели моего лица, они видели только маску, собачью маску, невыразительную, с дырочками для глаз. Зачем мне было столько мучиться, искать, чтобы потом все это закрыть, уничтожить?.. Я сорвал маску. Я открыл свое лицо, свои глаза — и все увидели собаку.

Не понимаю.

Маска была натуральная, совсем собачья — и я не походил на собаку. Мое же лицо — человеческое — на сцене становилось собачьим.

Понял!

На сцене не все натуральное становится узнаваемым. Условность ближе к натуре, она живее, в ней заключен театр.

Но я же это знал! Меня этому учили в театральной школе.

Я знал, но не понимал.

Если бы мы все понимали вовремя...

## **НЕСЫГРАННАЯ РОЛЬ (О Василии Шукшине)**

Я задумался над тем, что такое для Шукшина был Степан Разин. Почему он отдал ему большую часть своей сознательной жизни?

Так случается с актером, который всю жизнь думал о главной своей роли, да так ее и не сыграл. Но одержимость ею освещает особым светом все, что он делает. Наверное, у каждого художника должна быть такая главная

«несыгранная роль».

Мне кажется, если бы Шукшин поставил фильм, снял своего Разина, он все равно не удовлетворился бы результатом. Сыграв Разина, он ощутил бы колоссальную потерю, лишился бы вечного возбудителя творчества. Ведь постоянное движение к своей «главной роли», ее брожение в душе художника дает ему возможность все глубже и глубже проникать в суть явлений.

Помню, когда сценарий был написан, Шукшин говорил:

— Надо пересмотреть его, надо вывести в нем минимум людей и через эту небольшую группу показать всю массу, шедшую за Степаном.

Если проанализировать его главные вещи в литературе и в кино, увидим, что нет, пожалуй, ни одного произведения, где не упоминался бы Разин, где в той или иной мере не проявлялись бы идеи, с такой силой выразившиеся в сценарии «Я пришел дать вам волю!».

Я убежден, что многочисленные препятствия, возникавшие на его пути к этому фильму, рождали в нем творческий импульс, возбуждали бунтарство. Это бунтарство он вкладывал и в сценарий о Разине, и в свои фильмы.

Шукшин обладал мощной творческой индивидуальностью, огромным эмоциональным и интеллектуальным потенциалом. Ему мало было одной области для самоосуществления, поэтому он и актер, и режиссер, и писатель. И все его творчество проникнуто необычайной совестью, ответственностью и болью за судьбу своего народа.

Василия Шукшина нет. И хотя после его смерти прошло много лет, мы до сих пор ощущаем вину перед ним. Мы недостаточно чувствовали его, не до конца ощущали его боль как свою. Старая народная мудрость: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Нет, не надо бояться, что мы испортим человека, если выразим ему при жизни свое восхищение.

Шукшин умер в сорок пять лет. Как мало он прожил!.. Вспоминая его последнее письмо в «Литературную газету», написанное после бегства из больницы, понимаешь, как много зла мы порой причиняем друг другу. Раскаиваются ли сейчас те, кто своим хамством, жадной пусть мизерной, но власти заставляли его страдать? И кто знает, быть может, причина его смерти таилась и там, в этих больничных стенах, и заключалась не в болезни, а в боли от падения нравственности в обыкновенных людях, соотечественниках Шукшина. Недаром он закончил это письмо свое словами: «Что с нами происходит? С нами! Со всеми, не с одной вахтершей!»

В жизни мы часто не можем справиться с собой, найти в себе что-то очень важное, а именно — ощущение причастности к целому, к тому, что называется народом. А ведь чувство единства со своим народом делает нас людьми...

Если бы мне сказали, что Василий Макарович скоро умрет, я бы, во-первых, ни за что не поверил, а во-вторых, относился бы к нему внимательнее, осторожнее. К нему как человеку, актеру, режиссеру, сценаристу, драматургу, как товарищу и другу. Живем, думаем, что мы бессмертны, что смерть где-то там, не у нас. Умирают у кого-то, а с тем, с кем ты близок, этого не случится, смерть его не коснется. Так мы думаем.

— Вот тебе рассказ... Прочти.

— Это что, сценарий?

— Нет, я же тебе говорю — рассказ... Рассказ Шукшина.

Москва. Студия Горького. Коридор. Оператор Валерий Гинзбург дал мне прочитать рассказ, напечатанный на пишущей машинке. Несколько страниц, заглавие — «Миль пардон, мадам».

— Прочитай.

Читаю.

Я в то время снимался в каком-то фильме. Название не помню, и в какой роли снимался, не помню. Все роли свои в театре и в кино запомнить невозможно. Память как сито. Просеивает. Выбрасывает то, что не нужно запоминать. Оставляет самое дорогое, яркое, необходимое для жизни. Одна из таких дорогих мне ролей живет в моей памяти.

Прочитав рассказ «Миль пардон, мадам», я познакомился с Шукшиным. Вошел в комнату, все на той же студии имени Горького. Сидит мужик, не похожий ни на актера, ни на режиссера, ни тем более на писателя. Я не знал его до этой встречи. Не читал. И в фильмах не видел. Мужик, похожий на любого мужика. Рабочий, грузчик, осветитель, такелажник, а то и вовсе безработный из «бичей», из бродяг. Босьяк, горьковский герой.

Когда я пишу эти строки, вижу лицо Шукшина, его квадратный лоб, глаза с прищуром, скулы... Мне всегда казалось — если бы побрить Достоевского или отпустить бороду Шукшину, получилось бы одно лицо. У Шукшина лицо было нервное, глаза беспокойные и вместе с тем сосредоточенные. Он все время будто пробовал крепость своих зубов, перекатывая желваки с одной стороны челюсти на другую. Скорбь. Страдание на лице. Тоскливый взгляд. Это сейчас я его таким вижу. А тогда...

— Здравствуйте. Прочитали?

— Прочитал.

— Ну и как?

— Понравилось. Очень понравилось.

И жду, что он будет говорить. А он молчит. Стоит возле окна. Сесть не предложил. В комнате никого не было. Стулья. Стол. Диван.

Он стоял и переминался. Ему вроде было неловко передо мной. А мне — перед ним. Так мы и стояли, не зная, с чего начать. Я жду его, а он ждет меня. Застенчивый он какой-то. Но застенчивость его от здоровья, от нутра, от силы его, от внутренней деликатности. Застенчивость его корявая. Бывает у людей застенчивость, от которой у тебя чувство скованности появляется. А его застенчивость — притягательна. Вызывает улыбку. Волевой, упрямый мужик...

Все-таки заставил он меня тогда выговориться. Короткими какими-то вопросами: «Ну как?», «Ну и что?» И я рассказывал. Он молчал. Ему хотелось выслушать все до конца. Слушал с жадностью, как бы проверяя самого себя.

Чаще режиссер перед актером выговаривается. И порой боится, как бы актер не разрушил его видение. У Шукшина этого не было. Шукшин умел слушать. Очень редки люди, умеющие слушать. Шукшин умел. Теперь он ничего не слышит. Если бы при жизни он услышал все, что говорят о нем

теперь! Прочитал бы он статьи о себе в журналах, в газетах. Увидел бы после смерти опубликованные свои книги, пришел бы получить свою — заслуженную — Ленинскую премию...

У Василия Шукшина не было званий. Он сам — звание!

Он из тех людей, которые знают, что нужно отдавать долги тем, кто дал тебе жизнь, воспитал. Он всегда понимал, что рядом с ним — Человек, Человек независимо от социального положения, происхождения, званий, регалий...

— Ну, все! Ясно. Будем сниматься!

Он сказал это так, словно дал самому себе приказ. Не мне сообщил об этом, а себе сказал. Словно нырнул с обрыва в воду. За ним нырнул и я. Так состоялось наше знакомство.

По ассоциации мне вспомнился другой эпизод из моей кинематографической жизни. Первая роль в кино. Меня вызвали на «Ленфильм». Предложили сесть и подождать прихода режиссера-постановщика. Я сидел и смотрел на невысокого человека в телогрейке, в ватнике. Плотник или столяр. Что-то шарил по полкам и шкафам. Что-то перетаскивал из шкафа в шкаф. Ставил вещи с места на место. Звонил телефон. Ни он, ни я не подходили. Нас было в комнате двое. Чужих и незнакомых. Вошел режиссер. Очень вежливо поздоровался. (В кинематографе всегда при первых встречах очень вежливы и ведут себя так, словно ты у них единственный, тот самый, от которого все зависит.) Поздоровался, обшарил глазами, обсмотрел и, просквозив острым взглядом, сказал: «У нас еще, к сожалению, нет рабочего сценария. Есть литературный». И полез в стол, чтобы достать. И вдруг... «Нет! Дайте ему рабочий сценарий», — говорит тот самый столяр или плотник в ватнике. Это был Фридрих Маркович Эрмлер. Так я с ним познакомился.

— А проба? Кинопроба?

— Зачем? Все ясно и так. Идите в костюмерную. Подберите костюм. Будете готовы — скажите.

Мне кажется, и Шукшин умел сделать так, чтобы актер освободился, раскрепостился перед ним.

— Смотри, он запойный. Начнешь сниматься — не кончишь, — предупреждали меня.

Я никогда не видел его не только пьяным, но даже выпившим. Не довелось. Наоборот, мне хотелось с ним выпить. Но так и не пришлось. В группе никто не пил. Его любили, оберегали. Весь съемочный коллектив. Вся группа, снимавшая картину «Странные люди».

Снимали под Владимиром. Жили вместе, в одной гостинице.

— Ну-ка, покажись!

Я оделся в костюм Броньки Пупкова.

— Так, хорошо. Ну, а на голове что?

Одевали на меня шапку, фуражку — все не годилось. И тут я вспомнил, что у меня была нейлоновая заграничная шляпа. Шукшин мне говорит: «Покажи». Я принес, надел.

— Вот оно то самое и есть. Могли же ему подарить такую шляпу! Или

выменял. Что-то же должно в нем быть заграничное!

В этой шляпе я собирался ловить рыбу и никак не думал, что она пригодится мне для роли Броньки Пупкова.

Не помню Шукшина без дела. Просто так стоящего или сидящего в компании и беседующего обо всем и ни о чем. Если он оказывался в компании, то быстро уходил в себя. Его разговоры начинались и кончались Степаном Разиным. Степана Разина он не отпускал от себя никуда. Все время Шукшин приносил новые и новые сведения о нем. Был он и у митрополита Владимирского. Рассказывал, что тот знает много, есть о чем с ним поговорить. Ездил специально в Загорск к резчикам по дереву и заказал им барельеф с портретом Степана Разина для фильма.

Он дал мне тогда прочитать первую редакцию литературного сценария. Мне показалось, что дал не просто, а с прицелом на какую-то роль для меня. На какую — не сказал.

Мой Бронька Пупков ему нравился. Снимали большими кусками. Помню, как плакали мы все: плакал Бронька Пупков — я, плакали осветители, сам Василий Макарович.

Я чувствовал, понимал, что нужен ему для Степана Разина. Однажды он мне сказал:

— Очень трудно сделать Степана. Как будет, не знаю. Ты представляешь, сколько нужно народу?

Я думал, что он чего-то ждет от меня. Однажды решился и сказал:

— Давай я буду играть Степана. А ты будешь постановщиком.

Мне тогда казалось, что у него самого была такая мысль. Но согласия или подтверждения от него не дождался. Правда, с этого дня он стал чаще говорить со мной о Степане, о его характере. О том, что он совсем не такой, каким его изображали до сих пор. И чем больше он говорил, тем больше мне казалось, что он ищет во мне те черты, которые нужны ему для Разина.

— Ты мне должен сделать Стыря. Самого близкого человека для Степана. Самого озорного попа-расстригу.

На том мы и остановились.

Я понял, что Разина он никому не отдаст. Никогда он с ним не расстанется.

В последующих его фильмах, в каждой его роли — и в «Печках-лавочках», и особенно в «Калине красной» — я видел, что он, Василий Шукшин, — живой Степан Разин, что все его роли — маленькая часть той огромной роли, которую он вынашивал...

Придя однажды на съемку — я в этот день не был занят, — я застал его балагурившим со старухами. Я подумал, что это репетиция — «массовка» готовится к съемке. Настилали рельсы, устанавливали аппаратуру. Дело было под вечер. Василий Макарович угощал старух вином в маленьких граненых стаканчиках.

Бабы говорили:

— Мы тебе сейчас все песни перепоем. Тебе какие — сегодняшние или

вчерашние?

— Мне — какие постарее. Те, которые вы пели, когда были девками.

Старухи, договорившись между собой, посмеиваясь над своей старостью, примолодились и запели. Пели песни прощальные, подвенечные, грустные, веселые... Все это Василий Макарович записал на пленку. Я думал, для фильма, но в фильм эти песни не вошли. Тогда я понял, что это «про запас».

Смотреть на Шукшина в то время, когда старухи пели, было интересно. Он как бы пел за всех, за всех переживал, уходил вместе со старухами в другие, далекие времена. Может быть, эти песни вызывали в нем то, о чем он писал в своих рассказах...

Когда он писал их? Где? Нам показывают в кино и по телевизору кабинеты писателей. За столом — писатель. За спиной — книжные шкафы, огромная библиотека. И на столе — книги. Раскрытые, закрытые. Много чистой бумаги, пишущая машинка. Рабочее место писателя. Где это место было у Шукшина? На любом пеньке, за любым столом. В общежитии, в гостинице, на кухне — всюду. Было что писать — и место находилось. А библиотека? Да любая — городская, сельская...

Это боль заставляла его писать. Высказаться, выписаться, выразиться! Словно топором вырубал он строчки. Не пугайтесь, не обижайтесь — топор чудеса делает, им вырублены такие строения, которыми мы восхищаемся до сих пор. Шукшину было не до тонких инструментов. Не до полировок и шлифовок. Ему бы только успеть все сделать.

— Знаешь, хочется все бросить и только писать. Только писать...

Это он сказал мне за месяц до смерти.

Мы выпускали спектакль «Энергичные люди»...

### **ПОЧЕМУ Я ТОГДА НЕ ПОДОШЕЛ...**

Почему я тогда не подошел к Алисе Георгиевне Коонен, когда она была в Ленинграде и смотрела «Грозу»? Я что, не знал, что она смотрит? Знал. Мне Назарова, исполнительница роли Катерины, сказала. Но почему-то после смерти Александра Яковлевича Таирова мне не захотелось к ней подойти, в моих глазах она была Гертрудой... Король умер, короля убили... башмаков не износила, ушла к другому...

Я взял тогда на себя большой грех, осудив ее. Может быть, иначе она не могла поступить — боялась за свою жизнь.

Таиров был приговорен к общественной смерти. Его обвинили в формализме. «Буржуазный эстетствующий театр».

Я не подошел и к Таирову, когда в сорок девятом его вызвали в Комитет по делам искусств на последнюю коллегию.

Я видел, как он поднимался по лестнице. Совсем другой Таиров, не тот, которого я так хорошо знал. Костюм на нем сидел совсем не по-таировски, словно с чужого плеча. В белый крахмальный воротничок с черным галстуком была вдеа чья-то, совсем другая, не таировская шея. И только прежняя трясущаяся ладонь приглаживала редкие длинные волосы с затылка наверх,

привычно закрывая белую лысину...

Вот тут-то и надо было подскочить, взять его под руку, помочь. Я первый раз видел его одного. Он всегда был окружен людьми, внимавшими ему. Но это было тогда, когда у него все было хорошо, и тем, кто был с ним рядом, тоже было хорошо.

Я вспомнил письмо, присланное им в Тбилиси с предложением «вернуться в отчий дом», то есть в Камерный театр.

После «Богатырей»<sup>1</sup> прошло более десяти лет. История с «Богатырями» сломала Таирова, сбросила его с тех высот, которых он достиг в театральном искусстве.

Все, кто работал в Камерном театре — от студентов до народных артистов, — испытывали волнение, когда он входил в театр. Ему внимали, когда он говорил, были беспредельно терпеливы на его репетициях.

Атмосфера Камерного театра — это атмосфера Александра Яковлевича и Алисы Георгиевны. Одухотворенность чувствовалась в каждом члене труппы, даже в тех, кто протестовал или бывал недоволен. (Разве есть театр, где все были бы довольны? Укажи мне такую обитель...) Первым отказался от Александра Яковлевича Михаил Жаров. Я помню, как с маленькой группой неизвестных артистов он сидел в последних креслах партера и улыбался, когда бурлила и кипела бездарная накипь актерская. Между тем в «Оптимистической трагедии», поставленной Таиривым, Жаров сыграл свою лучшую роль — Алексея. Расправляясь с Таиривым, обвинили и Алису Георгиевну в том, что она «с пеною у рта и брызжа слюною защищает (кого? своего мужа!) буржуазного... эстетствующего... чужого...» и т. д. и т. п.

— Алиса Георгиевна! Выйдем отсюда! Это не наш театр! — решительно встал Александр Яковлевич и вместе с Алисой Георгиевной вышел из зрительного зала.

На следующее утро я пришел в театр. Декорации «Богатырей» были выброшены во двор, часть их уже распилили. В театре тишина. Только траурной музыки не было, но «покойник» был — спектакль «Богатыри».

Сняли же его за... искажение истории. Крещение Руси было вдруг объявлено прогрессивным явлением, а вовсе не одурманиванием народа, как об этом рассказывал спектакль.

Таиров сделался подозрительной фигурой. На репетициях его уже не встречали аплодисментами и не вставали при его появлении. Однажды, когда он опоздал на несколько минут, ему на режиссерский столик артисты положили свои часы, чтобы Александр Яковлевич знал — опаздывать неприлично! Таиров вошел, увидел часы, выбрал себе лучшую фирму, а остальные попросил убрать. Раздались аплодисменты. Александр Яковлевич обладал юмором.

... Почему я не подал руки Таирову, когда он поднимался на свою Голгофу? Я, как апостол Петр, спрятался от своего учителя.

---

<sup>1</sup> «Богатыри» — сатирическая пьеса Демьяна Бедного, постановка которой А. Я. Таиривым в Камерном театре в 1936 году подверглась резкой критике, поставившей под сомнение само существование этого театра.



Я не плакал, но я жалел его, сочувствовал ему и не подошел, а ведь надо было...

Кто я был тогда? И до меня ли ему было? Долго бы, наверное, пришлось ему вспоминать, кто я такой. И все же надо было подойти! Ему, может быть, не сочувствие тогда было нужно, а просто кто-нибудь из людей. Ведь после прожитой жизни он поднимался один. Совсем один.

Многие умирали в одиночестве, зато потом отыскивали их могилы, кланялись им низко и продолжают кланяться. А часто бывает наоборот. Шумные проводы, а потом полнейшая тишина, словно и не было человека и ничего особенного не оставил он после себя. Обман? Обманулись люди? Или обманули людей? Но народ, как река, в ней и живое тонет, и мертвое всплывает...

Нет, не прав я был тогда, когда осудил Алису Георгиевну.

## ВЕЛИКИЕ СТАРУХИ

Оказывается, нужно прожить жизнь, чтобы оценить то, что в юношеские годы мы не ценили и над чем посмеивались...

Много лет прошло, столько, сколько я живу в Ленинграде. И все эти годы всплывала и всплывает в памяти встреча, на которую толкнул меня режиссер Тихон Кондрашов. Он ставил у нас в Тбилиси дипломный спектакль, и хотя я в нем занят не был, все равно часто приходил на репетиции, следил за методом работы режиссера с актерами, который он привез из Москвы от М. О. Кнебель, у которой учился.

Тихон был уже немолод, война прервала его занятия в ГИТИСе, и только после войны он закончил институт. Мы с ним познакомились в сорок девятом году, а когда я приехал в Москву, снова встретились. Я ему рассказал о переписке с актером Художественного театра В. В. Готовцевым (он был моим педагогом), о том, что решил попытаться счастья и показаться во МХАТе. Назначен был просмотр, но я провалился. Провалился, как мне кажется, потому, что слишком благоговел. Ни о каком творческом самочувствии речи быть не могло; кроме страха, я не испытывал ничего, и только интеллигентность художественного совета театра вселила в меня надежду: мне отказали очень вежливо.

После провала в знак утешения Кондрашов предложил пойти в Малый театр на «Правду — хорошо, а счастье лучше». В спектакле были заняты Яковлев, Турчанинова, Рыжова, Рыжов и молодые актеры, исполняющие роли Платона и Поликсены.

Последние отличались от «стариков» манерой разговора: они произносили текст Островского, но речь их была слишком современна. Они были артистами из другого театра; их действия были верны для глаз, но слов ухо не воспринимало. Нарушался стиль автора, которым в совершенстве владели старики.

Вот где ты должен работать, это твой театр, говорил Кондрашов после спектакля, убеждая меня вновь рискнуть. Долго уговаривать меня не пришлось:

я давно мечтал встретиться с Н. К. Яковлевым, мы нашли его телефон, позвонили. Яковлев был нездоров и принять меня не мог. Тогда я позвонил В. Н. Рыжовой, она выслушала меня и назначила свидание у себя в Старо-Пименовском переулке.

В глубине двора стоял деревянный двухэтажный дом, таких домов в Москве было тогда много, особенно в Замоскворечье. Поднимаясь по деревянной лестнице наверх, я почувствовал нежный запах калачей, пирогов и еще чего-то вкусного, неуловимого, как будто бы сам воздух был пропитан гостеприимством. Бывает же так: ты куда-тоходишь, и сразу тебя охватывает особое чувство, словно ты вошел в родной дом. Так было и здесь. Я вошел в тепло, но не такое, какое было на улице. Кстати, на улице было просто жарко, стояла вторая половина мая, а в доме Варвары Николаевны оказалось прохладно, даже лестничные перила отдавали при прикосновении прохладой. Лестница деревянная, прямая, с круглыми точеными балясинами вела на второй этаж, все было как в театре, как в декорациях из пьес Островского. Наверху, куда заворачивала лестница, площадка была огорожена такими же балясинами и за перилами виднелись три двери, опять же как у Островского в ремарках к его пьесам.

Там стояла Варвара Николаевна и ждала, когда я поднимусь. Со страхом и трепетом я произнес — не сказал, а произнес: «Здравствуйте, Варвара Николаевна!» Но вдруг раскрылась другая дверь и послышалось: «Это я Варвара Николаевна, а это моя сестра Елена Николаевна Музиль».

Я узнал Рыжову, ту самую Рыжову, которую знал почти во всех ее ролях и которой восхищался. Ее говорку подражали многие актрисы, когда играли классических старух. Елена Николаевна была очень похожа на Варвару Николаевну, или наоборот, Варвара Николаевна — на Елену Николаевну, я не знаю, но когда они оказались рядом, перепутать их было нельзя. Меня повели в комнату, которая напоминала Бахрушинский музей. Там было все театральное: фотографии великих артистов с пожелтевшими надписями, ленты, лавровые венки, портреты Варвары Николаевны в ролях и портрет А. Н. Островского. Мы с Варварой Николаевной сели за круглый стол, покрытый скатертью, Елена Николаевна села на диванчик. Начался допрос, кто я и откуда, из каких мест. Я стал рассказывать о себе и объяснять, зачем я пришел: «Мне хотелось, чтобы вы меня прослушали и сказали, правильно ли я понимаю и читаю Островского». Я надеялся, что Варвара Николаевна назначит мне день, чтобы я мог подготовиться и показать ей Митю из «Бедности не порок» и Подхалюзина из «Свои люди — сочтемся».

— А давай сейчас! Чего там откладывать!

Такого поворота я не ждал, даже не представлял себе, что такое может случиться. От растерянности не знал, что делать: отказаться или решиться, и, наверное, для того, чтобы оттянуть время, спросил: «А где будем играть?»

— А вот здесь, за столом и почитаем, — предложила Варвара Николаевна.

От волнения мне очень хотелось закурить, но за все время моего рассказа я не осмелился это сделать и теперь, переборов себя, как сидел на стуле за круглым столом около стенки с портретами и фотографиями, так и начал играть

Митю...

«Эка тоска, господи! На улице праздник, у всякого в доме праздник, а ты сиди в четырех стенах!..» Не знаю, какими словами выразить мое удивление, но, когда я закончил свой первый монолог, Варвара Николаевна вдруг стала Пелагеей Егоровной, и мы продолжали сцену, а за ней и другие, потому что Варвара Николаевна знала все роли наизусть — и мужские и женские. И только тогда, когда по пьесе должны были быть все, я не выдержал и сказал: «Дальше играть невозможно, здесь появляются все».

Мы как сидели за столом, так за столом и играли, а когда кончили, Варвара Николаевна обняла меня и поцеловала, да не один раз, а несколько. Елена Николаевна, сидевшая с мокрыми глазами, встала, подошла ко мне, поцеловала и обняла. Я услышал от Варвары Николаевны слова, которые никогда не забуду. Она сказала:

— Я хочу с вами играть в этой пьесе, и сколько понадобится репетиций, я на всех буду репетировать сама. Вы должны быть в нашем театре.

Не сон ли это, не притворяются ли любезные хозяйки, чтобы только обнадежить меня, сказать мне лестные слова и расцеловать, как это умеют делать артисты со своим братом после премьеры? Хвалят, а сами думают: «Слава Богу, наконец-то избавились!» Бог меня накажет, что я так несправедливо подумал! Две знаменитые актрисы действительно были взволнованы. Их волнение заражало меня, я не выдержал и попросил разрешения выйти на балкон и выкурить папиросу. Меня никуда не пустили, сказали, чтобы курил здесь.

Варвара Николаевна рассказывала о встречах с Александром Николаевичем, о его репетициях с ней, о том, каким Островский был хорошим режиссером и педагогом и какое большое значение придавал речи. Тогда же я узнал, что Елена Николаевна ведет курс актерского мастерства во ВГИКе и что Варвара Николаевна высоко ценит ее мнение.

Вдруг Варвара Николаевна заявила, что я должен обязательно показаться Евдокии Дмитриевне Турчаниновой, встала и пошла звонить. Мне было слышно, как она хвалила меня и просила назначить мне свидание. Вернувшись, она сказала, что меня ждет Евдокия Дмитриевна, и подробно рассказала, в какой дом на Пушкинской площади мне следует сейчас же пойти. Кроме адреса, Варвара Николаевна написала письмо, которое я потом выпросил у Е. Д. Турчаниновой. Вот оно:

«Глубокоуважаемая Евдокия Дмитриевна!

Обращаюсь к Вам с великой просьбой прослушать этого молодого человека, Евгения Алексеевича Лебедева, который приехал в Москву по творческой командировке; в награду была дана премия, за показ в роли Подхалюзина, при всесоюзном смотре русской классики. Он мне читал Митю, я ему читала Пелагею Егоровну, и он меня покорила своей передачей роли, своим глубоким чувством — ни одного пустого слова. Очень бы мне хотелось, чтобы и на Вас он произвел такое же впечатление, чтобы Вы могли ему помочь, но я не в фаворе у Л. Е. Шаповалова и могу ему только навредить своим

вмешательством. Зная Вас, как Вы чутко относитесь к молодежи, потому и посылаю его к Вам, если он Вам понравится так же, как и мне, то Вы похлопочите за него у Л. Е. Шаповалова, ему могли бы дать дебют в “Бедности не порок” В Тбилиси он был представлен к званию заслуженного артиста, но еще пока не получил. Боюсь Вас больше беспокоить, кончаю свое письмо. Я верю и надеюсь, что Вы окажете ему свое содействие, примите его, прослушайте и решите.

С искренним приветом и уважением В. Рыжова, 21-го мая 1949 г.»

Окрыленный надеждой, я дошел до Пушкинской площади. Вот он — большой многоэтажный дом, здесь живет Евдокия Дмитриевна Турчанинова. Я поднялся наверх, нажал кнопку электрического звонка, дверь открыл коренастый мужчина в тяжелом халате, лицо которого мне показалось знакомым. Это был народный артист РСФСР Михаил Францевич Ленин. Я назвал себя и назвал ту, к которой пришел с письмом от Рыжовой. Я решил, что Михаил Францевич — муж Евдокии Дмитриевны, но ошибся. Оказалось, что его квартира и квартира Турчаниновой просто имеют один вход. Его дверь была направо, а мне предложили пройти прямо, и я услышал, как грудной голос произнес: «Евдокия Дмитриевна, к вам гость» — и такой же поставленный грудной голос ответил: «Войдите!»

Я вошел и увидел сидящую в кресле строгую, в коричневом с черной отделкой длинном платье Евдокию Дмитриевну. Строгость хозяйки и строгая атмосфера комнаты заставляли, ждать строгого приема, но я ошибся. Прочитав письмо, Евдокия Дмитриевна предложила сыграть «Свои люди — сочтемся», второй акт, и мы его сыграли, а когда закончили, ей захотелось увидеть меня в роли Мити. Мы, сколько смогли, прочитали «Бедность не порок». Она сделала мне одно замечание, сказала, что «у нас Митя в этом месте на колени не встает», и по такому ее замечанию я понял, что она не будет возражать против моего дебюта, о котором просила ее Варвара Николаевна. Евдокия Дмитриевна позвонила директору Малого театра и договорилась о моей встрече с ним...

Все-таки существует «закон второго спектакля»: я почувствовал и испытал его на себе. Моего вдохновения не хватило, чтобы с глубоким чувством и волнением показаться Турчаниновой. Мне надо было успокоиться, прийти в себя и только на другой день с новыми силами пускаться в бой. Не знаю, что думала Евдокия Дмитриевна, но я ощущал, чувствовал, что повторяю только то, что делал у Варвары Николаевны. Ничего нового в моем исполнении не было. Правда, потом, когда я снова пришел, как мы договорились, к Варваре Николаевне, она мне сказала, что звонила Турчанинова и что я ей понравился.

Как тогда быстро все устроивалось! На следующий день я сидел в кабинете директора Малого театра. Пока все шло как во сне — вот так бы и жил, не просыпаясь. С какими людьми встречаюсь! Меня слушают, я им рассказываю, меня смотрят, со мною разговаривают, мне предлагают, мне советуют, угощают, словно я им ровня! Директор смотрит мой альбом с фотографиями ролей, которые я сыграл в Тбилиси. Фотографии ужасные, я это сейчас вижу, а тогда я был молодым и мне казалось, что они многое обо мне расскажут. Теперь я думаю, что Л. Е. Шаповалов рассматривал альбом из приличия, чтобы

не обидеть меня, а сам прикидывал, как ему поступить, как сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы.

Театр... Сложная материя, запутанный мир. По всем правилам театрального дела я должен был вначале представиться художественному руководителю Константину Александровичу Зубову, я его ценил и любил как артиста и как руководителя, но я боялся сойти с дороги, по которой направили меня Евдокия Дмитриевна и Варвара Николаевна, мои покровительницы.

«Все, что ни делается, к лучшему» — гласит русская пословица, а мой жизненный опыт теперь убеждает, что пословицы, поговорки — сама правда, подтвержденная опытом жизни человеческой. Раньше я им не больно верил, а теперь верю. Оказывается, нужно прожить жизнь, чтобы оценить то, что в юношеские годы мы не ценили и над чем посмеивались...

Шаповалову я показал творческую командировку, полученную в Тбилиси, рассказал, как попал к Рыжовой и Турчаниновой, какие роли играл. Все шло хорошо, передо мной уже маячила реальная перспектива — артист Малого театра! Я улыбался, мне улыбались, но до той поры, пока не направили к режиссеру Страдомской, которая должна была ввести меня в спектакль «Бедность не порок». Страдомская знала, что Рыжова будет приходить и репетировать вместе со мною Пелагею Егоровну, что, по мнению Страдомской, да и не только ее, было почти невероятно. Страдомская разговаривала со мною ужасно: как с человеком, который не понимает, куда попал. Она не захотела даже послушать меня и назначила мне зарплату артиста вспомогательного состава, зачеркнув девять лет моей работы в театре. Я не надеялся, что мне сохранят мою высшую категорию, но перевести меня во вспомогательный состав... Я был поражен ее тоном, высокомерием, с которым она говорила. Она хотела дать мне почувствовать, что она не кто-нибудь, а режиссер Малого театра, но я сам понимал, куда пришел.

Вы меня спросите, чем все кончилось? А той же пословицей: «Что ни делается, все к лучшему». Мне все-таки был обещан дебют в роли Мити, но в это время из Тбилиси приехал Г. А. Товстоногов, я знал его и «променял» Москву на Ленинград.

В Ленинграде я получил письмо от сына Варвары Николаевны — Николая Рыжова. Вот оно:

«Дорогой Евгений Алексеевич!

Поздравляю Вас с новым годом, желаю Вам здоровья и еще новых блестящих достижений — я посылаю Вам эту афишу нашего праздника 130-летия, в котором видное место занимает Варвара Николаевна, которая к Вам относилась с большой любовью, и ее прогнозы в отношении Вас, тогда еще молодого актера. Вы эти прогнозы оправдали сверх того, что она ожидала от Вас! Дай вам Бог и еще! Я сейчас пишу книгу о В. Н., и мне бы очень хотелось, чтобы в ней одно из первых мест заняла Ваша статья о ней с Вашим портретом! Так что кланяюсь по-московски низко!

Крепко жму Вашу руку. Ваш Ник. Рыжов».

С большим опозданием отвечаю я на эту просьбу, но никогда не забывал Варвару и Елену Николаевну, Евдокию Дмитриевну, прекрасных актрис и

прекрасных людей, заставляющих верить в доброту и благородство.

## ***РАССКАЗЫ***

### **СЕСТРА**

Я увидел тебя издали, когда еще не успел пришвартоваться пароход. Ты стояла среди ватников, телогреек, в синем пиджачке, платье в горошек. Я узнал тебя сразу по лицу, оно такое же, как у матери, большие карие глаза и нос точно такой. Наверное, наша мать в твоём возрасте была такая, как ты. Только волосы у нее были длинные, а у тебя короткие. Мы встретились, и ты разревелась.

... Я сдал тебя в детский дом тринадцать лет назад и теперь, после войны, всматривался в новую сестру, не похожую ни на ту маленькую Юльку, ни на других сестер, ни на брата.

Мы не знали, с чего начинать наше новое родство. Какими должны быть брат и сестра? Сознанием знали, умом, а не чувством. Чувство отставало, стеснялось... Когда тебя не было рядом, оно тосковало, а при встрече, как улитка, спряталось в свою скорлупу. Снова нужно было привыкать к тебе, дать чувству освоиться, настроиться на родственную волну. И мы начали.

Мы понимали, что мы самые близкие, роднее нас друг для друга никого нет, а жизнь сделала нас такими далекими!

Жизнь — это люди. Они дали нам жизнь, а новые люди, установившие новую жизнь, в наказание за то, что мы родились в других условиях (тоже созданных людьми), сделали нас такими, какими мы встретились. Но как бы люди ни старались убить в нас прошлое, кровь наша осталась той кровью, с которой мы родились, а вместе с нею осталось в нас и то кровное, что заложено было отцом и матерью. В нашей встрече медленно, но естественно воскресало наше родство, словно с нами вместе находились невидимые отец и мать. Слезы расплавили, размягчили жестокость людей, со слезами выплакалась обида, боль. Слезы наши благодарили кого-то за радостную встречу, посланную нам через много лет...

Эти мысли родились сейчас, когда я пытаюсь проанализировать нашу встречу. А тогда... Мы плакали, смеялись, удивлялись. Не помню первых слов. Главное, я увидел лицо матери, когда она вместе с отцом провожала меня в последний раз в Москву. Лицо несчастное, радостное и скорбное вместе с тем — вот что я увидел в лице сестры.

Вспоминая ее, я задаю себе вопросы и плачу, отвечая на них. Нас было пятеро, я — старший. Самая младшая умерла первой.

Я привез сестру на площадь Дзержинского в Москве и сказал: «Вот девочка, ее нужно устроить в детский дом, у нее родители репрессированы». Я делал вид, что она мне чужая. «Нашел на улице!» Это я про родную сестру сказал. Теперь, когда ее нет, я вспоминаю себя и поражаюсь тому, что тогда

говорил. Я вижу парня, стоящего у окошечка бюро пропусков в тысяча девятьсот тридцать восьмом...

Я знал, что такое детский дом, и все-таки сбывал, пристраивал ее. До Лубянки были в Наркомпросе. Наркомпрос ответил: «Врагов не устраиваем, кому нужно, тот о них позаботится. Уходите!» И мы ушли. Пришли в женотдел. Вошли в комнату, где вдоль стен сидели женщины, между окон — стол, за столом — главная, председатель. После моего объяснения председатель закричала: «А, поповские выродки! К нам пришли? Деться некуда? Поездили, покатались на нашей шее? Хватит! Мы теперь прозрелые!» Мы стояли и слушали, как над нами издеваются взрослые мамы и тети. А мы-то надеялись! Мы-то радовались!..

Мы теперь равные, говорил я, такие же, как все. Мы теперь не отвечаем за поступки наших родителей, мы им не выбирали профессий — нас тогда еще не было. В статье нового закона написано, что мы теперь не лишенцы, и не только мы, но и наши родители — полноправные, с правом голоса. Мы равные! Председатель комиссии и все, кто здесь заседает, не читали этого закона? Или у них своя Конституция?

Никто нас не защитил, все молчали. Я помню. Я все помню. Я не стану рассказывать подробно всей этой несправедливой истории. Скажу только, что я сам орал на них:

— Я с двенадцати лет сам добываю себе на хлеб, я беспризорник... Я — комсомолец, был пионером... Я привел вам девочку... ей десять лет... девчонку! Девчонку, а не мальчишку! Куда ее? На улицу?

Помню, как наступила тишина и в тишине вдруг голос, спокойный, уверенный, стальной:

— На Лубянку! Там ваше место!

Лубянка... Как говорили в те годы в Москве, самое высокое место — Колыму видно! Тогда такое не то что вслух, про себя подумать страшно было, а говорили все-таки. Анекдот был единственной формой общественного мнения. И то один на один. Ни-ни, а то швырнет тебя Москва на эту самую Колыму. Бдительность, бдительность! — никто против нее не мог устоять.

«Враг — он хитер, он во всех сферах сидит... Ты посмотри на рисунки, на карикатуру — и туда пролезли... В них обязательно найдешь или усы, или трубку, а то и целый профиль...»

В бане бы им хорошенько помыться, а они бдят, газету возвращают перед собою, всматриваются, то сбоку, а то и на просвет, и находят такое!.. Ух ты!

— Вот видишь — черненькое...

— Где?.. Это беленькое.

— Ты какими глазами смотришь? Смотри, трубка!

— Да нет, это ухо.

Сложили газетку аккуратненько и пошли...

Кто тебя поймет? Кто поможет? Старуха, у которой снимал комнату? Там нас уже двое — брат и сестра. Самую младшую куда? Она молчаливая. Из деревни, и сразу — Москва. У нее один вопрос: где страшнее? Там, откуда приехала, или здесь? Везде одна, никому не нужная. Брат боится, как бы чего

не вышло: что скажут, что подумают... Никто не должен знать, что сестры приехали, их нужно запрятать куда-нибудь подальше, чтобы никто не знал, что у нас отец и мать арестованы и что мы теперь в Москве, а двое из нас тайно приехали и тайно проживают без прописки и безо всяких прав.

Год назад никто не знал, что у меня отец и мать есть, все знали, что они давным-давно умерли, в голодном двадцать первом году, на Волге, а тут вдруг брат и сестры объявились. Год назад по объявленной новой Конституции я получил право всем открыть, что у меня тоже есть отец и мать, что они никогда не умирали и что я теперь равный среди равных. И вдруг такое... Отца, а потом мать. Как теперь вести себя? Что делать?

Быстро меняются отношения! Сказано — сын за отца не отвечает. Я помню, как меня стыдили за то, что скрывал, что похоронил родителей: «Кого похоронил? Отца и мать! Где у тебя совесть?! Ты должен их навестить!» И опять я стал виноват. Я навестил их, я всегда навещал их, только тайно, чтобы никто не знал. Меня этому научили.

Сегодняшняя молодежь и представить себе не может, что все это было с нами, с их дедами и прадедами. Открыл, объявил: «Еду к отцу!» А вернулся — телеграмма: папа арестован. Новое ко мне отношение, новый ярлык, опять позорное клеймо. Присматриваются, что я буду делать, как поведу себя в новых «предлагаемых обстоятельствах».

«Дорогая Ольга Яковлевна! Вас уже давным-давно нет в живых. Но память моя хранит о Вас самые добрые воспоминания. Вы, единственный человек, отнеслись ко мне тогда, как может отнестись только хорошая мать. Я не говорю, что Вы лучше моей матери, нет! Моя мать очень хорошая, она много слез пролила за все мои тайные посещения. Я много слышал от нее утешений за все, что мне приходилось испытать. Нужно было учиться, выходить в люди. Я вышел в люди. И теперь, работая в театре и играя роли, я вкладываю в них и мое прошлое и оживляю мертвые слова, наполняя их своим содержанием. Ваше, Ольга Яковлевна, доброе сердце принадлежало не только Вам, но и всем нам, от него, от Вашего сердца, я тоже согревался. Только я, может быть, не такой теперь добрый, как Вы. Теперь нас много таких, у которых сердце только для себя. Мы не даем ему расслабиться. А Вы расслабляли свое сердце, Вы принесли его из прошлого века и сохранили его чистым, дающим. Я помню, как Вы утешали меня, когда я с телеграммой в руках бился в истерике, проклиная все и копя злобу против тех, кто отнял у меня отца! Вы это поняли и в утешениях укрощали мою злобу, чтобы зло вышло из меня. Смягчился ли я тогда до такой степени, как Вам того хотелось, я не помню, слишком много причин было для озлобления. Но теперь мне хочется рассказать Вам, именно Вам, что со мной было потом, после этой злополучной телеграммы и как это случилось, что этими вот руками сдал я сестру свою в детский дом.

Понимаете, Ольга Яковлевна, в те годы, когда я врал, то есть скрывал свое происхождение, я жил относительно спокойно. Я привык к тому, что похоронил живых родителей, что у меня их нет, это убеждало других, и никому не было дела, что происходило в моем детском и юношеском сердце, не было



дела до моего страха.

А страх мой был перед Богом. Перед тем, что я буду когда-нибудь отвечать за то, что живых отца и мать сделал мертвыми. Вы меня поймете, должны понять. Мой отец — священник.

Теперь, когда мне уже много лет, и я играю толстовского Холстомера, я всякий раз вспоминаю свое детство и говорю словами моего героя про самого себя: “Когда я родился, я не знал, что такое пегий. Я думал, что я — лошадь. Мать подставляла мне соски, я был так еще наивен, что тыкал носом ей то под передние ноги, то под комягу... Я родился, должно быть, ночью...”

А я действительно родился ночью. С первым словом “мама” во рту у меня был крест, я сосал его вместо соски. С крестом были связаны мои первые слова, их меня научили произносить. Первое, что увидел кроме лиц отца и матери, — крестное благословение. Первое, что запомнил: “Бог накажет”.

До двенадцати лет я узнал все грехи, за которые он может наказать меня, и я молился. И вот одну из самых страшных заповедей — “Чти отца и мать свою” — я преступил. Я сказал о них: “Они у меня мертвые, умерли!” С тех пор как я стал врать, ко мне стали хорошо относиться, меня перестали называть “попенком”, “кутейником”. Я надел красный галстук, дал торжественное обещание и стал убеждать других, что Бога нет. Но страх перед Богом все время ходил за мною и напоминал о моих грехах до тех пор, пока я не привык к нему, потому что другой страх сделался страшнее. Бог неизвестно еще когда накажет, а люди наказывали быстро. За что? За то, что мой отец — поп, не я, а мой отец! Моего брата избивали палками, били по голове; ему тогда было десять лет, удар палкой оставил след на всю жизнь, он стал эпилептиком. “Эй, ты, поп, попенек, кутейник!” Нам, кутейникам, учиться можно было только до четвертого класса, и эти четыре класса год за годом становились все труднее и невыносимее. Приходишь домой — и с жалобой к отцу и матери: “Не пойду!” или “Не пойдем мы больше в школу! В школе дерутся”. Учительница говорит, чтобы мы не ходили больше в церковь, там обман, опиум. А мы даже и не знали, что такое опиум. Вы, говорит, лишенцы, ваш отец — длинноволосый дурак и других дурачит, пойдите и скажите ему, что он дурак!

Мы ходили с братом в школу вместе, сидели в разных классах, а жалобы приносили одни. Защищать нас было некому. В церкви не трогали, в церкви утешали, там были ласковы даже те, которые избивали нас и дразнили. Тут они пугались Боженьки, боялись: а вдруг и вправду накажет. Как ни старалась школа, а дома родители, бабушки, дедушки драли своих сыновей и внуков за уши и тащили в церковь. Там они стояли смирные. А на другой день школа расправлялась с непослушными, учителя выставляли виновников перед классом и требовали, чтобы они исправились. И они исправлялись: избивали нас. А в церкви разбивали стекла, разбегались и прятались.

Я тоже однажды разбил стекло. Были похороны, возвращались с кладбища, сторож церкви нес икону Божьей матери и крест. Мне очень хотелось нести крест, я выпросил и понес, но крест оказался тяжелым. Я свалил его на плечи и дотащил кое-как до церковных дверей. Они были стеклянные, на пружинах. Сторож прошел, а я не успел — дверь захлопнулась и разбилась об мой крест.

“Что теперь будет? Что тебе теперь будет?!” — сказал сторож. Домой я пришел поздно, просидел на спектакле детского дома. Мне попало не за то, что я дверь разбил, а за то, что вечером просидел на спектакле, а должен был стоять в церкви на всенощной — завтра праздник. Дорогая Ольга Яковлевна! Почему я теперь обращаюсь к Вам словно к живой и рассказываю все это? Разговаривать не с кем! Теперь каждый сам о себе рассказывать хочет, чтобы только его слушали. Я теперь часто сам с собой разговариваю, вспоминая прошлое, обсуждаю его, анализирую. Самому себе все рассказать можно, сам себя всегда выслушаешь, а захочется — и перебьешь. И умное, и глупое — все смешается... Удивляешься, какая огромная библиотека памяти разместилась в коробке, которая помещается в двух ладонях. Если все записать — в квартире не поместится.

Вот так бы записать, как в голове читается! Одно слово — и целая картина, один звук — и целое понятие. Столько лет пролетит, подробностей, а все помнится, ничего не забывается, как родник бьет. Проходит перед тобою кинематографическая лента, заснятая скрытой камерой прожитого времени, смотришь картины про свою жизнь и думаешь — неужели это было, неужели все это правда?! Такое, что и матери не расскажешь и в письме не напишешь, а Вам могу...

Ко мне в Москву приехала мать, я не виделся с ней год. Она с трудом выбралась, денег в доме лишних нет, их никогда у нас не было. В церковь приносили по пятаку или по три копейки, как в старину, а жизнь в рублях пошла. По пятаку да по три копейки рубль не скоро наберешь, а в Москву ехать — много их нужно.

Едет к сыну... сын у нее в Москве, соскучилась: что он там? как он там? Теперь сам знаю, у меня у самого сын: ждешь не дожدهшься, когда приедет, я встречаюсь с ним не через год, в неделю раз, а то и чаще, и то скучаешь, тоскуешь, те же самые вопросы задаешь: как он там? что он там? А мать целый год сына не видела. Какие только мысли не приходили ей в голову, в каких только кошмарных снах не являлся я ей по ночам, а сколько бессонных ночей в думах обо мне...

Писем-то от меня нет. Писем мне писать нельзя: а вдруг узнают? Вдруг откроется, что родители живы? Что мне тогда? Куда мне тогда? Один раз уже было такое...

Самара, ТРАМ — Театр рабочей молодежи. Я тогда убежал, скрылся. Москва большая, какого народа в ней только нет! Можно спрятаться, затеряться. Говорят, иголку в сене не найдешь. Иголку, может быть, найти трудно, а человек — он не иголка. Земля большая, а мир тесен.

В ГИТИСе это было, он тогда ЦЕТЕТИС назывался, учился я на первом курсе. Идет урок по мастерству, этюды делаем. Выхожу из класса и вижу — вдали по коридору направляется в мою сторону группа людей, и я узнаю в них артистов самарского ТРАМа, тех, от которых я убежал. Куда деваться? Куда они пойдут? А вдруг в наш класс, на мастерство актера? Я забрался в туалет и просидел до конца всех занятий.

Вот так и жил все время под страхом. Здесь хоть общежитие было, а когда

я учился в другой театральной школе, при Театре Красной Армии, я жил на улице.

Зима, мороз, а на мне физкультурные тапочки, калоши, короткий полуперденчик, фуражечка, а вместо шарфа — вафельное полотенце, оно вроде платка у меня было, голову им повязывал. Придешь рано утром в театр — он в семь часов открывался, — сядешь в белое кресло, отогреешься и сразу заснешь, потом кто-нибудь разбудит. Вот так и учился, пока не заметили, что вши по мне ползают. Белые, чистенькие, с черным пятнышком на спине, на черной рубашке их хорошо видно. “Посмотрите, у него вши! Заразу занесет!” А я с этой заразой месяц жил и не заразился, наверное полюбили меня насекомые, отстать не могли, нравился я им... А тут еще жалоба на меня: естествознание не изучает, отстает, на “вакуолях” застрял. Меня в учебную часть к Шапсу. Шапс на меня кричит, я кричу на Шапса, нервы, стервы, не выдерживают, общежития нет, лучше совсем уйти...

Все знали, что живу на улице. Все жалели, а помочь было некому, а я и не настаивал, происхождение мешало... вдруг узнают?! Вот тут-то я и хотел повеситься, и крюк, и веревку приготовил... Видно, не судьба, мне на роду другое написано, так тому и быть.

Приехал я тогда к матери в Репное, семь километров от Балашова, открыл дверь да так в дверях и остался. Вид у меня такой был, что за порог не пустили. Ахнули, разревелись все: больше на беспризорника похож, чем на артиста.

Меня в баню — отмывать, одежду мою в печку — прожаривать, простирывать, а кое-что и сжигать. Вот так-то, Ольга Яковлевна!..

А помните, как Вы учили меня даме ручку целовать? При встрече с Алисой Георгиевной Коонен обязательно надо ручку ей поцеловать. Полагается. Если она одна встретится, то нужно проводить ее под руку, помочь подняться или спуститься по лестнице. Я как-то встретил ее одну на лестнице, а у меня в руках астраханская селедка, залом, и руки мои в селедке. Ничего другого я ей предложить не мог. “Алиса Георгиевна! Хотите селедку — волжская, астраханская!” В ответ она так хорошо улыбнулась, как Настасья Филипповна Рогожину. Так я бочком с селедкой и прошел с ней до самого верха. Положение глупейшее, из него никак не выбраться, потому, наверное, и смеялась Алиса Георгиевна.

Вот слово — глупость! Сколько ее у меня было!

Приехала ко мне мать, я тогда на кондитерской фабрике “Красный Октябрь” работал. Жил под Москвой, на станции Правда. Мать приехала, а я уехал на свидание. Влюблен был в весовщицу в шоколадном цехе. Она замужняя была... Почему я всегда влюблялся в замужних? Может быть, они доступнее были. А нам, холостякам юным, только того и надо было — любить. Этому искусству замужние и обучали... У нее отпуск, жила с ребенком под Можайском на даче, сто с лишком километров от Москвы. Да от меня до Москвы — сорок, вот тебе и все полтора года.

Адреса у меня не было, только место мне назвала. Смотрю — в реке полощет белье. Она меня не видит, кругом никого, я подкрался сзади, обнял. Взвизгнула, обернулась, вижу — не она, чужая. Обознался.

Потом-то я нашел свою. В лесу всю ночь пробыли, на рассвете расстались. Она дома, ей что, а мне сто пятьдесят километров отмахать нужно. Ноги нейдут после уроков-то, еле волочу, а до станции километров пять.

Лес кончился, широкое поле открылось, пахнет костром, и дымок голубой по земле стелется, солнце еще не взошло, вижу — цыгане, табор цыганский. Обходить его — лишний крюк давать, да и глаза слипаются, спать хотят, дай, думаю, прилягу. Лег на траву и провалился. Слышу, лошади скачут, топот по земле: так-так-так-так... Все ближе, ближе, в ушах копыта стучат, все громче, громче. Вскакиваю, просыпаюсь. Никого нет, пустое поле, передо мною огромное вишневое солнце. Страх не прошел, я бросился бежать. Дома матери сказал: “Ночная смена у меня была”. Она поверила, пожалела, уложила спать. Мать есть мать. Многострадальная, долготерпеливая... Прости меня!

Когда ее увели, остались две девчонки — Юлька и Алька, сестры мои. Кому они нужны? Кто их возьмет? На какие деньги жить, где их достать? Все, что было в доме, продано, прожито. Жили на то, кто что принесет, или сами по дворам ходили, милостыню собирали, кусочек хлеба выпрашивали у добрых людей. А добрые люди были, мир не без добрых людей.

А как же партийная организация? Профсоюзная? Советская власть?

Какая организация?! Председатель правления колхоза. Он и партийная, и профсоюзная, и советская власть. А новых бюрократов уже много было, им бумажки, справочки требовались.

— А ты мне ее напиши! Дай мне такую справку, чтобы я мог с ней уехать и чтобы по этой справке всюду принимали, не задавали лишних вопросов!

— А сознание классовое? Как с ним быть? Справку дам, а сознание при тебе останется? Ты есть враг... классовый... она еще не кончена, наша борьба! Впереди мировая революция!

— У меня кадушка, дубовая, на пятнадцать ведер, от отца с матерью осталась. Возьми ее, больше ничего нет. Все мое богатство классовое, возьми.

Отпустили. В Москву приехали. 1938 год.

“... Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, по кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая поднималась. На какую радость разыгралась?”

Лубянка. Все дороги ведут сюда, к ней, голубушке. Дороги идут, а народа нет. Пусто. Должно быть, стороной обходят. Лучше подальше от нее. Сколько через нее прошло и где они, куда делись?..

Окошечки бюро пропусков. В каждом окошечке — военный. Комната метров в двадцать. Ни скамеек, ни стульев, ни столов. Два-три человека в штатском, такие же, как я, немного постарше.

Стою с сестрой у окошечка, жена прогуливается на улице. (Я тогда уже женат был. На однокурснице. Только не расписан.)

— Ну, что там у тебя?.. Арестовали, говоришь? — этот вопрос мне задал человек не из окошечка, а штатский, по комнатке ходил. — А ну, подожди.

Он снял телефонную трубку, набрал короткий номер и:

— Тут к тебе, по твоему профилю. Спустись, — и мне: — Сейчас спустится

мой хозяин, он с тобой разберется. Уладим!

И не успел я как следует осознать, кто этот человек, как появился другой. Тоже в штатском.

— Ну, что тут у вас? Какие будут вопросы?

Пытаюсь объяснить:

— Девочку привел... у нее родители арестованы...

— Арестованы? — многозначительно спросил спустившийся и, взглянув на меня и на сестру, сказал: — Пошли за мной!

Мы вышли на улицу, у входа стояла черная легковая машина. Раскрыли дверцы, и тот, кто спустился сверху, приказал: “Садитесь!” В это время, совсем некстати, подошла моя жена.

— Кто такая? Кто она вам?

— Она не наша, посторонняя, на одном курсе учимся.

— Да? Садитесь.

У меня был такой растерянный, опущенный вид, что штатскому пришлось повторить:

— Садитесь, садитесь!

Сели. Я так понял, что нас троих арестовали: меня, жену и сестру. Сейчас объедут дом с другой стороны, въедут в железные ворота... Машина тронулась, и мы поехали. Вот и все! Интересно, на сколько лет? Какую статью дадут? За что? При чем жена? Ее, наверное, освободят, у нее биография хорошая. Да? А за связь с врагом народа!..

Машина мчится мимо Политехнического музея, на перекрестках не останавливается, гудит, всюду пропускают.

Допрос начался в машине, скрывать, что она мне сестра, бесполезно, реe равно узнают. На вопрос, кто такой, я ответил:

— Врат. Родной брат.

Водитель и допрашивающий оглянулись и посмотрели на меня.

— А ваша подруга кто?

— Студентка театрального института.

— Вы тоже из театрального?

— Да. На втором курсе.

Когда я сказал, что она моя сестра, я словно бы защитил ее, но вместе с защитой потерял опору. Мне тогда казалось, что я все потерял, всего, что таким трудом достигнуто, сразу лишился. Теперь не помню, какие еще вопросы задавали и что я на них отвечал: самым главным было запомнить улицы, по которым нас везли. Вся Москва исхожена вдоль и поперек, всю ее изучил, а тут вдруг не узнаю. Сидим, украдкой взглядываем друг на друга, а сказать о чем-то важном не можем...

Жена! Мы не расписаны, может быть это ее выручит? Зачем она подошла тогда? Ей нужно говорить, что случайно встретились, нет доказательств, что мы муж и жена, брак-то не оформлен! И живем в разных комнатах, хотя и в одном общежитии. Правда, Камерный театр на подозрении — последнюю премьеру, спектакль “Богатыри” Демьяна Бедного, запретили. “Буржуазная эстетика, искажение исторической правды”. Говорят, автора посадили, а театр

закроют. Таиров ужасно нервничает. Не спит, говорят...

Машина мчится, и мысли мои мчатся.

... Я с двенадцати лет у бабушки с дедушкой находился. Они, родители моей матери, — самая что ни на есть пролетарская семья, члены партии, иные родственники Институт Красной профессуры закончили... Нет! Про родственников говорить не нужно! Никого не знаю.

Врат? Он на кондитерской фабрике работает, грузчиком. Он эпилептик... А хорошо, что жена с нами, значит, любит, другая бы на ее месте давным-давно от меня сбежала.

Всех вспомнил и всю жизнь прожитую словно через решето просеял — о чем можно рассказать и о чем нельзя, все отсортировал. Куда везут, в какую тюрьму? Одну тюрьму видел — проходил мимо, а нас везут в другую сторону. Через несколько минут все узнаем... Вместе не пошлют, рассказывают — всегда врозь, в разные стороны ссылают.

Машина подъехала к Кремлевской стене, только ворота другие. Стена каменная, красного кирпича, стены толстые, полукруглая глубокая арка с глухими воротами, сторожевая будка с черными косыми полосами и часовой с винтовкой.

— Вам, девушка, придется выйти. Вон там, на скамеечке, посидите! — обратился к моей жене тот, кто бумагу составлял.

Машина остановилась. Жена вышла и прошла к одинокой скамеечке у голого тополя. Мы одними глазами попрощались, как бы запоминая, какими мы расстаемся.

Вдруг ворота раскрылись, и я увидел во дворе много-много детей, они играли в какие-то игры. Со мной случилось то же, что случается с надутой камерой, когда ее прокалывают иглой: воздух из меня вышел. Уфффф! Мы въехали в ворота и проехали по аллее к двухэтажному дому, поднялись наверх, там были штатские и военные, меня пригласили написать заявление, чтобы сестру приняли в детский дом.

— Прощайтесь, она пробудет здесь несколько дней, и ее отправят. Здесь только приемник-распределитель.

Все так быстро произошло, словно остановился поезд на одну минуту: нужно успеть все сказать, а сказать нечего. Мы поцеловались и разошлись.

Бывают такие сны, в которых насаждают на тебя разные страхи, сознание отстает, долго не соображаешь, что происходит вокруг, и только проснувшись совсем, очнувшись ото сна, понимаешь, что происходило. Так и здесь, когда меня с женой усадили обратно в машину и спросили, куда нас везти. Мы не назвали своего домашнего адреса, попросили высадить у Политехнического музея. Когда нас высадили и мы остались одни, только тогда мы поняли, что произошло. Как я тогда благодарил этих двух незнакомых людей за их внимание и помощь! Не знал их фамилий, адресов, но внутренне пожелал им всего хорошего. Они меня не обидели, не оскорбили, не унизили, как это сделали в Наркомпросе и в женотделе.

Потом, через несколько месяцев, получил письмо от сестры. Она писала, что живет хорошо, мальчишки ее боятся, учится тоже хорошо, адрес:

Калининская область, Красный Холм, детский дом.

Вот что я хотел рассказать Вам, дорогая Ольга Яковлевна. Вы уж простите меня: никому не рассказывал!»

Редко получал я письма и никогда на них не отвечал, и теперь ни с кем не переписываюсь, а надо бы... Получать люблю, приятно, что тебя знают, помнят, любят, желают добра, счастья... Как на уроке математики при сложении или вычитании в уме цифры держат, так и я с письмами — ответ в уме держу. И еще обижаюсь, что редко пишут. Вот так и в тот раз случилось...

Кончил театральное училище. Дочка родилась. В Тбилиси работаю, в Театре юного зрителя. Война. Жена с дочкой к бабушке уехала, остался один. Опять любовь... Другая жена появилась уже после войны. Успех в театре. Попадаю в Ленинград. В Ленинграде — лауреат Сталинской премии первой степени, депутат. В газетах мои портреты. Самого Сталина играл!

Война всех разбросала, все потеряли друг друга, а премия всех нашла, все объявились. Письма пришли. Пришло письмо и от младшей, бывшей детдомовки, в гости зовет. Она одна позвала к себе, я и поехал.

Послевоенный пятидесятый год. Сам Ленинград еще стоял избитым: маскировочные «костюмы» на многих домах еще целы, и сами ленинградцы, кто в живых от блокады остался, еще не все свой прежний вес набрали. На лицах, кроме радости, что отстояли, что выжили, война прочитывалась. Она, война, не только в лицах, но и в одежде читалась, а уж про тех, кто в других городах и селах жил, и говорить нечего — там война еще криком о себе кричала.

Еду поездом до Горького, а там на пароход...

У каждого есть своя земля, свой дом. Родина большая, но есть место, что дороже всех мест. У меня это место — Волга. Есть второе — Ленинград. Здесь я прожил большую половину своих лет, здесь мой сын родился, здесь театр, в котором вся моя жизнь. Все города могут позавидовать моему городу. Нева! Она перед моими окнами. В белые ночи я жду, когда разведут мосты, и смотрю неотрывно, как по ней проплывают большие пароходы, баржи, самоходки, нефтеналивные танкеры. Они плывут на Волгу, а с Волги к нам на Неву, в Финский залив или прямо в Финляндию.

Смотрю на проплывающие корабли и точно читаю письма с Волги. Они соединяют меня с моим детством.

Помню, как привели меня в первый раз на пристань. У пристани стоял маленький пароход, я сначала смотрел на него сверху, с горы. Я тогда и не понял, что это настоящий пароход. Вблизи он показался мне страшным животным. От него шел пар, как от кипящего самовара. Но вдруг он засвистел, из длинного шипящего столба пара вырвался оглушительный звук. Что мне представилось в этом звуке, не помню, помню только, что бежал с пристани по песчаной дороге домой, песок задерживал ноги, они утопали в нем, а мне казалось, что меня хватает сзади это чудовище с оглушительным гудком. «И явится ангел с иерихонской трубой, и затрубит в нее громким голосом, и возвестит о скончании мира...» Это мне рассказывали божьи старушки у

огромной картины «Страшный суд», нарисованной на стене перед той стеклянной дверью, которая разбилась о мой тяжелый деревянный крест. Отец и мать бежали за мной и почему-то хохотали, мне было обидно, что они смеются, когда мне страшно.

Потом я привык и полюбил пароходные гудки, в них стала слышаться мне жизнь пароходная. Песни распевал человек, распевал песни и гудок, у каждого парохода, как и у человека, свой голос имелся. Раньше по гудкам узнавали название парохода, как по голосу узнают имя человека... Скучно мне теперь без гудков пароходных. Теперь гудят неживым голосом, звук идет не наружу, а вовнутрь. Утробный звук. Войну напоминает, гул самолетов.

... Ты разревелась, и у меня к горлу подкатился ком и долго не давал передохнуть от обиды, а может быть, от моей вины перед тобой. Ведь я старший был, а вынужден был сдать тебя в детский дом. Выхода не было. И вот через тринадцать лет (люблю цифру тринадцать — она для меня счастливая) мы встретились.

Я смотрел на тебя, всматривался в новую, незнакомую, совершенно не похожую на ту тихую, пришибленную маленькую девочку, у которой отобрали все. Передо мною стояла другая, стриженная. Я подумал, что ты стрижешься по детдомовской привычке. Потом-то ты рассказала, почему у тебя волосы не растут. И все-таки сквозь тебя новую проглядывала наша Юлька, доверчивая, простая, открытая, совсем еще девчонка. Словно молодая актриса исполняет взрослую роль.

Мы не знали, с чего начать нашу встречу. Столько всего нужно рассказать, столько концов висит от каждого рассказа, как спутанные нитки! Мы все выдергиваем концы. Начнем о чем-нибудь говорить — рассказ и обрывается.

Брат и сестра. Какими они должны быть? Нас разбросал всех тяжкий довоенный год, но до войны мы еще цеплялись друг за друга, знали, кто где, а в войну растерялись. Каждый сам по себе, не время своих разыскивать.

— Ну, как ты? Рассказывай. Ты артист, у тебя жизнь веселая, интересная. Тебя там наши ждут... руководство колхозное, МТС... Вопросов накопилось много...

— А я-то тут при чем?

— Как же не при чем? Ты самого Сталина играл. Лауреат! Ты, наверное, с ним встречаешься? Ты его видел?

— Нет, не видел. Только на портретах и в кино.

Мы смеялись, мы радовались, удивлялись и снова плакали, а рядом с нами незримо стояли наши сестры, брат, отец и мать. И они слушали наши рассказы.

— У нас в детдоме учительница была, она меня любила... По-настоящему. Я часто бывала у нее дома. Она все жалела меня, а чего меня жалеть, я ведь не одна такая... Я в седьмом классе была и любила петь, вот она и прицепилась: приходи да приходи, будешь у меня пению учиться. Хорошая была.

— Как ты похожа на мать... У матери точно такое лицо было, когда она прощалась со мною в последний раз. Помнишь, приезжал летом в тридцать седьмом?



— Мне бы хоть одним глазком взглянуть на отца и мать. Какие они? Словно в тумане: далеко-далеко, а вблизи никогда не видала. Позабыла...

Запомнились мне обрывки разговоров наших. Запомнилось, как мы на попутном бензовозе пристроились и ехали с пристани к тебе домой семьдесят километров.

— Да, разбросало нас по стране — я в Ленинграде, ты на Южном Урале, Нинка в Хабаровске, Алька — на Сахалине, а Анатолий в Ульяновске, в госпитале. Представь себе географическую карту, когда-то все были в одной точке, а теперь...

Ты все беспокоилась, удобно ли мне сидеть. Дорога такая, что каждой кочке отвечаешь: «Ух ты!», «Вот это да!», «Ой! Ё-маё!» Того и гляди, внутри что-нибудь оторвется. Это тебе не на палубе, не в каюте первого класса! Это наша русская дорога. Хорошо, черт возьми! Я такой же, как ты, дорога, — русский. Только наш русский мужик может тебя выдержать. Иностранец — нет, не выдержит, разобьется, задохнется от пыли.

Может быть, мы асфальт неправильно укладываем, может быть, спешим, торопимся? «И какой же русский не любит быстрой езды?» Да, торопимся, догонять надо. Хоть мы их и разбили в войне, а вот в мирном труде одолеть не можем. Я у немцев был, у наших восточных, вскоре после войны. Ехал по нашей территории — все разбито, ни одного вокзала целого не осталось, народ одет в то, в чем в войну ходил: телогреечки, ватнички, гимнастерки, костюм да пальто довоенного времени, а детям — что от взрослых осталось перекраивали.

А у немца!.. Смотрю, домик целенький, возле дома — цветочки, клумбочки, аллеечки. Сам стоит в белой, как снег, рубашечке. Я за такую рубашку двести рублей платил, чтобы на сцену в ней выйти, а он в такой точно огородик, садик с толстой сигарой во рту обрабатывает. И не спешит, не торопится. Мотороллер новенький, прислонясь у забора, отдыхает.

Кто кого победил?

В магазин войдешь — тряпья разного... Нам такое тряпье и во сне не снилось, а здесь все полки завалены. Наши на суточные, как куры в навозе копаются, выбирают: что получше, да подешевле, да повыгоднее, а немки в стороне стоят, посматривают, улыбаются...

А дороги? Автобаны железобетонные. Кое-где попадаются, правда, дыры от бомб, но уже гравием засыпаны. Ехали мы ночью в дождь проливной, не по автобану, а по дороге простой, проселочной, вроде как у нас от деревни до села. Видим, красный огонек помахивает, нам сигнал подает. Стоп. Стоит под плащом с капюшоном немец и нам говорит: «Achtung!» Это значит: «Внимание!» Асфальт разбит. Ямка полметровая. Сломать машину можно. А мы в ответ — пошел ты! Рванули через ямку. Ударились, стукнулись, что-то треснуло, и с хохотом помчались дальше. Знай, дескать, наших! Или дураки мы, или простофили, или уж такие умные, что наш ум глупостью часто оборачивается? Добра в нас, как и глупости, столько же, сколько нас самих.

Мы их с хлебом да с солью. С низкими поклонами, как при боярах в старину, при крепостном праве, с ручкой до самой земли, с кокошником и в красном сарафане, а на подносе рюмочка да бутылочка: «Пейте на

здоровьечко!» И с песнями народными, как в старину. Дорогой гость заморский рюмочку проглатывает, хлебцем закусывает и посмеивается. А мы-то рады! Мы-то счастливы! Ну как же! У нас все есть, а у него, у гостя, кризис! А мы и понятия не имеем, что такое кризис и как он, этот кризис, вблизи выглядит. «Критическое» — это мы понимаем, или «затруднение», и то «временное», а кризис... Это не у нас!

Марину Влади сейчас вспомнил. Снимался с ней в одном фильме про Чехова, она Лику Мизинову играла, а я отца Антона Павловича. К ней — как к иностранке, как к француженке, из Парижа приехала! У нас такой красавицы не только в России, но и во всех других пятнадцати республиках найти, видно, не могли. Так перед ней журналист на коленях интервью брал. Она встанет, на другое место отойдет, а под нее уже мягкое креслице подставляют и опять у ног интервью. А вместо нее на площадке актриса наша русская сидит, мается. На ней свет выверяют. Как будет готово, установят свет и пригласят заморскую кралю. А нашей и спасибо не скажут. А краля наша, русская, из бывшего Петербурга, теперь в Париже проживает. Она все поняла, все увидела и сама вызвалась сидеть. Оператор, как в парикмахерской, вокруг да около: «Вас не беспокоит? Вам не жарко? Может быть, поставить вентилятор? Перерыв! Актриса устала!» А нашу?! Без перерыва, без вентилятора, без извинений, до полубморочного дурмана поджаривают со всех сторон, и ничего! Наша! Привычная!

Для них, для тех, кто «оттуда», буфет отдельный, закрытый, а для нас — общий, мосфильмовский. «Мы против дискриминации, у нас ее нет». Откуда дискриминация? Какая дискриминация? Проверьте в гостиницах, в отелях, все номера открыты, если вы «оттуда». А если вы «отсюда» и без звонка или записочки, вон, на диванчик, или в креслице в вестибюле, или город посмотрите... Ночная Москва. Она как Париж — проституток в ней! Особенно в центре, на улице пролетарского писателя Максима Горького. Он про них в своих произведениях много написал, может, потому они на его улицу и тянутся.

Мы ехали долго. Короткие вопросы, такие же короткие ответы. Мы словно чужие, заново знакомимся. Мы так редко жили вместе! Когда уехал первый раз из дому, ты была совсем маленькой, а потом приезжал домой лишь на месяц, на неделю. Где нам было привыкнуть? Мы даже не переписывались, письма могли раскрыть мою тайну. Может быть, оттого я и теперь никогда не пишу писем.

Помнишь, до войны ты мне писала из детского дома совсем детские письма, а я на них не отвечал. Писать тебе боялся. В письмах ты не жаловалась, ты писала, что тебе хорошо: «Таких, как я, здесь много, дружу больше с мальчишками, они меня боятся. Очень хочется конфет, хоть каких-нибудь, нам дают их только в праздники. Чай с сахаром. Учусь хорошо, перешла, получила премию: книжку “Дед Мазай и зайцы”, прочитала, неинтересно. Нам бы про войну!.. Папу с мамой вспоминаю. Почему ты не пишешь? У нас никто не получает писем. Мы живем одни, я тоже тебе писать не буду».

Милая Юлька! Сейчас, когда мне уже за шестьдесят, то далекое прошлое и то страшное и тяжелое, что было в нашей с тобой жизни (да и не только в

нашей!) отзывается во мне жестокой несправедливостью. И я не вижу себе никакого оправдания, кроме страха, с которым мы с детства сроднились.

Страх — в нашей русской крови. Чем темнее народ, тем больше в нем страха. Страх был у всех. От одного страха освободили: убили Бога, разбили колокола, закрыли храмы, сожгли иконы. В городе, в котором я родился, впрягли вместо лошади отца Аникия в телегу и загнали до смерти. Гоняли вдоль ограды кладбищенской церкви. Сердце его не выдержало. Зато сердце выдержало у тех, кто его впрягал и гнал, и у тех, кто видел все это и не защитил, не остановил.

Страх перед новым страхом был сильнее страха прошлого. Детский дом — это твое счастье, твое спасение, это был единственный выход, чтобы как-нибудь жить и выжить. Твоего брата Анатолия избили палками-ширялками за то, что он поповский сын. Он на всю жизнь остался калекой. Если по голове бить, голова на вид остается такой же головой, только внутри нее происходят изменения. Он стал эпилептиком. Посмотришь на него — здоровый, коренастый, сильный, а как заговорит... Тырки-пырки-фай... цмы... оуф!.. Никакой переводчик не переведет, отшатнется, испугается.

Жил он в Москве, работал на кондитерской фабрике, потом в ансамбль поступил — Дунаевского, у него голос большой, хороший, лучше, чем у меня. Так он там в ансамбле такое запел, такие стал рулады выводить — всех перепугал. «Куда тебе с такой болезнью! Тебя в Столбы нужно отправить». Белые Столбы — место под Москвой, там сумасшедший дом помещается. Но в тот раз в Столбы он не попал, устроился на другую работу. Встретил девушку, полюбил, решил жениться, договорились о свадьбе. Он в те дни разгрузил целый вагон картона, чтобы денег на свадьбу заработать, да, видно, надорвался. Получил я от него письмо, и не из Москвы, а из Куйбышева. Почему из Куйбышева? Читаю: «Я скрыл от нее, что у меня бывают припадки, свадьба была назначена, и стол был накрыт, и гости названы, костюм себе купил, рубашку, галстук, я уже и оделся. И вдруг мне представилось, что в первую же ночь со мной тырки-пырки случатся. Пришел на Казанский вокзал, билет купил до Куйбышева, сел в поезд и уехал».

А в Столбах он побывал раньше, это я его туда отправил. Выпил он йод, весь рот обжог, слюна пошла густая, тягучая — то ли йод, то ли кровь изо рта тянулась... Мне посоветовали сдать его в приемник для психических больных. Я и сдал. Когда я вышел, то подумал: «Оттуда, куда я его поместил, обратно не возвращаются». Там я такое увидел, таких психически больных, что мой брат по сравнению с ними показался мне нормальным. Потом я долго себя ругал: «Зачем я это сделал?»

... Эх, Юлька, Юлька! Сколько нам нужно друг другу рассказать. Так до конца и не договорили. Все врозь. Все время в разных концах. А время не стоит, оно бежит, спохватишься, растормошишь себя, вспомнишь старое, а оно давным-давно прошло, это старое, копаешься в нем и случайно и не случайно вытаскиваешь свою и чужую вину, обсасываешь ее со всех сторон...

Я долго всматривался в движения твоей головы, рук, в твое лицо, в твои

глаза, вслушивался в твою речь. Я искал в тебе прошлое нашего дома, ты мне собой напоминала его, и я снова терял его, слушая твои рассказы, такие далекие и непонятные нашему прошлому дому. Ты родилась в то время, когда наш дом начал разрушаться. Нависла над домом опасность... Как ты похожа на мать! Это я говорю сейчас, когда тебя нет в живых. Я так тебе и не рассказал, какая была наша мать.

Мама! Ей было всего тридцать семь лет, когда ее увезли от нас, а на вид она была старухой. Я запомнил, когда они — отец и мать — меня провожали, кто-то сказал: «Смотри, старики плачут!»

Знаешь ты или нет, что родилась в Кузнецке, в Среднем Поволжье, сейчас это Пензенская область. Город, в котором хлеб пропах варом. Кроме сапожников, кожевников, кондитеров и пекарей, других профессий тут не было. Запах дубленой кожи, сливочной тянучки, горячих кренделей и поздней осенью — антоновских яблок. Нигде я потом не встречал такого запаха антоновских яблок, как в Кузнецке. А какие шились сапоги! Женские, мужские, детские... Ни в одной другой стране я не встречал таких сапог, как кузнецкие! А какие лапти плелись! Если бы американцы увидели теперь такие лапти, они щеголяли бы в них по Бродвею, а потом эта мода пришла бы к нам. Ходят же теперь и у нас в деревянных башмаках, оттого что лаптей хороших не видали... Кулачные бои, ярмарки — все было в этом городе. А какие пекли калачи! Высокие, с глазированным верхом, надавишь сверху до самой нижней корочки, отпустишь палец, и калач сам вздуется обратно и снова станет таким, как будто его и не трогали. Где они теперь, такие калачи? Куда делись, в какую вечность канули сапожники, кожевники, пекари-крендельщики? Где те художники-лапотники?.. А какие саночки для зимы делали! Маленькие и большие, резные, разрисованные. Где все это теперь? В музеях, в домах, в квартирах?

Жили мы бедно, хуже, чем в Балакове. В Балакове была корова. Она, буренушка, кормила нас, а здесь...

Помню, мы приехали в этот город осенью. Прощались с Волгой. Ух, какая она в октябре неприветливая, холодная, в гребешках раскосматилась, ни одной живой души. Мы на пристани, в ожидании парохода. Когда придет, никому не ведомо. Придет, говорят, а когда? Бог его знает, не сегодня, так завтра. А куда вам? Нам-то? Нам-то до Сызрани, а там на железную дорогу. Все мы продали — все, что с нами, только и осталось.

Сколько я тогда варенья съел малинового, ежевичного, после того раза никогда столько не съедал. А какое оно вкусное, когда его ешь не дома за столом, а на пристани! Разрешили нам его есть вместо обеда, и на первое, и на второе — одно варенье с хлебом. Хлеб не запомнил, запомнил варенье. Потом запомнил поезд, назывался он «Максим Горький», самый дешевый: маленькие вагончики, железные печки, фонарики, а в них стеариновые толстые свечи горят, наши лица высвечивают. За окном темно, в темноте разглядеть можно снег, островками белеет. Наверное, там, куда едем, будет зима. Чужой город и чужая зима. Какие там мальчишки? Дерутся или нет? Первый раз узнал я там про лыжи и в первый раз встал на них. Потом сделал себе собственные.

Балаково, где мы раньше жили, город деревенский, хотя имел

судоремонтный завод. Железной дороги не было, и когда наступала зима, Волга замерзала и жизнь останавливалась. Длиннее и страшнее балаковских ночей я не помню в своей жизни. Может быть, оттого, что много сказок про бандитов, про разбойников рассказывалось.

Но разбойников и бандитов я в Кузнецке увидел. Бегали мы, мальчишки, смотреть, как вели разбойников, пойманных в лесах; их вели под конвоем через площадь, в тюрьму, недалеко от вокзала. Они совсем не были похожи на тех балаковских разбойников из сказок. Шли простые мужики в сапогах и лаптях, руки перевязаны веревками, без ремней, и лица у них не страшные, а такие, как у всех. И даже жалко было их. Они окружены солдатами, сидящими на лошадях, и пешими с винтовками, направленными в их сторону. Им не убежать. Нас, мальчишек, отгонял милиционер, запугивал. В Кузнецке были деревянные тротуары, по этим деревянным мосткам мы бежали домой, и вдруг мне в пятку втыкается огромная заноза, в палец толщиной. Когда ее дома увидели, перепугались больше, чем бандитов. Заноза не вытаскивалась. Меня мальчишки притащили домой, и мой отец клещами зацепил и вытащил. Не заноза, а целое бревно!

Школа, где я учился, находилась на той же площади, где стояла церковь, в ней служил наш отец, в этой церкви тебя крестили. Незадолго до твоей смерти ты просила меня, чтобы я сходил и помолился за тебя, а я тебе сказал: «Сама сделай, сходи и помолись». «Я не умею, — ответила ты. — Я ни одной молитвы не знаю». «Без молитвы молись, своими словами, так тебе понятней будет. Ты говори, как ты мне говоришь. Так и ему рассказывай». «Сравнил! Тебе-то я все расскажу, а ему стыдно, а потом я не о себе, я о Таньке. Она у меня какая-то дурная. И в школе учится лесной. Там все такие, как она, ей бы в седьмом классе быть, а она все во втором сидит, у нее уже грудь видна, а в глазах пусто. Добрая такая, смиренная...»

— Работа у меня... Без водки ни одного дня не бывает, то одна комиссия, то другая, контролеры разные, начальство, и каждому поставь, каждого угощай и сама с ними выпивай. Раньше под Хабаровском жила, в воинской части работала. Согласно калькуляции все продукты в борщ, или в суп, или в рассольник полностью закладывала, а сюда приехала... Господи, как вы тут живете? Какие обеды едите? Ну, думаю, налажу производство. Месяца одного не проработала, все поняла. Переучиваться стала. На свою зарплату не наугощаешься — ее на два угощения хватит. Вон какая толстая — это не от здоровья, диабет во мне сидит, большой процент сахара. Врачи на диету сажают, а какая при моей работе может быть диета! Врачи говорят одно, а начальство — другое. «Пей, — говорят, — кроме пользы ничего не будет, ты с нами — мы с тобой, а все мы — одна семья». А я как выпью, так песни пою... Я тебе рассказывала, в детском доме из меня артистку сделать хотели. Я и стихи сочинять умею. Пою им, читаю. Я хоть и толстая, а сплясать живее тощей могу... Я тебе икону пришлю или сама привезу, у меня свекровь, а у нее икона, икона старая, старее старухи, я у нее выпрошу, ты иконы собираешь, а ей она ненужная, не молится, не крестится... Муж у меня совсем никудышный, алкоголик настоящий, он из-за этой водки в растрату попал, мы потому из

Хабаровска и уехали. Я за него все долги выплатила, а то был бы в тюрьме. Везет мне на кладовщиков: первый муж кладовщик был и второй. Тот-то хоть не пил, а тоже воровал, потому и ушла от него. А ну их... Первого я не любила, а с этим живу, жалкий такой, бросишь его — пропадет. Единственное мое утешение — это сын. От первого брака, летчик он у меня, военный, любит меня. Ты бы приехал к нам во Ржев, вместе с Натэллой, как бы ты мне помог своим приездом! Отдохнул бы... У нас твоя любимая Волга. Вот в отпуск и приезжай... А за Волгой какие места!.. У нас ее начало... А потом — никакой заботы, все беру на себя...

Что такое счастье? Когда оно приходит и чем измеряется? Не слишком ли часто мы говорим о своем счастье и превращаем это понятие в пустое слово? Навязываем это слово другим, даже самым маленьким, влезает в детскую головку и засоряет ее словами, смысл которых мы, взрослые, до конца не разумеем. Время определяет это понятие для каждого из нас, прожитая жизнь... Помню, как ты рассказывала мне о том, что ты счастливая. Я слушал и ушам своим не верил. Помню твои рассказы о том, что тебе пришлось испытать, что ты пережила, когда немцы бомбили Красный Холм, как твою детдомовскую подружку, с которой ты бежала, уцепившись за ее руку убило бомбой, а у тебя в руке осталась ее рука, и тебя эта бомба ни чуточки не тронула... «Раз! Взрыв! Ее нет, а я жива! Только рука ее осталась...»

— Дали нам по три рубля, посадили в поезд и отправили на восток. Поезд до того востока не дошел, по дороге нас все время бомбили. Мы бежали, пешком шли, спали на улице, в лесу, в поле. Нас было много, не я одна, детдомовские наши и воспитатели. Всех растеряла, одна осталась. Все с себя продала, в одной рубашке осталась, жрать-то что-нибудь нужно!

Ты рассказала о своем пути до Урала. Я этот рассказ пересказать не берусь — воображения не хватит. Отношение мое к тем событиям, к тем фактам, о которых ты с юмором и смехом рассказывала, было совсем обратное твоему. Мне было совсем не смешно, а страшно. Я сам испытал и повидал многое, особенно до войны, когда пережил голод в тысяча девятьсот тридцать третьем году в Нижнем Поволжье. Но я мужчина, а ты девчонка... И только в конце рассказа ты вдруг заплакала и, поглаживая свою голову, сказала: «Вот только волосы теперь не растут».

Я, наверное, эгоист: я тогда подумал, как мы неправильно играем на сцене, когда изображаем горе, то есть рассказываем про пережитое всегда в трагических тонах. Мы усиливаем переживание всеми сценическими средствами, впадаем в извечное актерское удовольствие пострадать, поплакать, самоуверенно доказывая зрителю, что герой точно так же переживал и точно так же лил слезы, когда рассказывал о своих страданиях. Мы впадаем в мелодраму и далеки от подлинной драмы, от трагедии.

Эгоист я потому, что, переживая рассказ сестры, думал о своей профессии. И так, наверное, со мной случалось всегда. Никогда целиком не отдавал я себя чувству другого, всегда оставлял место в душе для своих собственных актерских дел. Какая-то раздвоенность во мне, словно во мне два человека.

Один — это я, другой — тот, что следит, что и как происходит с моим первым «я», и фиксирует, откладывает в своей памяти происходящее, оставаясь холодным, отстраненным наблюдателем. Оттого, наверное, про меня некоторые мои родные говорят, что я черствый человек. Откуда у меня такая раздвоенность? Родился я таким? Или приобрел это качество по дороге жизни, может быть, кто-нибудь подсказал?..

Вспомнил! Педагог по мастерству актера, Алексей Митрофанович Петров, великолепный артист Театра Красной Армии в Москве. Он нам, студентам первого курса, говорил:

— Наблюдайте в жизни за всем, что будет происходить с вами и с другими, научитесь останавливать свои чувства и запоминать, что и как происходило с вами в данный момент, даже в моменты самого большого горя, когда теряете близкого человека. Заставьте себя и в этом случае остановиться и запомнить, что происходило с вами, что вы делали, точнее — как. У вас накопится столько выразительных средств, своих собственных, что вам не придется заимствовать их у других, а точнее — воровать у других и выдавать за свои собственные находки.

... Мы стояли у плетня твоего дома. Недалеко от него был клуб, там уже собиралась молодежь «смотреть кино». Девчонки все были с длинными волосами, может быть, ты потому и заплакала и показала мне свою стриженую голову: тебе стало обидно и больно за твою неполноценность в сравнении с другими, у которых нормально растут волосы — их можно причесывать, укладывать, завивать или длинную косу вырастить, а ты этого сделать не можешь, вон они и торчат у тебя ежиком.

— Да ты не плачь!

— Не плачь! Легко сказать. Совсем не растут!

В клубе шла картина «Кубанские казаки», после каждой части — маленький перерыв, перезарядка аппарата. На улице стоял движок, и слышно, как глухо хлопал мотор. В зрительном зале жарко, потные тела, потные лица. Я вспомнил Самару, детство, немое кино, билеты нумерованные: садись куда успел. В зрительный зал не входили, плотной толпой туда втискивались, в дверях всегда пробки. Здесь, в твоём клубе, этого не было, но мальчишки, так же как и мы когда-то, сидели на полу и в перерывах между частями перед пустым экраном говорили при зажженной электрической лампочке о том, что жизнь на экране продолжается и в перерывах.

В первый вечер моего приезда собрались в доме гости, были устроены смотрины. Артист приехал, родной брат жены кладовщика, Юлькин брат! Лауреат Сталинской премии! Первой степени! Его портреты в газетах печатали! Похож, похож... На кого похож — на Сталина или на Юльку?.. Не расслышал. За столом вся сельская знать, ниже бухгалтера никого не позвали. Председатель и секретарь сельсовета, бухгалтер, бригадиры местного колхоза, директор и секретарь парткома МТС, свекр, свекровь и муж — плотный, маленький, круглолицый, с маленькими серыми глазками, носик пупочкой, рот расплылся в улыбке, весь вечер рядом со мной — смотрите, завидуйте, вот

какой у меня родственник! Первый тост за Сталина. Уррр-аа! Все крикнули «ура» и по граненому стаканчику до дна проглотили. Потом за меня, за лауреата, опять за Сталина. Вдруг председатель колхоза обращается ко мне с просьбой:

— Вот вы встречаетесь со Сталиным. Я это знаю. Мне зять говорил.

— Я с ним никогда не встречался, — отвечаю ему.

— Ну как же! Вы его показываете, мы ведь газеты читаем. Мы ведь все понимаем!

— Честное слово, — говорю, — кроме как на демонстрации на Мавзолее и один раз на похоронах Сэн Катаямы, он гроб нес. В кино видел, а так никогда не встречался.

— Ну, может быть, это ваш секрет?.. Вы живете там, близко, как-нибудь сказали бы ему... В колхозе задолженность по трудодням, еще с довоенных лет. Колхознику не на что жить. Все его богатство — маленький огородишко. Картошка, только картошка, а хлеба нет. Хлеб мы колхознику должны на его трудодни. А мы весь хлеб сдаем государству. Мы не жалуемся, нет, мы понимаем, война. Но...

Что я мог ему ответить тогда? Какой простой, какой наивный наш народ, думал я, Добчинские и Бобчинские не перевелись...

Эх, война, война, что ты наделала? Сколько бед принесла, и чего только русский народ на своих плечах не таскал, не вытаскивал. Другой бы давно надорвался, а он смеется и песни поет. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

Так я и не приехал к тебе больше, а ведь мог бы! Что стоило — поездом одну ночь, пять-десять дней мог вырвать, да хотя бы на один или на два дня, праздник устроил бы для сестры, помог бы ей — ведь так меня просила! А теперь уж и ехать не к кому...

## **НА ВОЛГЕ** **(Цена человека)**

... Вот она, Волга! Вот она — моя любимая! Вот она, моя несравненная! Как я скучал по тебе! Жил на Куре девять лет. Разве это река? Мутный, бурый ручей. Жил на море. Тоска, одна тоска, и потом — нет берегов. А на Волге — берега. Стоишь на одном, кричишь на другой — тебя слышат. А на море никто не услышит. А услышат — не поймут, не ответят. Чужой берег, чужой язык. А на Волге язык один — волжский. Пошлешь на ту сторону русское слово, понесется оно по Волге, по ее глади, стукнется о берег и вернется обратно эхом. Восторг! Плынешь, а навстречу тебе плывут берега с русскими, татарами, чувашами, мордовцами, немцами, калмыками, и все они — мои земляки, волжане. А степи? А леса? А Жигулевские горы? А воздух? Дуб, береза, полынь, мед, вобла, смола, степь, грибы — все смешалось в один волжский воздух. А вода? Нет такой другой воды, как на Волге.

Плынешь — и будто бы конец, кончилась Волга. Но развернулся



пароход — и развернулись берега, и развернулась Волга. Широкая, бесконечная. Смотри, какая я! Ты думал, мне конец, а я вот какая! Посмотри, полюбуйся, задохнуться можно...

Я ехал к сестре. По Волге, потом по Кама. На листке календаря — долгожданный июль месяц. А на реке — октябрь. Холодный, дождливый. Вода серая, мрачная. И все равно хорошо. Когда любишь — все кажется хорошим. С большой дороги мы сворачиваем влево. Здесь соединяются две реки: одна — серая, стальная; другая — желтая, мутная, с глиной смешанная. Так и уходят вниз две реки, две дороги — желтая и серая. Кама и Волга. Там, внизу, Волга смешает свои воды с камской и унесет все в далекий Каспий. Волга ведь сильнее.

И вот она, Кама. Незнакомая, дикая, страшная, но красивая. Идет дождь, как в Ленинграде, мелкий-мелкий, с туманом. Льет сверху, льет снизу, льет с боков. Дождь, дождь, дождь, бесконечный дождь. Холодно и зябко. В каютах днем горит свет, сидят сонные, унылые, грустные, тоскливые, а пароход идет, идет... Через толщу дождя и тумана еле-еле видны, то исчезая, то возникая с той и с другой стороны, берега. Высокие, темные, крутые, обрезанные бесконечными облаками. Нет встречных пароходов, барж, буксиров. Все это осталось на Волге, на широкой главной дороге. А здесь дорога проселочная, идущая лесом. Вечером дождь, ночью дождь, утром опять дождь...

Поздний вечер, кругом черно. Где-то далеко впереди тускло горит огонек бакена, небо звездное, холодное. На палубе ветер. Вдруг свисток парохода. Должна быть пристань. Пароход замедлил ход, а пристани нет. Ну, наконец, вот она. В небе огонек «летучей мыши», потом показалась крыша, потом фонарь. Теперь внизу «летучая мышь» качается в руке бабы, одетой в тулуп и валенки. Она на пристани. Мы подошли совсем близко. Что-то шлепнулось в воду. Наверное, чалка. Промахнулся матрос. Эх ты, недотепа! И вдруг голос — тревожный, короткий, зовущий: «Мама, мама!» Я посмотрел вниз и увидел между пристанью и пароходом, в кипящей воде маленькую детскую головку, ее несло туда, назад, откуда мы пришли. Я сорвал спасательный круг, бросил его в воду, но не попал. Он упал рядом и вместе с головкой исчез в темноте. По краю пристани бежала собака. Она бежала в ту сторону, куда исчезла головка. Добравшись до конца пристани, собака стала выть, выть, выть. Долго выла и вдруг замолчала. Стало тихо-тихо. Слышно, как играла и шлепалась о борт пристани вода, со свистом шипел, захлебывался пар от парохода. Звенела цепь. На пристани кто-то нервно отвязывал лодку. Цепь не развязывалась. Шум воды, захлебывающийся пар, звон цепи. Все это без слов, тихо. Все замерли. Цепь отвязалась, в лодку сели двое и ушли в темноту. И долго висело в воздухе слово длинное, протяжное, страшное: «Нету-у-у-у... нету-у-у-у... нет-у-у-у...» На верхней палубе собрались люди. Внизу на корме голоса:

— Может, нашли?

— Да нет! Крикнул бы, сказал бы!

— Да уж куда тут, тут спортсмен потонет, не то чтоб кто другой, а то ребенок, девчонка!

— Лодка возвращается, слышите?..

Лодка шла назад. Ее не было видно, был слышен приближающийся всплеск воды от весел да стоны уключин. Лодка подошла и сказала: «Нету, не нашли...»

Пароход подтянули к пристани, спустили трап. Я пошел узнать, как же это случилось, почему случилось.

Внизу, в четвертом классе, на железном полу, около машинного отделения и большого бака с кипятком сидела баба. Она не плакала. Она покачивалась вперед и назад и смотрела на нас, любопытных. А рядом — дети: один, второй, много... Один спал, из-под тряпья были видны две грязные ноги без ботинок. Рядом с матерью сидела девочка лет семи, она молча, широко раскрыв глаза, смотрела на мать. Мальчишка, маленький совсем, хныкал: «Мамка, где Катька? Мамка, где Катька?»

— Да замолчи ты! — баба шлепнула его по голове, сын замолчал.

Я слышу, кто-то пересказывает:

— Девчонка захотела в туалет, ну и пошла. А сама-то спросонья. Туалет-то там, у выхода. Ну, а тут как раз пристань. Двери открыты, кто ж думал, что она туда пойдет. Воды-то не видно, видна пристань, стена деревянная. Ну и пошла, и прямо туды, в воду — бултых! Вот и все. Там-то, конечно, очнулась. Да уж поздно. Да нет, не найти, пропала. Утопла.

Народ стоял полукольцом у раскачивающейся бабы. Ярко светила электрическая лампочка. Тепло от машинного отделения, от бака с кипятком, запах смолы, машинного масла, железа, мочи и человеческого пота. А кругом на полу лежат аккуратно сложенные и упакованные детали машин: огромная шестерня, круги проволоки, кабель, намотанный на белую катушку. Что-то закрыто брезентом, дальше — мешки, ящики. В тряпье, на голом железе качается баба. Лежат и сидят дети.

— Я не понимаю, чего вы сидите? Надо встать, сойти с парохода. Тело всплывет, оно всегда всплывает. Нужно поискать, найти и захоронить, — сказала женщина, которую я видел в салоне первого класса.

А баба сидела, сложив руки на животе, вытянув вперед голые ноги, причитала: «Милая, я ж билет купила, я ж билет купила... У меня их вон сколько... прибрал Господь одну... прибрал». И кланялась вперед — назад, вперед — назад...

Я отошел. Я всегда дружу с матросами, с командой. Я с ними выпиваю, ем уху, смеемся, поем песни... Матрос говорит: «Вот едрена мать, теперь премию не получим».

— Почему? — спросил я.

— ЧП! ЧП! — ответил матрос.

Я вспомнил собаку. Она выла, плакала, она кричала: «Человек утонул!» Мать сказала: «Милая, я ж билет купила». А матрос выругался и сказал: «Премию не получим».

Вот и все. Составили акт. Подписали. Никто не сошел с парохода. Мы отчалили и ушли.

Тело всплывет. Где-нибудь да всплывет. Найдут, составят акт. А может быть, и не найдут. Зацепится тело за корягу и будет висеть долго-долго, пока

солнце и вода не довершат свое дело.

## БОЛЬНИЦА

За окном — остатки белых ночей. В больничной палате над прикрытым простынею вздутым животом сидели друг против друга две женщины: одна — сестра больного, другая — первая жена. Они так низко наклонили головы, что их подбородки почти касались вздутого живота. И только тогда, когда в животе просыпался улюлюкающий звук, они откидывались, прислушиваясь и обдумывая: что бы это могло быть? «Господи, как ему больно! Бедный животик, как ему больно», — говорили они. Животик, помолчав немного, продолжал грустную песенку: «Блюм-блюм-фрю-уть!» — молил о помощи, взывал тоскливо, однообразно, бесконечно. «Словно сверчок в живот забрался и не может вылезти. Наказание-то какое, а?» — шепотом сказала сестра.

Женщины охали, вздыхали, помочь ничем не могли и все повторяли: «Господи, как ему больно-то! Бедный, бедный животик!» Когда сверчок замолкал, они снова наклонялись и продолжали прерванный разговор.

— Вчера на рынке была. Ужасно все дорого! Дешевле пяти рублей ничего нет. Все с ума посходили.

— Ну, а Любка-то? Как она? С кем теперь? — спрашивала первая жена.

— Б...ща настоящая! Ей хоть бы что! С нее как с гуся вода!

— Корова-то цела? Или продала?

— А зачем ей продавать? Ей корма Федор Иваныч привозит! Он с нее за это натурой берет. Ее на пятерых мужиков хватит!

Помолчали. Им бы прикорнуть с часок, но языки так и чешутся.

— Тишина-то какая, и не храпит никто, усыпили, что ли? Словно мертвые, и не стонет никто.

— Зачем им стонать? Наш-то последнее доживает, ему бы стонать, ему тяжелее всех.

— Сколько же их? И все в одной палате.

— Пршлое воскресенье — шипела сестра, — прощаться приходили. Вся родня, и его и ее. Врачи объявили... Слез было! Но не при нем, при нем плакать не разрешили, но он все равно догадался. Как это так вдруг все в одно воскресенье? И по одному входят? Он мне сам сказывал. Я уж молчала.

Сверчок на этих словах длинно-длинно чего-то запросил — фрь-рь-ють-фрь-рь-ють... И опять:

— Господи боже мой, как ему больно-то, бедный животик!

А у больного не животик, а огромный вздутый живот, как бычий пузырь. Он один только и остался, остальное — кожа да кости. Врачи давно приговорили его к смерти, и только что-то непонятное задерживало его на этом свете. Больной и сам понимал, что смерть близка, чувствовал ее. Она, смерть, ходила или лежала где-то рядом. Очнувшись, он всегда спрашивал: «Где я?» А проснувшись, стонал, выл. Вой глухой, словно из-под земли.

Больные вызывали медицинскую сестру, умоляли сделать ему укол. Когда стаскивали с него простыню, виден был желтый пергаментный живот —

географическая карта, на которой кто-то синим карандашом разрисовал большие и маленькие реки.

У него был рак. Как ни старались врачи скрыть это от лежавших в палате, те каким-то образом узнали. Когда меня привезли и положили рядом с его кроватью, сосед с другой стороны безо всякого страха показал на него, подкрепив приговор крестом правой руки в воздухе. Потом сказал с усмешкой: «Рак, рачок!» И добавил: «Всех нас ждет такой, только куда вползет, где обоснуется?» Я ему из анекдота хотел сказать: «Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие!» Но не сказал, а стал внимательно прислушиваться к себе. Боль в правом боку, другой боли нет, и желтых пятен ни на руках, ни на теле, нигде ничего не видно...

Больница есть больница — в ней болеют. Попав в нее, и здоровый может заболеть — обязательно найдутся какие-нибудь болячки. Если их у тебя нет, все равно будет казаться, что они есть. Какой-то доктор-юморист сказал: «Если вам пятьдесят лет и у вас ничего не болит, считайте, что вы умерли». Прислушиваешься к рассказам больных о своих болях и невольно ищешь их у себя. И находишь.

Меня привезли в полубессознательном состоянии с резкой болью в правом боку. Я так корчился и извивался, что в «Скорой помощи», куда меня втащили, первый вопрос был:

— Ножевое?

— Нет. Мы сидели за столом... и вот вдруг такое!

Как с меня всю одежду сняли, не помню. Очнулся голым и услышал голос товарища:

— Лауреат Сталинской премии первой степени!

Слышали там или не слышали, но мне всунули сразу три градусника (может, как лауреату) — под правую и под левую руку, третий между ног, в задний проход. Такого я еще не испытывал. Я перепугался людей в белых халатах — ни одного знакомого лица. Плачет жена, значит, дело серьезное, случилось что-то плохое. Наверное, мне сделали какой-нибудь укол, потому что боль прошла. Может, с перепугу, но я стал понимать, где я и что лежу на высоком столе и слышу, как про меня рассказывают.

— Сидели за столом, выпивали. Он всех смешил. Потом вдруг сполз со стула под стол. Мы думали, этюд делает. Хохотали, а он стал биться головой, кататься по полу, потом выскочил на балкон, и когда перевесился через решетку, мы его схватили. Остановили первую попавшуюся машину и прямо к вам.

Рассказчик волновался, говорил рвано. Я от себя добавил:

— Ни рук, ни ног, ни головы не чувствовал, как будто бы меня всего и не было, только маленький кружочек вот здесь... — и показал рукой под правое ребро.

Меня быстро повезли по длинному коридору. Открывались и закрывались двери, и в голове у меня тоже открывались и закрывались двери, быстро проплывала жизнь. Проплыла плачущая жена, осиротевший двухгодовалый

сын... Куда везут?.. Поднимают на лифте, опять длинный коридор... У меня бегут короткие мысли: денег нет, квартира голая, продать или заложить в ломбард нечего, и так все заложено. На что будут жить? Жена не работает. Как ей работать, когда на ней трое: сын да два маленьких племянника, она им как мать.

Обрываются мысли.

Меня переносят на холодный железный стол, накрывают простыней, опускают железный квадрат с трубой. Рентген.

Делают снимки, а в голове моей тоже идут снимки. Жена просит милостыню... Сегодняшний вечер... я пью коньяк... день рождения у подруги жены. За столом я и еще философ из Высшей партийной школы. Нам мало, прошу чего-нибудь еще. Спирт, настоянный на перце, лечит радикулит. Давай! Рванули мы с философом и закусили проклятыми шпротами. Философу ничего, а у меня кружочек под ребром, словно нож воткнули... Ух, эти шпроты, они виноваты!

Я не пьющий. Жена это знает. Но однажды после дневного спектакля так с товарищами набрался — еле на ногах стоял. Вечером шефский концерт в артиллерийском училище. Домой пришел, а дома уже офицер ждет. Жена меня заперла и строгим голосом отдала приказ: «Никуда не пойдешь!» Я не испугался. «Я должен выполнить свой долг перед Родиной — выступить перед курсантами. И если мне дверь не откроешь, вылезу через форточку!» Жена перепугалась, мы жили на четвертом этаже. Слышу, и офицер жену успокаивает: мы, говорит, дадим ему отдохнуть. Ну меня и выпустили, а то мог бы и в форточку...

Долго мне аплодировали, да и сам чувствовал, что играл хорошо. Отрывок назывался «На улице Счастливой».

... Когда привезли в палату и переложили на кровать, я понял, что меня поместили к умирающим. Сосед справа казался мертвым, вместо головы — череп с отвисшей челюстью, обтянутый тонкой кожицей. Его тело загораживал огромный женский жирный таз, он не умещался на табурете и свисал по бокам, обтянутый белым халатом. Мне сказали, чтобы я лежал на спине и не вставал, сделали еще укол и ушли.

Недолго я рассматривал остальных. Подумал: конец.

Как же так?! Не может этого быть! Я еще молодой! Нет! Нет! Я стал бороться с ней, гнать ее от себя.

У меня был случай, когда я поборол смерть, убил ее в своей комнате. Она лежала на диване в Тбилиси и звала мою жену, первую жену. Малышку. Малышка была больна туберкулезом и скрывала это от меня. Вдруг ночью — рвота кровью. Ее отвезли в диспансер. Меня обвинили в том, что я ее до этого довел. Ну, может, часть моей вины и была, не знаю, может быть... Влюбился в другую. Стихи она писала. У Малышки стихов не было. Голос был, и хороший голос. Ей бы в опере петь, а она в драматический театр пошла. Не хотел я, чтобы жена моя была актрисой. Дочка от нее осталась, а жизнь не получилась.

Может быть, я легкомысленный, не умел строить семейную жизнь. На это

тоже должен быть талант или большое терпение, а у меня ни того ни другого. Виноват больше всего перед дочерью. Теперь у меня ее нет, муж ее увез. Далеко.

... Малышка в диспансере, я — дома. Южные ночи темные, наша комната маленькая, шкаф, диван, стол и кровать. Между ними маленькое пространство, в котором мы жили — двигались. Ночь, я сплю, и вдруг — светло, светлее дня, а на диване лежит она — смерть. Черной простыней накрыта. Диван тоже черный, клеенчатый, а смерть желтая. Желтый череп с длинными белыми зубами и кости рук с длинными пальцами. Она протянула руку, скрипучим пальчиком манит меня и ржавым голосом: «Иди сюда, иди!» А Малышка лежит не со мною, а как будто на другой кровати. Я сел, схватил подушку за угол и сказал смерти: «Только тронь, стерва такая!» Размахнулся и сильно ударил ее. И вдруг стало темно.

Долго я не мог понять, где я. Ощупывал руками стену, кровать, нашел окно, понял — у себя в комнате...

И сейчас в больничной палате я стал вглядываться в темные углы, угадывать больных. Увидел остаток белых ночей в окне, затянутом марлей. Все смерть искал. Пока рассматривал да переживал, не заметил, как уснул.

Утром положили мне на грудь тарелку манной каши, сваренной на воде, и сырое яйцо. Умиравшему справа вставляли газовую трубку, тазобедренная кость выпирала, как половинка старого детского мяча, видны были круглые кости коленок и коричневые подошвы ног. Каша и сырое яйцо не лезли мне в глотку. Слева лежал выздоравливающий, он-то мне и показал на моего соседа: «Рак, рачок!»

Прошло много лет. Вспоминаю то время и думаю: где еще, как не в больнице, можно так разглядеть и понять человека? Увидеть и услышать от него, каков он есть. Нигде так не раскрывается человек, как в больнице. Да еще в поезде, когда едешь в дальнюю дорогу. Но там по-другому. Ритм другой.

Надевая больничную одежду, все становятся одинаковыми, как в бане. Правда, лица у всех и одинаковые и неодинаковые. Тоска, печаль, страдания. С лиц смываются естественные краски, они становятся поношенными, потертыми.

В больнице открывается перед человеком конечная перспектива его жизни — смерть. Все здесь напоминает ему о ней, как бы ни старались его отвлечь цветками в горшках, — сама больница, запахи ее, носилки, коляски, иголки, шприцы. Все, кроме самих врачей, тут иное, чем там, на воле...

На врачей вся надежда. От них пахнет здоровьем. Они могут спасти, вытащить из больничной койки и отправить на улицу, на работу, домой. Какими глазами, с какой надеждой и страхом смотрят на врача глаза больного, заглядывают ему в душу, измеряют глубину его сердца. Какой он, врач? Сердечный или бессердечный, мясник или настоящий хирург, известный или так себе, русский, например, или еврей?

Каждый больной хочет узнать от врача всю правду про свою болезнь и, как у кукушки в лесу, спрашивает, сколько осталось, сколько осталось... Как будто

бы кукушка знает! Одна прокукует столько, что и со счета можно сбиться, другая промолчит или прокукует три раза и улетит. Несколько кукушек, помню, накуковали нашему заведующему режиссерским управлением смерть. У него четверть легкого осталось. Ему тогда тридцать было. А похоронили его в семьдесят пять! И войну, и блокаду пережил, и пил, и курил, и в актрису был влюблен... Грядущая смерть вызывает в человеке самое сильное ощущение бытия, устраивает ему встречу с самим собой, с совестью, со всей прожитой жизнью. Приходит ощущение твоей временности, неизбежности конца. Потому она и страшна, смерть, что вызывает в тебе прожитую жизнь как жизнь умершего. И переиграть ее заново нельзя...

Ночь. Не спят больные. В палате восемь человек. Как улица — кровати справа и слева, в середине проход. Для тех, кого нужно привезти и увезти.

У больного на другой стороне улицы началась предсмертная агония — кажется, так она называется. У него короткий вздох и длинный горловой выдох: «ыы-оох-ыых!» Короткое «ссс» и длинное «ыы-оох-ыых!» Он уже с того света воет.

Его вчера привезли. Открылась дверь, две нянечки ввели живого мертвеца: вместо лица широко раскрытые перламутровые глаза. Они смотрели перед собой воспаленным мутным взглядом. Руки длинными пустыми рукавами свисали с плеч нянечек до самого пола. Три головы — две живые и одна мертвая. Нянечки на согнутых ногах удерживали его, чтобы не вывалился из коляски, у него не было сил сидеть.

Он реабилитированный. Ехал домой. До дома не доехал, ссадили с поезда и привезли в больницу умирать. Уложили в кровать, поставили две капельницы к голым ногам, и вот ночью он умирает. Никто не мог спать, никакие снотворные не могли заглушить его агонии. Больной из дальнего темного угла умоляюще просит:

— Браток, а браток, ты туфлей его, туфлей... помоги ему!

А сосед справа вдруг поднялся, оторвался от подушки и тревожно, перепуганно спрашивает:

— Умирает, да? Умирает?

Я подумал: может быть, он оттого спрашивает, что чувствует и свою смерть, она заставит и его так мучиться.

— Браток, а браток, ты его туфлей, туфлей его! Помоги ему!

Бледнее рассвет за окном. В коридоре за стеклянной дверью желтоватый свет электрической лампочки. Стало тихо. Две нянечки-старушки подошли к кровати, прислушались, посмотрели на успокоившееся тело, посмотрели друг другу в глаза и наклоном головы сказали: «Все!» И, завернув мертвое тело в простыню, увезли из палаты. Освободилось место для другого.

Поменяли простыни, наволочку, застелили кровать другим одеялом. Осиротевшая, чистая, свежая стоит она и ждет следующего.

После того, что видел, по-иному думается о кровати, на которой лежишь. Всем телом чувствуешь холодный матрац. И на этой кровати была уже чья-то агония, и точно так же нянечки кого-то завертывали и увозили, а потом меняли

простыни, накрывали одеялом и ставили поверх белую подушку углом.

Не смотришь на ту постель. Взгляд мимо проходит. Простыни поменяли, а смерть осталась, в палате стало холодно.

... А на другой день сестра соседа, у которой обтянутый халатом зад свисал по обе стороны табурета, шептала брату:

— Ты пойми, ей хочется с тобою повидаться. Посмотреть хочет на тебя. Как-никак, а лучшие свои годы с ней прожил. Ну бездетная, а что тебе с детной-то уж больно хорошо, да?

— Ну что ты говоришь, чего ты привязалась? — через силу умоляет сосед. — Куда она придет? А Тоська-то моя? Она каждый день бывает, от детей, от работы себя оторвет, а придет. Встретятся здесь, что тогда будет?

— А мы не без ума сделаем. Мы сделаем так: Тоська-то на работе будет, я к тебе ее и приведу. Ей повидаться с тобою хочется. Очень хочется. Пойми! Ты что, боишься, что ль?

— Ну ладно, давай.

И вот она пришла, первая его жена. Остановилась в проеме двери, все оглянулись на нее. Первый раз явилась такая — ядреная, словно сливки, взбитая, с копною рыжеватых волос, голубоглазая. В руке банка с клубникой, в другой — большой красный помидор. И губы красные, вывороченные, и грудь, как два футбольных мяча, и вся она футбольная. Она всматривалась в каждого, пока ее глаз не остановился на моем соседе.

Глаза их встретились. Она прошла медленной походкой, и все в ней говорило: жил бы со мной, такого с тобой не случилось бы. Молча положила на тумбочку банку клубники и помидор, нагнулась к лежащему и поцеловала его.

— Я хочу сесть, — сказал больной.

Она помогла ему подняться, села рядом и, обхватив рукою, крепко прижала к себе и что-то шептала на ухо. Он сидел молчаливый, тихий и покорный. Потом стал постепенно выпрямляться, голова поднялась, отчего шея стала длиннее. Он оглядел трясущейся головой всех нас, и мы поняли то, что он хотел сказать нам, этот оживший мужик: «Вот какая у меня! У вас такой нет!»

... Какая могучая сила в женщине, в ее груди, руках, ногах, и какая она сама, вся соткана из чего-то мощного, зовущего! Правду говорят — в женщине сидит черт. Дьяволица! От нее на расстоянии бьет током.

Ни одно лекарство, ни один укол и ни одна капельница не могли сделать его таким, каким он смотрел сейчас на нас. Я сам почувствовал, как в ребро его воткнулась женская грудь и соском пробуравила то место, где рождается желание. Она вползла в него вся, и скелет ожил. Вот оно где, чудо! Оно свершалось у нас на глазах. Как это врачам не приходит в голову — лечить тем, что заложено в человеке самой природой!

Но я обманулся. Он стал увядать, гаснуть и совсем сник.

— Больно?

— Больно... очень болит... укол сделайте мне, укол!

Ему сделали укол и он затих. А сверчок ожил и запел свою заунывную песнь: «фрь-и-ють».



Что заставило эту женщину прийти перед самой его смертью?

— Завтра ночью приходи... ее не будет... у нее завтра смена ночная.

Свидание закончилось, и обе женщины ушли.

А Тоська, теперешняя жена? Придет уставшая, серое измученное лицо. Баба... Бабьего в ней осталось только чтобы ходить за больным: подмывать, вычищать, подстилать, успокаивать, улыбаться. А потом выскочить в коридор, чтобы муж не заметил, выплакаться, пореветь по-бабьи, с причитаниями, и бежать домой. Там дети, одному — три, другому — годик. Напоить, накормить надо, да еще сказку рассказать, постирать, погладить. В голове одна дума — как жить без него? Уж совсем немного, говорят, осталось...

Как все мы похожи! Одни и те же мысли у всех, когда в больнице тот, от кого зависит жизнь. Как прожить без него? За что уцепиться? К кому обратиться? Выслушают, посочувствуют, ссуду одновременную дадут. Да разве заменит она отца, мужа? Похоронить-то как-нибудь похоронят, и с музыкой, и с цветами. Речи хорошие говорить будут, не рядовой ведь какой-нибудь. Заместитель начальника УВД города Кронштадта! Вся милиция придет... Вся... А сколько ее там всей-то? Одно начальство да рядовых чуток, вот тебе и вся милиция...

Первая жена вон с чем пришла! Клубника, помидор. И это в начале июля, в Ленинграде! Какие нужны деньги, чтобы купить такое? Кем она работает? Директором магазина или столовой. Хорошо им, кто работает в таких местах. И в войну и без войны — всегда сыты и одеты.

... Я засыпаю. Сон в больнице вязкий, крепкий и рыхлый. Видения чередой идут, обрываются, снова возникают.

Вижу себя студентом. Карманы не деньгами набиты, а светлым будущим. Столько раз в милицию приводили за безбилетный проезд, пока сама милиция поняла, что с меня нечего взять.

— Опять безбилетный проезд? Убери от меня этого артиста!

И я, и милиция смеемся.

Стал артистом, приехал в Тбилиси, обрадовался, что зимнее пальто не нужно покупать. Сел в трамвай. Кондуктор — мужчина, тридцать копеек проезд. Я ему — рубль, он мне — билетик. Я билетик взял, стою и жду.

— Ты, — говорит, — чего ждешь?

— Как чего? Сдачу.

А он на весь вагон, громко, так, чтобы все слышали:

— Посмотрите на него, он на сдачу живет!

Вагон — хохотать, а мне не смешно, первый раз такое услышал.

— Как жить будете? Ведь ничего же у тебя нет. Детей плодить? Для этого ума не надо. Любовь? Ах, у вас любовь? Тогда другое дело. И давно она у вас?

Да! Мы даже обвенчались, чтоб крепче скрепить нашу любовь. Батюшка перед алтарем нам о любви говорил. Ни золото, ни серебро, никакие капиталы не заменят нам нашу любовь. А кроме любви ничего у нас нет, у нас даже кольца не свои — чужие, ее родители дали, у них всего много.

Мы — теоретики, у нас светлое будущее. А они — практики, у них светлое

сегодня. Они и жениха для дочки заготовили, этажом выше жил, он для будущей жены все купил. Одних чернобурок сколько, меха разных пород, только не знал, какого размера туфли купить. А девчонка с нижнего этажа не соглашается. Артиста полюбила.

Я с ней в концертах познакомился, выступали вместе перед ранеными солдатами в госпиталях. Пела хорошо, от пения и млел. Камерной певицей стать хотела. Вечера теплые, темные, а нам светло. Только бы не было войны!..

Отец ее спросил меня:

— Сколько имеешь?

— Чего?

— Какая зарплата?

— Тысяча рублей в месяц.

Мне казалось, много. До войны тысяча рублей — деньги большие.

— Ну, а хейри есть? Навар какой имеешь?

— Нет. Роль могу продать, да ее никто не купит, — и смеюсь, а ему не смешно. Он руку поднял ладонью вверх и указательным пальцем сделал в воздухе крючок. Сказал:

— Вах! Какой богатый!

Отвернулся и ушел.

— ... Ах, черт возьми, пришла медсестра. С капельницей.

— У вас врач был?

— Нет, еще не был.

— Сейчас поставлю капельницу. Сегодня в какую — в правую или в левую?

— Давайте в правую, в левую уже некуда втыкать. С вами я спокоен, но без вас... Когда у вас выходной? Вы — снайпер, вас я не боюсь, а придет другая, молоденькая, ковыряет, ковыряет, вену ищет...

Позовет другую, придет другая, смелая и вроде бы умелая, руки сильные, жгутом перетянет, поработаешь кулачком, чтобы вена вспухла, изо всех сил стараешься, а вены пугаются, прячутся, не хотят, чтобы их кололи, больно им. Вдруг игла поймала вену, проткнула и все, и сразу облегчение. Тело расслабилось, капельки закапали, теперь лежи и жди, пока по капельке триста граммов в тебя войдет. Слышал, что если в вену попадет капля воздуха, человек умирает. Лежишь и смотришь, как бы воздух не попал. Потом привык. Убедили, что устроено так, что воздух не пройдет, капли кончатся, а для воздуха дороги нет. Все предусмотрено. Сорок минут. Смотришь на капли и опять отправляешься в путь к своему прошлому.

... Опять деревню вспомнил. Баню. Люблю я баню! Русскую, с веником. Никакого предбанника, раздевались на морозе, на снегу, солома под ноги подстелена. Плетень, на плетне одежда висит. Нырнешь в дверь и скорее на полоч, веник в руки и лупи себя, наяривай. Изобьешь всего, выскочишь ошпаренный, красный, словно ком углей, пар валит столбом, посмотреть со стороны — пожар. Ух как жжет проклятый, то ли пар, то ли мороз! В снег

нырнешь, перевернешься и обратно в дверь. А ну, поддай еще!.. И ничего, не простужались. А теперь — форточку закрой, простудишься. Чихнешь — скорей антигриппин, ложись в постель и на работу не ходи, грипп нынче ямайский. Никогда я не носил кашне, не было перчаток. Пить захочешь, далеко ходить не надо: снега горсть — и в рот, или кваску холодного после баньки, а потом чайку с сахаром вприкуску. А нравы? Проще простого! В бане парюсь, девка вдруг влетает, хорошо что хоть темно, комелек горит лениво, но и с этим огоньком разглядишь, что нужно. Прибежала, закричала:

— Поддать али так сойдет?

— Куда ты? Уходи!

— Ничего, — кричит, — у нас можно!

После бани стол накрыт, лампа на столе, горница квадратная, самовар шумит. Сам хозяин за столом, сидим, чай гоняем.

— Ты бы девку-то потискал, млеет, аль не видишь?

А девка, дочь хозяйская, сидит на кровати кружевной, справа и слева подушки до потолка, раскраснелась, раздумянилась.

— Что ты, папаня, говоришь, аль не стыдно?

Деревенский я, живет во мне деревня. Совсем в деревне мало жил, а дух ее в крови моей, должно быть, глубоко бродит.

Половина капельницы прокапала, до последней капли далеко. Рука лежит как мертвая, пьет по капельке лекарство. Идет оно с кровью по всем сосудам, расширяет, заживляет, обновляет. Лежи, не шевелись. Думать можно, кровообращению это не мешает, иголка в вене только думы обостряет. Нового в том нет, что в старости молодость вспоминаешь. Жизнь одна у всех, прожил или не дожил. Что остается после? Грешил? Грешил. Много грешил. А кто без греха?

... Нас пять человек — два брата и три сестры, и во всех есть общее. Посмотришь в чье-нибудь лицо незнакомое, сразу скажешь — армянин, грузин или китаец. Посмотришь в наши лица — русские из средней полосы. Узнаешь по глазам, по носам, по говору, по характерам. А все же и мы разные, как листья осенние: посмотришь — ковер разноцветный. И листьям дается не все одинаковое. Попадется лист, ты его заметишь, может быть, поднимешь, в дом принесешь. Откуда ты? Где то дерево — плотное, ядреное? Может быть, и обо мне когда-нибудь спросят: кто были его отец и мать? Не для анкеты, нет! Человек спросит человека.

Врачи тоже разные.

У некоторых так и хочется спросить: кто ваши родители? У вас руки, как у скульптора, чувствительные.

— Вы прошлый раз вошли, и во мне все проснулось. Вы разбудили всего меня. Откуда вы такая? Хворостиночка! Нет, вы верба, знаете, красная веточка с голубыми пушистыми глазками. Это весна, в ней вся надежда. Вы действительно весна! А тот... От него осенью пахнет, с него листья опадают. Он уйдет, я волосы его с себя снимаю. В его глазах тоска, а в ваших блеск... Ну, сколько? Сто сорок пять на восемьдесят? Нет? Немножко больше? Я так и

знал. Вы правду говорите, а тот обманывал, говорил одни и те же цифры, а лекарства прибавлял. Откуда у вас такая родинка? Под самым носом улеглась в ложбиночке. Кто вам ее поставил, отец или мать?

— У вас капельница кончилась. Позовите сестру. Вам нужно как можно больше отдыхать. Вы не бережете себя. Ваши роли... вы столько вкладываете в них, что у нас, у зрителей, сердце заходится. Мы уходим со спектакля больные и молчим. Это редко бывает в театре. Долго дома не засыпаем. От вашего спектакля как будто бы чище делаешься. Слезы сами текут, в горле все время спазмы. Если с нами, зрителями, происходит такое, то с вами, должно быть, еще больше. Страшно становится за вас. После так сыгранной роли вам или в больницу, или неделю не работать. Почему вы молчите?

— Я слушаю. Мне интересно слушать врача-невропатолога, я ведь чаще всего попадаю к вам или к кардиологам. Я тоже хочу знать причину моего заболевания. То, что с вами происходит после или во время спектакля, — для меня это высшая похвала. Я этого добивался.

... Я ничего такого не делал, чтобы выжать, из ваших глаз слезы. Мне хотелось, чтобы вы вместе со мной постигали непостижимое: как может человек человеку приносить столько зла? Это Толстой говорит. А я со сцены через слова автора заставлял вас вслушаться в несправедливость, что в каждом из нас живет по отношению к ближнему. В каждом! Я в эту мысль автора вкладываю свое чувство, не театральное, а человеческое. А для того чтобы страсти были истинные, нужно, во-первых, задуматься над тем, что заставило автора высказать эти мысли. Я должен понять, в какой тайник человеческого бытия мне надлежит проникнуть, чтобы каждый задумался, что он не скотина, а человек.

Я задумываюсь сам, и если автор не выдумывает, а мысль его взята из самой жизни, тогда моя профессия поможет мне найти в своих тайниках подобные ситуации. И они оживят слова и даже буквы в словах. Тогда мысль и будет прожигать ваши сердца, забираться в вашу душу, и она откликнется на мой призыв.

И в зависимости от степени моего проникновения, от того, чем наполняю я свою душу, на сколько вольт выжму электрический заряд, с таким напряжением и вы обратитесь к своей совести, к своему сознанию и откроете вместе со мной чудовищную несправедливость. Мы тогда вместе задумаемся над тем, зачем человека превращают в пегого. (Это мы с нею об «Истории лошади» разговариваем, о Холстомере, о пегом, пестром существе, то есть непохожем на других, изгое.)

Трудно? Сложно? Да в любой профессии есть сложности, трудности, каждая профессия — творческая. Вот вы, невропатологи. Конечно, все болезни, которые вы лечите, и раньше были, но заболеваемость была ниже. В наше время, мне кажется, нет человека, которому не нужен был бы невропатолог. Причин заболеваемости становится все больше — слишком беспокойное время! Но среди вашего брата, среди врачей, которые занимаются нервами, есть такие, которых к больным близко подпускать нельзя. И среди нас, актеров, много

таких, от которых зритель уходит и говорит — зря потратил и время, и деньги. Вред могут приносить как ваши, так и наши.

Я залез не в свое дело. Сам хочу найти причину моей болезни. Вы ее ищете в моих ролях, в моей безмерной отдаче. Слишком возбуждающая нервная система у меня, я на все реагирую, как вы говорите, неадекватно. Допустим, вы правы. Мне лет десять назад один из невропатологов советовал сменить профессию. После его совета я сделал такие работы, которые принесли мне радость, удовлетворение, потому что через эти роли я выразил то, что мне хотелось сказать. Работать на сцене и получать удовольствие — это и есть психотерапия. Здесь нет никакой химии, здесь само естество. Природа.

У меня дома есть цветок, пушистый такой, я не знаю его названия, привез из Одессы. Этот цветок очень любит мою жену. Когда мы уезжаем, то оставляем его соседям, очень хорошим соседям, внимательным. Они по нашей просьбе следят за цветком. И все равно он увядает, осыпается. Но стоит приехать жене, как цветок оживает, распускается. Жена разговаривает с ним, говорит ему ласковые слова. Поливает его той же водой из водопровода. Цветок снова становится пушистым, появляется много красных бусинок. Так и актер при встрече с ролью, со зрителем, особенно если роль хорошая, ничего кроме радости не получает. Он, как цветок, расцветает. От этого заболеть невозможно. Вот от тоски по хорошей роли заболеть можно.

Встретились два артиста за кулисами у доски объявлений, где вывешено, кто в чем занят, на какой сцене идет сегодня спектакль и прочее. Один — на пенсии, другой работает. Пенсионер расхваливает свою пенсионную жизнь. Свободен! Ни от кого не зависит! Живет на даче. Огурчики, помидорчики, грибочки соленые, маринованные, о театре и забыл. Ни сплетен, ни склок, живет в свое удовольствие!

А тут подошел третий — главный режиссер. Встреча, поцелуи. И вдруг пенсионер просит, вымаливает у главного роль. Какую-нибудь, в чем-нибудь. Мне, говорит, и денег никаких не надо, я, говорит, бесплатно. Без театра не могу, тоска заела. Никакое другое дело тоску не остановит. Очень прошу! Может, кто-нибудь заболеет, вы только свистните!

Не дождался роли. Умер.

А вы знаете, что на сцене артист выздоравливает, на сцене все болезни проходят?

Приехали мы на гастроли в Свердловск, я прилетел со съемок. Открываем гастроли «Мещанами», а у меня приступ каменной болезни; камень из почки вышел, да по дороге на каком-то изгибе застрял, с ним месяца два проходил, а тут вдруг он тронулся. Боль адская, на стенку лезу, но никому не говорю. Сделаю горячую ванну и лежу, а сказать боюсь. Город театральный, нас долго ждали, и вдруг отменять спектакль!

В шесть часов репетиция. Вышел на сцену. Слова не могу сказать от боли, потом покрылся. «Что с тобой?» — спрашивают. «“Скорую помощь” вызывайте!» Вызвали. Я прошу сделать мне укол атропина. Сделали. Беру бутылку с горячей водой, всовываю ее в брюки и играю Бессеменова. В антракте повторяют укол. Так и играл весь спектакль с бутылкой и атропином.

Казалось, что плохо говорю, язык во рту толстый, неповоротливый, спрашиваю партнеров: «Четко произношу слова?» Отвечают: «Нормально». Вот что такое сцена. А камень вышел только на третий день. После «родов» словно заново на свет явился, на десять лет помолодел.

Вы, доктора, неправильно меня лечите. Ваш больничный режим рассчитан на нормальных людей, у которых восьмичасовой рабочий день с двумя выходными, а мы люди ненормальные. Ваш режим никак не подходит к моему режиму. Каждая роль требует своего режима, я к ней подстраиваюсь, а не она ко мне. Что поделаешь, одна роль требует, чтобы желудок мой был пустой, другая просит пообедать за три часа до спектакля. А после спектакля ужасно хочу есть. Значит, ужин у меня не в семь часов, как вы советуете, а в половине двенадцатого ночи, а утром хочется поспать после вчерашнего спектакля...

День разбит на две половины. Первая половина с одиннадцати до двух — репетиция, а в шесть тридцать я должен быть снова в театре — спектакль. Засыпаю обычно в час или в половине второго ночи. Мое состояние зависит от роли, от степени возбудимости. Например, вам кажется, что после таких ролей, как Холстомер или Бессеменов, как вы сказали, я должен ложиться в больницу или домалежать в лежку. Происходит же все наоборот. После Холстомера у меня остается еще столько сил, что я способен пойти в гости. Мне, например, теперь понятно, почему раньше артисты после тяжелого спектакля уезжали к цыганам или еще в какую-нибудь веселую компанию, где пели, читали стихи, смеялись. Обязательно нужно расслабиться!

Я теперь завидую тому времени. Скучно! Некуда себя деть. Некоторые поднимутся в театральный буфет — он уже закрывается, — подойдут к стойке, выпросят рюмку коньяку и идут домой. А по дороге чувствуют, как заполняется опустошенное пространство души. Чувствуют в себе силу, смелость. Улыбаются, шутят. А другой впадает во мрак. Мрачные думы, недоволен и собой, и театром, и всем. Ему бы высказаться, излиться, а слушателей нет, вот он в одиночестве и устраивает себе компанию: бутылка, закуска, бутерброд из буфета.

Да, нас, артистов, лечить нужно по-другому. Ваш режим меня выбивает, нарушает мой режим. Мой организм приспособился к нашему ненормальному режиму, он для него норма. После вас успокоенный вами организм надо будет опять растревожить, вернуть в прежнее состояние.

Почему я с вами так часто говорю и вы меня слушаете? Может быть, я чепуху говорю? У вас свои суждения, свои методы лечения. У меня — интуиция.

Мне мой зритель тоже порой говорит, что я не так играю, и начинает высказывать свои истины: что лошадей на сцене нужно показывать настоящих, что лошадь никогда не разговаривает человеческим голосом. Еще говорит, что показывать на сцене, как холостят лошадь или как лошади совокупаются, не надо, это видеть противно.

Я в таких случаях спрашиваю: а вам не противно, когда птицы совокупаются? Когда они целуются, воркуют, вы улыбаетесь, вам это радостно. Или когда петух топчет курицу — вы ведь не шугаете его, даете

закончить ему свое мужское дело, потому что знаете, после этого яйца бывают, а вы яйца любите!

Почему в Эрмитаже стоит счастливый зритель и восторгается обнаженным телом Венеры или Афродиты и ему не стыдно? Демонстративные блюстители или блюстительницы чистоты на сцене любят, я уверен, подсматривать в замочную скважину и тайно наблюдать интимные сцены. А отойдут от скважины и громко, на людях плюются, осуждают: «Как им не стыдно? Распустились совсем! В наше время такого себе не позволяли!..» Позволяли! Еще как позволяли! Вот ханжества стало больше — это верно.

Теперь все знают, что нужно показывать и как нужно показывать, и все знают про болезни и про то, как и чем их надо лечить. Я слышал, как одна советовала больному язвой двенадцатиперстной кишки один раз в неделю принимать маленький кристаллик нафталина. «Врачи, дураки, лечили-лечили, а ему все хуже да хуже. Ему бы к бабке обратиться, она посоветует, нафталином все язвы как рукой снимает!» Бабки я не видел, но запах нафталина в вашей больнице слышал. Вы, врачи, одни лекарства даете, а больные втихаря другие принимают...

Почему-то в больнице больше и дольше думается. Никогда не возникают такие думы на воле. А вот когда увезут в больницу, запрут в маленьком кругу, начинаешь думать о большом круге, мысли разрастаются и вширь и вглубь. Становишься маленьким-маленьким, словно жизнь твоя вновь в чьих-то руках. В начале жизни это были материнские руки, самые надежные. В них, кроме покоя да ласки, нет ничего. А когда попадаешь взрослым в чужие руки, от которых жизнь зависит, вот тогда несладко! Вот тогда мысли бегут...

Ходят больные по больнице, вынынчивают свою болезнь, она у них как ребенок. Ноги передвигаются так, чтобы не потревожить больное место. Больное место кутают или поддерживают руками, баюкают. У болезней почетных званий нет, и все же некоторые люди произносят их названия с особым почтением. Человек обязательно должен чем-нибудь гордиться, отличать себя от других какими-нибудь качествами. Он желает выделиться из толпы.

Больница — это особая, выделенная жизнь в повседневной жизни. Туда попадают избранные. Коллектива больных нет, лежат сплошные индивидуальности, даже если в палате все с абсолютно одинаковыми болезнями...

Встретился старик, губами шамкает, слов не разобрать, а всего-то две копейки просит, домой позвонить. Дал ему монету, набрал номер. Трубку никто не снимает, еще раз набрал — опять молчат. Тогда он сказал другой номер. Ответили. Передаю трубку. Не уйду, вдруг пригожусь. Старик в трубку изо всей своей старческой глотки кричит, злится, что его на другом конце не понимают: «Зубы мне нужны, зубы... передайте детям, чтобы зубы принесли». Сдали старика в больницу, а зубы вставить забыли. Сдали старика. Теперь без

него можно пожить спокойно. И живут. А когда-то стариковские руки были молодые, ох как хорошо с ними было! И спина у него была крепкая, сколько раз прятались за отцовскую спину! Теперь она согнулась, за нее уже не спрячешься... Дети? «Пять дней уже не приходят!» Ох, какая тоска без детей!..

Первые два дня страшно в больнице тому, кто в ней первый раз. Потом привыкаешь. Первые дни тягучие, ночи бессонные, длинные. Потом они побегут быстрее. Привыкнешь и к храпу, и к сапу, и к другим естественным звукам. «Ух какой у вас тяжелый воздух!» А мы не жалуемся, мы к нему привыкли. Это вам, которые с улицы, он тяжел, а для нас легок. Ко всему привыкает человек, особенно наш, русский. Потому он и непобедим, что в любых условиях будет жить и даже смеяться будет, и любить, и песни петь. Было бы чем дышать, а воздух какой — ему совершенно неважно...

Лица здесь поразительно разные: симпатичные, злые, равнодушные, завистливые, красивые, некрасивые, сытые, голодные, волевые, издерганные, помятые, испытые, внимательные... Если сравнить лица людей с ликами зверей, а мне это постоянно на ум приходит, то увидишь лица кошачьи, лисьи, собачьи, медвежьи, лошадиные, львиные. У некоторых ослиные уши. Много безобразных лиц, и даже среди таких безобразных найдется не лицо, а блин или простокваша.

Свойство людей моей профессии — запоминать не фамилии, а лица. Фамилия мне ни о чем не говорит, а лицо передает все, пусть оно даже совсем неподвижное, ничего не выражающее. Оно для меня особое лицо, оно мне пригодится для сцены.

Когда попадаю в больницу и стихает боль после укола, сразу же смотрю, какие у кого лица. Увидишь хорошенькое личико, и сразу легче становится. Побриться, вычистить зубы и умыться хочется, и даже одеколончиком на себя брызнуть. А как же иначе?

Женщины — мастерицы. Больная-больная, а про то, что она женщина, в самое тяжелое время не забывает. И в постели умеет лежать так, словно ей лучше всегда лежать, а не ходить. Женщины всегда готовятся к обходу врача, если врач — мужчина. Ждут врача сидя, потому что им нравится, когда им говорят: «Ложитесь». Потом они будут разгуливать по коридору и шарить глазками. Или устроят чаепитие в столовой, и на столе появится варенье всяких сортов, конфеты, печенье или что-нибудь остренькое, своего собственного засола...

Флирт в больнице — один из способов выздоровления. Ведь совсем умирал мой сосед, а пришла баба с «футболами» вместо груди и разъярила мужика, и ожил мужик, и, может быть, вспомнил прежние годы, когда в загулы уходил, силушку свою испытывал. Сколько радости она ему принесла после невыносимой боли в животе, когда выводил он свою нудную песнь, которая грустную мысль в большой клубок мотает. Ох, как больно! О-о-оо-й! Сам взвоешь, слушая песнь мертвеца.



— Вась, а Вась, ты бы причастился, а?

— Ой, да что ты говоришь! Я же член партии.

— Ну и что? Партейные что, не верят, что ли? А вдруг поможет? Были такие случаи. Сам говорил... рассказывал, как было на войне...

— На войне одно, а здесь — другое. И потом, кто меня отсюда выпустит? Ты подумала?

— А тебя и выпускать никуда не надо. Мы здесь все организуем.

— Где — здесь? В палате, что ли? Ты что, совсем рехнулась?

— В красном уголке. Там тихо, хорошо. Мы и попа уже привели.

— Вы что? В уголке... в красном... Узнают, пропал я тогда... А Госька-то?

— Она только спасибо скажет и сама Богу помолится и свечку поставит. В больнице не знают, что поп пришел. И никто ничего не знает, не догадаются. А вдруг поможет? У тебя дети!

— Ну, ладно, давай.

Так и уговорила сестра брата причаститься. Приехала коляска, две старые нянечки уложили моего соседа и увезли. Долго его не было. Поменяли ему постельное белье. Дверь отворилась, он появился переодетым во все чистое. Коляска остановилась, старушки дверь закрывали, а он оглядел всех нас, больных, и вдруг из глаза слеза выскочила и покатилась в небритый подбородок. Его уложили, сделали укол, и он заснул.

Все бывает в больнице, а больница и не знает или делает вид, что не знает. В человеке остается человеческое, и долго еще в нашей русской крови будет жить наследство отцов и матерей!

Я и сам молюсь — своими словами разговариваю с Богом и прощения прошу, и помощи. Мысленно накладываю на себя крест и говорю: «Во имя отца и сына и святого духа!» Произнося это, я обращаюсь к своему собственному отцу. Я, его недостойный сын, прошу, чтобы дух его сохранился во мне. Хочу, чтобы во мне продолжалась его жизнь.

В больнице работаешь над собой как над ролью, проникаешь в дальние свои тайники, хочешь разгадать, из чего складывалась твоя жизнь, твой характер. Все в жизни зависело от случая, или все, что случилось, написано было тебе на роду?

В детстве монашка показывала мне небо, зимнее звездное небо. Оно было в дырочках, и в них горел солнечный свет. Дырочки были большие и маленькие, порой небо напоминало мне протертые штаны, сквозь которые голая задница просвечивает. Так в небе просвечивало солнце. Я сказал монашке об этом.

— Тебе бы по заднице за такие слова! Какие ж это дыры? Это звезды! Ангелы и архангелы, а вместе называется небесный свод, как купол в церкви. У каждого человека своя звезда. Под какой звездой ты родился, та звезда тебя и бережет. Когда родился Христос, появилась и зажглась в небе самая яркая звезда, и она указывала путь к тому месту, где он родился, чтобы люди шли туда ему поклониться.

Помню, звезда упала, и я спросил:

— А почему она упала? Значит, кто-то умер, раз она свалилась. И она

умерла?

— Нет, не умерла. Это звезда к звезде странствует...

Звезды странствуют! Значит, и моя где-то странствует?

Куда занесет меня моя звезда? Жить осталось немного.

В прожитой жизни заносило меня, как в сказке. По всяким дорогам ходил, и все были трудные. На небо смотрел, чтобы звезду свою отыскать, а небо затянулось туманом, и в голове моей был туман... Да, хорошо рассказала когда-то монашка о моей звезде, только где она, та звезда?

Снился мне сон. Это было в Аргентине. В руках у меня будто нимб, и он почему-то горячий. Мои партнеры тянутся к нимбу, просят, чтобы я им дал его. А я держу его в ладони вытянутой левой руки и говорю им: «Вам нельзя, вы обожжетесь». И ласковое тепло идет от него в мою руку... Бывают такие сны, после которых просыпаешься с улыбкой.

В этот вечер я играл «Историю лошади». Новая страна, другое полушарие, небо другое. Словно смотришь на него с другой стороны. У нас солнце восходит слева направо, тут — справа налево. И луна смешная...

Я играю лошадь. Прежде чем сказать первую фразу, я всегда вспоминаю отца и мать, а уж потом говорю: «Когда я родился...» Вспомнил и тут, в Аргентине. И вдруг вижу: в самом конце партера, на небольшом возвышении две головы в светлом овале. Отец и мать смотрят на меня. Никогда они не появлялись на спектакле, ни в одном городе, ни в какой другой стране, а в Буэнос-Айресе они явились. У меня комок в горле, слезы на глазах. Я смотрю на них и рассказываю им свою жизнь. «Когда я родился, я не знал, что такое пегий». Они сразу поняли, про какую пегость я говорю, а с ними и зрители поняли. «Я думал, что я — лошадь... Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то под передние ноги, то под камягу...»

Они медленно растаяли. Они приходили мне помочь, их лица улыбались, я видел их так ясно, как можно видеть наяву живых. «Не беспокойся, сын, мы с тобою!» Я потом рассказал о своем видении жене и Товстоногову. А говорят, что нет чудес!

Я дважды бывал в Аргентине. Первый раз — в шестьдесят пятом, на международном кинофестивале в Мардель-Плато. Мне вручили две премии, одну — за лучшую мужскую роль (в кинофильме «Последний месяц осени»), а вторую — от журналистов и продюсеров. На вручении премий мне нужно было сказать какие-то слова благодарности. Переводчика не было, и я неожиданно для себя запел «Дубинушку». И запел-то на тон выше. И вдруг по ходу песни вступил оркестр. Я под оркестр никогда не пел и сначала испугался. Но припев подхватили другие артисты, из других стран. В огромном зале звучала моя песня про Волгу: «Эх ухнем! Э-э-эх ухнем! Еще разик, еще да раз!...» Впереди меня ждет высокая нота. Пою и думаю — не вытяну, сорвусь. А когда подошел к этой самой ноте, за моей спиной будто встали мои волжане. Они помогли мне вытянуть ноту, протянуть ее, насколько хватило дыхания. Раздались аплодисменты. Разве это не чудо?

А во время войны?

Готовились освобождать Керчь. В Тбилиси в большом дворе собрали

мужиков разных национальностей. Из всей огромной толпы выбрали сорок два человека, только русских. У меня была бронь, я играл в театре все центральные роли, но, несмотря на бронь, меня побрили, вымыли в бане и отправили в Батуми. А через неделю приезжает директор театра с главным режиссером и с приказом главнокомандующего Закавказским военным округом вернуть меня в театр. Где все они, сорок один товарищ, полюбившиеся мне за десять дней? Мы понимали — не на охоту нас везут, на войну, на страшный участок. Оттого так скоро подружились. Остался ли кто-нибудь в живых? Или пали храбрецами, легли в общую могилу неизвестных солдат?.. А у меня вот приказ — вернуться в театр. Разве это не чудо?

Как бы мне не испугать звезду, под которой я родился... Может быть, нужно молчать и тайно, тихо благодарить ее за мою судьбу, а не кричать о ней, не хвастаться? Чудо, что я живу! Сколько раз бывал в больницах. С возрастом болезней прибавлялось, и ничего — живу...

Дождь прошел. Мокрый черный асфальт. Лужи — как разбитые зеркала, в них смотрятся дома, деревья, прохожие и остатки дождевых облаков с голубыми просветами неба. В комнате дождевой воздух и тополиный запах. Завтра в девять часов утра консультация с крупным профессором. Его пригласили мои лечащие врачи. У меня нет голоса, пропал. Горло в полном порядке, связки чистые, а голоса нет. А за окном воробьи словно назло чирикают во всю глотку... Закрыть нужно окно, мне дышать сырым воздухом нельзя: совсем, говорят, безголосым останусь.

В голову лезут разные мысли. Почему отец в последние дни, когда я от него уезжал, часто говорил о смерти, о своей смерти? Неизвестно, сколько бы он еще мог прожить, если бы не тридцать седьмой год. После этого года его не стало... Значит, он чувствовал предсмертный свой год?

Вчера в реанимационной показывали мне последнее достижение мировой медицины. На высокой кровати лежит широкий, но уже плоский, раздавленный смертью человек землистого цвета. В грудь, повыше сердца, воткнута толстая игла, глубоко между ребер. Кругом наклеены круглые датчики с длинными тонкими проводами. Он лежит без сознания. Он уже почти мертвый. И только черная аппаратура с маленькими телевизорами показывает, что он еще живет. Можно проверить по этой аппаратуре, что было с ним час назад, что было вчера ночью... Скачут цифры, обгоняя одна другую, бежит зигзагами линия, словно пила с тупыми зубьями. Врач мне в полный голос равнодушно поясняет, что, судя по этим бегущим линиям и цифрам, происходит с поверженным человеком. Я перебарываю в себе страх, прошу, чтобы он рассказывал тише. Врач, махнув рукой, говорит: «Он все равно ничего не слышит».

Сегодня, стоя у окна, я думаю, что его, может быть, уже и нет. Теперь его лицо появится в газетах, и под некрологом будет много подписей.

За окном щебечут воробьи, разбежались тучи и опять голубеет небо... Наверное, кто-то должен скоро умереть, чувствует, как постепенно отмирает у него один орган за другим...

— Ну, а говорят-то они что? Что предполагают?

— Ничего не говорят и ничего не предполагают, хотят в другую больницу послать, цвет им мой не нравится. Я раньше столько на себя и не глядела, сколько теперь всю себя разглядываю. Просыпаюсь и смотрю: какого цвета я? Прежнего или другая какая стала?

— На вас посмотреть — здоровее бабы и придумать нельзя!

— Обманчиво. Все обманчиво. Я как гриб. Большой, красивый, а есть нельзя, червивый внутри.

Есть люди, от которых никак не отцепишься: говорят, говорят... И не слушаешь их, а они все равно говорят. Обо всем и ни о чем. Я их не осуждаю. У самого такое бывает: начнешь вязать одно слово за другим, и язык не остановить, вот и плутает он у тебя, язык твой, и не успеваешь запоминать, по каким нехоженным тропинкам он тебя водил. Спроси потом, о чем говорили. Да ни о чем! И обо всем... Больница...

Кто-то стучится в дверь. Сиплым, безголосым голосом пытаюсь отозваться: «Войдите!» Повторяю несколько раз. Наконец дверь открывается и входит больной из соседней палаты. Меня знают, только я всех не знаю. Зовет к себе.

— Давайте-ка к нам. Чего вы тут в одиночке? Кроме тоски ничего не наживешь, а мы тут по соседству чай гоняем.

Иду. Между двух кроватей из табуреток устроен стол, на нем в промасленной бумаге лежит огромный, килограмма на два, перетянутый толстым шпагатом свежескопченный свиной рулет, рядом малосольные огурчики, зеленый лук, красные свежие помидоры. На тумбочке — четыре граненых стакана и две бутылки коньяка. Двое уже сидят на кровати.

Выражение моего лица вызвало у всех троих дружный смех, словно они именно этой реакции от меня и ждали. Взяли меня под руки и усадили на противоположную кровать. В их смехе и в том, как они меня усаживали, слышалось мне: вот так мы и живем, браток, всем на удивление.

— Да, вот так мы и живем, да, да, в больнице и при карантине! Чтоб не заразиться и не заболеть чем-нибудь другим, надо продезинфицироваться!

Теперь мы все смеялись.

— Откуда у вас такое? В магазинах такого не бывает.

— А вот! — тот, кто меня привел, указал на восточного человека. — Он у нас директор свиноводческой фермы.

Я посмотрел на директора. У него такое выражение, словно перед ним сажу не я, а маленький поросенок или ребенок.

— Это что же, ваше производство?

— Нет, это жена. Такого на производстве не вырабатывают, это не для широкого потребителя! Ха-ха-ха!

Из-под кровати достали бутылку — «Армению» — и разлили по стаканам.

— Братцы, — говорю я им, — мне пить совсем нельзя, у меня и так нет голоса. А завтра в девять придет профессор. Консультант!

— До профессора все улетучится. Нам тоже нельзя, у нас ишемия, мы ее «армянским» лечим.

Я подумал: черт возьми, так давно лечат мое горло, и так мне это лечение надоело. В конце-то концов, чем я рискую? У меня ведь не сердце, а горло болит, да и не болит оно совсем, а просто нет голоса, пропущу сто грамм, да и закушу тем, что не для широкого потребителя.

— Будем здоровы!

— Правильно. Как это вы там, по телевизору-то, через полотенце? И смеялись же мы!..

В дверь вошла сестра. Посмотрела и ушла.

— Ты чего испугался? Мы же чай пьем, вот у нас и кипятильник. Сейчас мы все прикроем — и полная конспирация... Ну, где тут наша «Армения»? У нас под кроватью винный погреб. Ха-ха-ха!

— Ну, вы даете! Я — нет. Больше не могу. У меня завтра профессор.

В больничной палате свой маленький «ресторанчик». Тут лечатся своими «лекарствами» и разговором. Как всегда в таких случаях, начинается с анекдотов. По анекдотам можно судить, чем живут эти люди. Анекдоты плоские, неостроумные.

— Ладно, хватит. Ответь мне на один вопрос, даже на два. Почему утром голова болит? Не знаешь? Потому что вечером много выпил, ха-ха-ха! А почему не болит? Потому что вечером мало выпил! Ха-ха-ха!

— Вот меня интересует, извините за навязчивость... — это восточный человек обращается ко мне. — На сцене целуются по-настоящему?

На сцене по-настоящему ничего нельзя сделать. Если и целуются, то показывают, что целуются. Ну конечно, бывает, когда и поцелуются по-настоящему, но удовольствия от этого не получают, во-первых, потому, что своим поцелуем актеры разрушат условность времени сценической жизни. Если они поцелуются по-настоящему, то длительность такого поцелуя по сценическому времени будет равна длительности целого собрания. А во-вторых, наш зритель не может спокойно переносить целующихся на сцене. Обязательно придут письма в театр, где его обвинят в безнравственности. Так уж наш зритель устроен.

На другой день сестра приносит градусник и тихо будит меня. Я просыпаюсь.

— Как спали?

Я отвечаю:

— Хорошо.

И вдруг обнаруживаю, что не шепотом говорю и не фистулой, а нормальным своим, прежним голосом. Мне это показалось или я действительно говорю?! Крала баба гвозди, крала баба гроздь, крала баба бобы и горох! Ма-ме-ми мо-му! Ура! У меня прорезался голос.

Девять часов. Приходит профессор. Мы знакомимся. Голос мой звучит — на удивление врачам. Врачи докладывают профессору, чем они меня лечили, и от удовольствия улыбаются. Профессор слушает внимательно, а мне смешно.

— Чему вы смеетесь? — спрашивает профессор. Он меня знал, смотрел «Историю лошади».

Я отвечаю:

— Вчера я выпил сто грамм коньяку, и у меня открылся голос.

Врачи улыбаться перестали. Смеялся профессор.

— Правильно сделали... Одному пить нельзя, вредно, нужно обязательно пить с врачом!

Я уже не раз от врачей слышал такую остроту.

— Завтра у вас совсем голоса не будет, — он смеяться перестал, а я насторожился. Профессор продолжал:

— Коньяком вы расширили сосуды и потому заговорили, а завтра они вдвое уже станут.

Профессор был прав. Через день я опять стал безголосым. И лужи в окне — как разбитые зеркала, и мысли печальны...

## У ВОРОТ

Вечерами мы собирались и сидели допоздна у любимого места — у ворот. Солнце садилось за домом, перед нами высилась громадная кладбищенская церковь. Перед ней огромная площадь, а за ней — тысячи крестов и памятников на забытых могилах и склепах. Небо как будто только что из парикмахерской, с шестимесячной завивкой, в локонах и завитушках, золотое, красно-желтое, как голова моего соседа, рыжего Витьки, курносого и конопатого. Витька прижался щекой к моему плечу и ковыряет указательным пальцем в носу. Брат его, точно английской породы поросенок — такой же толстый и круглый, — лежит на траве животом вниз, подперев руками круглую спелую голову.

Все мы жадно слушаем деда Афанасия — сторожа кладбищенской церкви. Он наш друг и товарищ. Обут он в столетние валенки, такие же дырявые и заплатанные, как и его кафтан. Пальцы будто в сучках, желтые руки покрыты синенькими жилками, скрученными и перекрученными между собой большими узлами, словно Волга, как ее изображают на географических картах. В руке его палка с крючком на конце, такая же старая, как и он сам.

Жил он один в маленькой сторожке с низким потолком, скрипучим полом, двумя кривыми окошками, заляпанными замазкой, газетами и листками из поминаний за упокой Александра I, Александра II, Александра III... В углу икона на толстой веревке, изображающая сухого, старого, с вытянутым лицом и тонким длинным носом Христа, который смотрит во все стороны. Где бы ты ни сидел, он грозил тебе тонкими пальцами, сложенными в благословение. На столе всегда лежал старый рыжий кот, облезлый, ленивый, единственный друг дедушки. Когда дед обедал, кот сидел рядом с его деревянной миской и ел из такой же, только чуть поменьше.

Мы называли дедушку Афанасия «золотым». Он и вправду был золотой. Его гладкая голова, всегда смазанная лампадным маслом, походила на позолоченный серебряный чайник, на котором золото протерлось и местами видно серебро. Волосы его тоже когда-то были золотыми, а теперь покрылись серебром. Он перевязывал их крученым белым шнурочком вокруг головы, таким же засаленным, как и сами волосы. Когда он читал нам Евангелие или

жития святых, на носу, на самом его конце, торчали в железной оправе очки, забинтованные ниточками и тряпочками, а на самом острие носа висела чистая белая капелька его чистых свежих слез. Читая, он плакал. Плакали и мы.

Почему мы не плачем так в церкви, когда стоим и слушаем чтение псалмов? А тут так ярко, как в сказке, представляем картину страстей господних? Дедушка читает, и мы как будто бы рядом с ним идем по Гефсиманскому саду, поднимаемся на Голгофу, где распинают Христа. Только мы стоим в стороне. Нам хочется облегчить страдания распятого, перебить всех его врагов. Но мы не можем...

Сколько рождалось силы и отваги в эти часы в наших детских сердцах! Как крепко сжимались наши пальцы, как будто наливались в громадные кулачищи маленькие детские кулачки! Глаза у всех горели. Сидели молча, старались не пропустить ни одного слова, ни одного взгляда всемогущего дедушки Афанасия.

Но вот из глаз у него покати́лась слеза, голос дрогнул, мы все зашмыгали мокрыми носами, и сила вдруг ушла от нас, мы стали жалкими и смешными. Стараясь не смотреть друг на друга и на дедушку, мы плакали. Маленькое Евангелие, закапанное воском, с истлевшими черными уголками, перелистывалось страница за страницей и оживало перед нами. Казалось, Христос явится сейчас и совершит чудо. Или вдруг будет конец света. Явится архангел Гавриил и затрубит в свою громадную трубу, и встанут мертвые из гробов в белых рубашках с распущенными волосами, худые, длинные, и начнется божий суд над ними и над нами, живыми. Все будут плакать, просить отпустить им грехи. И рыжий Витька тоже будет плакать и кричать, чтоб простили его за то, что он меня избил, нос расквасил. А я подойду к Богу и попрошу его, чтоб прости́л Витьку, ведь он мне не откажет?

Я читаю Евангелие, почти каждое воскресенье причащаюсь, и если можно было бы каждый день это делать, то я с большой охотой подходил бы и проглатывал горько-сладкую ложечку красного вина и запивал подкрашенной водичкой. И потому бы еще я это делал, что все после этого тебя поздравляют и дают тебе пять копеек на сладости. Неклюдова, такая сдобная старушка, имела свою кондитерскую. Она очень меня любила. И я ее тоже очень любил. Она приносила мне к причастию вкусные булочки и пирожки, и ради одного этого я готов был причащаться чаще, чем полагается. Вообще, я считал себя ближе к Богу: ведь у меня папа священник! Мы же не простые люди!

... И подойду я к Богу так, чтобы обязательно было видно Витьке. Ох как он будет меня бояться и завидовать мне, что я накортке с Богом и что он, Витька, ничего тут не может со мной сделать! Или вдруг Бог позовет меня и скажет: «Соверши чудо!» И я совершаю. Я собираю всех мальчишек и девчонок, надеваю на себя самую лучшую, самую богатую ризу, подхожу к самой красивой девочке... До этого самой красивой была для меня Тося, но мы с ней вчера поругались, потому что она не захотела играть со мной в папу и маму. Я так на нее разозлился, что хотел ей косы вырвать. И вот теперь-то я ей отомщу... Я выбираю самую красивую девочку из всех — Верку с Лягушовки. Кладу на ее белую головку руку и говорю ей: «Дотронься до моей одежды

рукой, и ты увидишь, кто ты такая». Вера вся дрожит от страха, перед нею Бог, рядом я, а сзади разные святые и чудотворцы. Она протягивает ко мне дрожащую руку, а я смотрю, какое впечатление произведет это на мою Тоську. Та стоит и плачет. Она раскаивается в том, что не хотела играть со мной вчера в папу и маму. Я молчу, виду не показываю, что мне ее жалко, пусть поплачет, следующий раз не будет мне отказывать. Верка дотрагивается рукой до моей одежды, и голова ее становится, как солнце. Ангелы на большом подносе приносят ей много-много платьев, белых, голубых, красных, каких она только хочет, одевают ее в самое лучшее... И вдруг кто-то бьет меня по затылку не то палкой, не то рукой, я даже не понял. Так треснул, что все чудо враз вылетело.

— Ты почему не слушаешь, сопляк ты этакий? А? — это дедушка Афанасий. — Вот Боженька тебе уши отрежет!

Я дотрагиваюсь до своих ушей, они висят на том же месте, только почему-то стали горячими-горячими. Я потрогал рукой затылок — под пальцами вздувалась шишка. Губы мои сжались, я захлюпал, заорал и пошел жаловаться папе.

Мы жаловались так: я жаловался папе, а брат — маме, сестра Нина тоже жаловалась папе, а Алевтина была еще совсем маленькая, всегда сидела на руках у мамы и, конечно, жаловалась ей. Нас было четверо, двое папиных, двое маминых, но все мы были и папины и мамины.

Папу я любил больше, и папа меня любил больше других детей. Во-первых, я самый старший, а во-вторых, я знал кое-что про папу, что не должна была знать мама. Это мне внушил папа, и за это я пользовался у него особым покровительством. Если папа куда-нибудь уходил, то всегда брал меня с собой, только меня. Уходили мы с ним часто, например, на рыбную ловлю. Мы ходили ловить рыбу на Волгу или на озера, но после заходили в дом, где жила Самарина.

Самарина жила одна. Она мне нравилась, хотя старше меня была в четыре раза. Я на это не обращал внимания и верил, что она может быть мне таким же другом, как и Тося Юнгера, и что я могу играть с ней так же, как с Тосей.

С папой у нее разговор был какой-то особенный и для меня непонятный. Я смеялся, хотя и не понимал. Громче всех смеялся папа, за ним Самарина. У папы глаза становились маленькие и блестящие, словно в них играли чертики. У Самариной лицо краснело, особенно на щеках и около ушей. Глаза у нее были такие, какие бывают у женщин после того, когда они выпьют рюмку или две вина. У отца, когда он улыбался и смотрел в лицо Самариной прямо, не моргая, в ее большие, тоже голубые глаза с длинными ресницами, из-под усов были видны тонкие красные губы и ровный строй белых зубов.

Вначале мне было даже интересно слушать их непонятный разговор, с какими-то намеками, закрыванием и открыванием глаз. Особенно ловко это делал отец: медленно и не торопясь, закрывал оба глаза, при этом ноздри его раздувались и самый кончик носа двигался вначале вниз, потом вверх, а зубы прикусывали нижнюю губу. Потом медленно открывался один глаз, за ним второй, и оба оставались в полукрытом состоянии. Самарина же прикрывала



свои большие глаза и наклоняла голову, словно смотрела, как высоко и часто поднимается ее грудь в крепко обтянутой белой блузе. Круглые обнаженные плечи и шея ее были прикрыты кремовой кружевной накидкой тонкой работы, сквозь которую цвета молока с кровью просвечивало ее нежное тело. В такие моменты я не знал, что мне делать и как себя вести. Я краснел, как и Самарина, не понимал почему и от этого еще больше краснел и не знал, что с собою делать. Я просился домой, тащил за собою папу, но мне это не удавалось. Самарина вынимала из стеклянного шкафа коробку шоколадных конфет, сажала меня на большой ковер, разостланный по всему полу, садилась со мной рядом, поджав под себя ноги, клала мою голову на свои упругие бедра и начинала меня кормить, держа конфету длинными пальцами. Отец, убирая полы длинной рясы, усаживался рядом, и мы начинали играть. Было весело, никто из нас троих не скучал. Потом меня посылали за чем-нибудь в город, а когда я возвращался обратно, игры уже не было. Папа был со мной ласков, а Самарина стояла лицом к окну, укладывая волосы. На полу валялись шпильки и кружевная накидка...

По дороге домой отец заходил в рыбную лавку и покупал свежую рыбу, а мне давал рубль. Так я узнавал еще одну папину тайну, которую не должна была знать мама. Мы приходили к ней «уставшими и голодными» с рыбной ловли. Мама, бедная мама, она верила папе, как самому Богу!

После вечерни отец шел на дежурство к умирающему игумену при женском монастыре. За ним шел и я. В комнате, узкой и высокой, с одним окном, раскрытым на кладбищенскую площадь, на широком деревянном топчане, утопая в больших пуховых подушках, умирал отец игумен. Белое опухшее лицо с большими отеками под глазами, с отвисшей жирной нижней губой смотрело стеклянными глазами в правый угол, завешенный иконами святых и чудотворцев, с семью лампадками, горевшими ровным бледно-желтым огоньком. Посреди комнаты стоял высокий аналой с раскрытой толстой книгой. Перед аналоем стояла высокая костлявая старуха игуменья в длинной черной рясе с черным клобуком на голове. Ржавым уставшим голосом, жуя сухим беззубым ртом, она дочитывала свое «дежурство». Ее окружали точно такие же черные, но без клобуков монахини разных возрастов, человек двенадцать, красивых и некрасивых. Они беззвучно повторяли за своей игуменьей слова молитвы, шевеля губами и перебирая четки с маленьким черным крестиком. Комната была наполнена запахом розового масла, горящих лампадок и ладана. Тишину нарушал шелест перелистываемой книги. Скрипучий голос игуменьи, глухой треск горевших лампад и тяжелые редкие вздохи умирающего. Было жарко. При каждом вздохе отца игумена все застывали и смотрели на постель, в которой доживало последние свои минуты грузное тело, покрытое большим атласным одеялом. На голубом его фоне вырисовывались белые пухлые руки, к одной привязана горящая свеча, в другой — толстый псалтырь.

Отец взял меня за руку и вывел в другую комнату, закрыв за мной тяжелую дверь. Мне стало страшно. Я чувствовал, как в ногах покалывают иголки, а по спине пробегает дрожь. Хочется бежать, но ноги не бегут, хочется кричать

«мама», но голос застрял где-то в животе. Темные углы от горящей свечи становятся живыми, словно хотят меня раздавить. И снова сухое длинное лицо с длинным тонким носом большими глазами смотрит на меня. За спиной сухой, утомленный однотонный голос игуменьи и мерный стук капель по медному тазу громадного умывальника...

Где-то близко ходит смерть в черной рясе, в черном высоком клобуке на белом черепе. В костлявой руке острая как бритва коса. Смерть ступает медленно, поскрипывая своим костлявым телом... Я слышу шаги, скрип половицы, шелест одежды. Из темноты появляется доброе и ласковое лицо монахини Ульяны. Глаза ее красные, заплаканные.

— Матушка Ульяна! — я бросился к ней и крепко прижался.

Тело мое дрожало, я крепче и крепче сжимал ее ноги и руки, боялся оторваться и посмотреть в эти углы с темными провалами, на громадного Христа с большими глазами, на толстую дверь, за которой звучал скрипучий и ржавый голос старухи игуменьи.

— Что с тобой, ангельчик мой? Да кто ж тебя здесь оставил-то? Господи!

Добрый голос матушки Ульяны вернул меня к жизни. Я посмотрел в ее мягкие добрые глаза своими мокрыми глазами и прилип к ее щеке, от которой также шел запах розового масла, горящих лампад и ладана. Но этот запах какой-то другой, живой, живого человека, приятный и не страшный. Мы вышли в кухню. Там на большом столе стоял пустой деревянный гроб, а вокруг него с иголками и нитками стояли монашенки и пели псалмы, приготовляя новую постель для отца игумена.

«Волною морскою, скрывавшаго древле гонителя, мучителя под землею скрывша спасенных...»

— Сядем здесь, — сказала матушка Ульяна и, тяжело вздохнув, опустилась на маленькую скамеечку, а рядом на круглый коврик посадила меня. Тягучая, унылая песнь разливалась по кухне, в темном углу возле печки и на самой печке шуршали большие черные тараканы.

— Матушка Ульяна, что такое смерть? — спросил я шепотом.

— Смерть? — набирая воздух и медленно его выпуская, говорила матушка Ульяна. — Смерть бывает разная. Праведная и неправедная. Праведная смерть определена самим Богом, а неправедная определяется дьяволом. Таких и в церкви не хоронят, и на кладбище не несут, а хоронят за оградой без креста. Ты видел за кладбищем могилы без крестов? Это все неправедные. Умерли дьявольской смертью.

— А почему же люди умирают праведной и неправедной смертью?

— Эх ты, глупый какой! Я же тебе и говорю об этом. Вот отец игумен умирает праведной смертью, придет его час, и душа его отойдет к Богу, а нам, земным, останется ее тело. Тело без души не живет. А перед тем как умереть телу, собирается около него нечистая сила, вот, может быть, и сейчас эта нечистая сила ходит или сидит где-нибудь, прижавшись в углу, ждет своей добычи. Она бы его взяла, да мы не пускаем, отгоняем ее святыми молитвами...

Я посмотрел в темный угол, потом на порог и ничего не увидел, только возле самого порога сидела кошка и умывалась. Я знал, что если умывается

кошка, значит — к гостям. Гостей никого не было, были все свои, значит, гостями будут черти. Так я решил и быстро отвернулся от темного угла и порога.

— А душа... Душа всегда будет жить, — продолжала матушка Ульяна. — «Жива будет душа твоя и восхвалят тя» — так говорится в священном писании. Сорок дней она будет жить вместе с нами, а мы сорок дней будем молиться за эту грешную душу, и только на сорок первый день она улетит к Богу. Отец игумен жил всегда с Богом и душу свою Богу отдает. Придет час назначенный, и смерть придет с косою отделять душу от тела и уйдет к другому. У нее, у смерти, есть книжечка, в которой записано, кто когда должен умереть. И мы с тобой в ней числимся. Бог дал жизнь, Бог ее и возьмет. Ведь тело наше — земля, из земли тело-то наше! Вот Бог взял кусок земли и вдунул в нее душу, и стал человек. А нет души, нет и человека. «Земля и в землю отидеши... Тамо то вси человецы пойдем».

— А разве душа грешная? Ведь она же от Бога?

— Душа-то? Когда дается Богом человеку, она чистая и безгрешная, а человек в суете-то мирской и засоряет ее своими деяниями грешными, забывает он, человек-то, что создан по образу и подобию Божьему... А уж когда много нагрешит, засорит свою душу так, что уж и сам разобраться не может, вот тогда и посылается за ним смерть и тащит этого человека на суд Божий. В животе и смерти человек не волен...

— А вот у нас родилась сестренка, прожила неделю и умерла. Ведь она еще и говорить не умела, и никакого греха не делала, а умерла. Это почему же?

— За грехи родителей, — твердо и уверенно проговорила матушка Ульяна и перекрестилась. Перекрестился и я, мне показалось, что Христос в углу мне улыбнулся, и я перекрестился еще раз. — А она, твоя сестренка, чиста и безгрешна. Она прямо попала в рай... Да ты подожди, не перебивай! На чем это я остановилась-то?.. О господи, память-то у меня стала куриная, прости меня грешную!.. Да, так вот. Возьмут эту душу человеческую, да и предстанет она перед Господом Богом в своих покаяниях, вот тогда-то и решится судьба этой души, узнает она, где ей место уготовано — в раю или в аду.

Я оглянулся и увидел черта в углу, с двумя рогами, сидит и слушает, а монашки с иголками и нитками стоят у новой постели игумена и поют торжественно и чинно песнь «Да воскреснет Бог и расточатся враги его». Кошка сидит на скамейке и слушает знакомые ей голоса, а от кошки тянется длинная тень и падает в угол, где показался мне черт. Кошка спрыгнула, и черта не стало. В окне — темная ночь и звезды.

— А что такое звезды? — спросил я матушку Ульяну.

— Звезды, которые побольше, это святые, а маленькие — это ангелы, духи небесные, а все вместе — царство небесное. Каждый человек имеет свою звезду, своего спутника в жизни...

## НА БЕРЕГУ

— У тебя клюет.

— Нет. Это малек играет.

Сонная река, разомлевшая от солнца, сквозь дрему слушает медленную, бесконечно длинную речь рыбаков. Они одногодки. С семнадцатого. Ровесники Октября.

— О чем думаешь? Почему молчишь?

— Думается, потому и молчу. О том, чего нет. Вот и реки стали задумчивыми. Я волжанин. Давно на Волге не был, а приехал — и не узнал ее. Задумчивая стала. Местами так даже зеленью, как ржавчиной, покрылась. Застоялась, бедная. Она мне такая не снится — снится живая. Плывет себе плавная, чистая, и в ее плавности нет покоя, изнутри ее чем-то живым распирает, сильным. Словно кто-то в глубине ее размешивает, переворачивает. Когда ей зазеленеть, заржаветь? Это лишь при такой рыбешке, какая вот здесь. Мелочь. И играет-то — словно капли дождя падают. Настоящая рыба пугает, вздрогнешь от ее силы, как плеснет ненароком. А тут тоска, скука. Ты посмотри, какую паутину паук над водою сплел. Раньше такого не было, да и быть не могло...

Действительно, паук плел паутину. То спускаясь, то поднимаясь, он растягивал свои нити, сплетал и расставлял сети между согнувшейся веткой ивы и застывшим листом кувшинки.

На поверхности воды крохотная ракета на длинных ногах перебрасывалась то в одну, то в другую сторону. Кто-то пускал маленькие пузыри, они всплывали и лопались. Лягушка голову высунула и тоже слушает разговор рыбаков.

— Слушай, давай выпьем. Может, на запах водки клевать станет? Может, у них, как у нас, а? А вдруг?

— У меня давно такое желание созрело.

— А раз созрело, реализуем. О чем говорить! Реализуем?

— Реализуем!

С другой стороны реки эхом вернулось: «... зум... зум... зум».

Выпили. И снова тишина. Лягушка нырнула в глубь озера, паук продолжал свою тихую работу, мертвые поплавки лежали на воде. Пролетела ворона. Запах медавицы, жарко, пусто.

— Почему прошлое нагоняет тоску? Почему мы в прошлом ищем и находим нашу жизнь, думаем, что тогда мы жили, а теперь вроде как и не живем? Почему прошлое кажется сказкой, а настоящее мукой? Вот снятся нам сны. А наутро, лежа в постели, мы гадаем: к чему бы это? Так и прошлое: тревожит, стучится, будит совесть. И всегда всему находишь оправдание. Для себя оправдание. Редко, когда себя осудишь и скажешь: виноват. Всегда другие у нас виноваты.

В тридцать седьмом моего отца посадили. Больше сорока лет прошло. Раньше я не думал об этом, теперь думаю. Не я ли виноват? Лет двадцать последних об этом думаю. Вина моя была, может быть, в том, что уж очень я влюбчивый был... Эх, налей-ка еще! Вот так... Приехал я тогда домой. В тридцать шестом Конституция вышла. Сын за отца не отвечает. Ну, мне и

посоветовали: езжай, езжай. Как же так, столько лет не видеть своих стариков? И я поехал.

— Что-то я в толк не возьму, как это — не бывать дома столько лет? Ах, ну да, да, я забыл. Ты ведь скрывал свое социальное происхождение. Так?

— Так. Скрывал. А Конституция раскрыла. Меня и при Конституции потом долго даже в профсоюз не принимали. А в партию я и не пытался. Потом много раз предлагали... Но может быть, я и жив остался по этой причине. Ведь нас, «лишенцев», в армию-то не брали. Я необученный. У меня — сто тридцать вторая. Когда в Польшу, Латвию, Литву, Эстонию пошли, в тридцать девятом, с нашего курса всех забрали, а меня как сына репрессированного никуда не брали. Как говорится, не было бы счастья... Повезло... Никому не пожелаю такого везения. Ну да ладно! Ничего в жизни бесследно не проходит. Царапины, шрамы, контузии всегда остаются. Я жизнь старался честно прожить. Это мне мать с отцом в наследство оставили. Конечно, грехи были, а у кого их нет. И может, много грехов. Ну, это потом... Давай, допьем... Эх, хорошо на воздухе, все выветрится! Будем здоровы!

— У тебя клюет.

— Это я ногой зацепил. Здесь, наверное, и рыбы-то нет... Ты слушай. Я никому никогда это не рассказывал. Все двадцать лет в себе носил. Место, понимаешь, уж очень похожее на то, где я с ней был.

— С кем?

— С учительницей той. Такой же островок. Такое же теплое лето. Такая же тишина. Вот запахов не запомнил. Помню только ее запах. От нее молоком пахло. Была у нее корова или нет... Погоди, откуда могла быть корова? Тогда коров ни у кого не было. А она — учительница... Губы и грудь ее помню. Особенно грудь, молоком пахла. Вот ведь сколько лет прошло, а запах остался. Мы с ней тайно встречались. Учительница — и вдруг с поповским сыном! Запомнил я особенно последнюю ночь. Луна была огромная-огромная, как подсолнух между кустов, предутренняя, перед самой зарей. Я тогда молодой был, больше разговаривал да целовался. Застенчивый был. Рассказывал ей, какой у меня хороший отец, как я люблю его. А я действительно любил отца. Я всегда его любил. Даже тогда, когда говорил, что у меня нет отца. Врал и любил. Говорил, что нет отца, нет матери, что они в голодном году, в двадцать первом, умерли. Так я с ними, мертвыми, и жил. До тридцать шестого года. А тебе приходилось говорить при живых родителях, что они мертвые?..

Она, наверное, влюблена была в меня. В том месте, где служил мой отец, и влюбляться-то было не в кого. Она приезжая, из города. Первый год после педагогического. А тут — деревня. С кем ей поговорить? А я из Москвы. В белых штанах, в белой рубашке. Для деревенских вроде как бы в подштанниках, смеялись. А по ее понятиям я одет по-современному. Да и поговорить ей со мной было о чем. Она Москву не видела.

Долго рассказывать не стану, перейду к самому главному, к тому, из-за чего она отца могла посадить. Я долго в своей голове доискивался: за что?.. Все это я как-то не так рассказываю. Тоски мало в моем рассказе, грусти. Когда я сам с собой, у меня все по-другому получается, обостренное. Мне иногда мать в

черном окне ночью является и разговаривает со мной. Открыл дверь и остановился на пороге: напротив — окно, а в окне — мать. Застывшая в ужасе. Я такой ее видел, когда она отравилась. Я еще совсем маленький был. Ее тогда откачали, и она осталась жить. Раздумывая в одиночестве, я научился видеть перед собою тех, о ком часто вспоминаю. Они видятся мне в освещенной комнате, через черные стекла ночного города. Недавно она смотрела в мою комнату, а за ее спиной мерцала огнями Петроградская сторона. Я не сказал ей: «Здравствуй!», я боялся ее испугать.

«В последний раз мы тебя видели с отцом, когда провожали в Москву. Был конец августа. Я часто тебя провожала. А частые проводы вроде бы и не расставания, потому я никогда и не плакала. А в этот раз и я и отец — мы оба плакали».

Я ей отвечал: «Я помню, в моем вагоне кто-то мне сказал: смотри, старики плачут, кого-то провожают. Я тогда молчал и делал вид, что вы не мои старики. Простившись с вами, я как бы перешагнул за черту, за которой у меня нет ни отца, ни матери. Ты же все знаешь».

«Знаю, знаю... Ты помнишь привычку твоего отца — всегда идти впереди. А я всегда сзади, отставала. Прежде чем уйти вперед, он сказал: “Я последний раз его вижу” Это он про тебя так. Потом вы выпили в буфете, и тогда он тебе это сам сказал. Вы не поцеловались. Я шла домой и думала о тебе. Я часто молилась и думала о тебе. У тебя в Москве какая-то девчонка, однокурсница. Что это за девчонка? И здесь, у нас, ты часто пропадал. Где ты? С кем ты? С вечера уходил, а являлся утром. Я понимаю, скучно тебе с нами, грустно. Чего у нас? Какие радости? Какие развлечения? Зимой сосед в петлю влез и удавился. Свиныю зарезал, а шкуру не сдал. Его к ответу призвали. Хотели в тюрьму посадить. А он возьми да и удавись. Про нас теперь так и говорят: “Поп живет рядом с домом, где мужик из-за свиньи повесился”. Какое уж тут веселье!.. Ты тогда телеграмму получил?»

Я действительно тогда получил телеграмму. Короткую. Второго сентября. «Папа арестован мама».

Я все время об этом думаю. Днем и ночью. Во сне и наяву. Лежу в постели, молчу и думаю. Передо мною станция Аркадак. Привокзальный буфет. Я и отец. Мать осталась на платформе. Мы стоим одни, в руках у нас полные рюмки. Мне двадцать лет. Отцу — за шестьдесят. Я никогда толком не знал, сколько отцу лет, знал только, что мать родила меня, когда ей было шестнадцать. Она была младше отца на много лет. Я никогда не знал, на сколько — двадцать пять, тридцать, может быть и больше. От нас, детей, это скрывали, да и зачем нам было знать? Мать любила отца, и я видел эту любовь. Я ее помню. Когда отца посадили, она ходила, ездила туда, куда можно было и куда нельзя, ко всем обращалась. И в Аркадак, и в Балашов, и в Саратов, ходила по тюрьмам, искала его. До тех пор, пока ее саму не посадили. Наверное, надоела своими слезами, каждодневными хождениями, дежурствами у дверей. Вот от нее и избавились...

Мы стояли с отцом у стойки буфета. Первый и последний раз я пил с отцом. Он мне сам предложил: «Я хочу с тобой выпить. Я чувствую, что мы

больше никогда не увидимся». Сказал он это просто, не торопясь, держа в дрожащей руке стопку. У него всегда дрожали руки. Они дрожат и у меня — тоже досталось по наследству. Я никак не ожидал услышать от него такое. А он смотрел в стопку и говорил, как заклинание, как молитву: «Запомни: никогда не теряй веру. Никогда с ней не расставайся. Что бы ты ни делал, в деле твоём должна быть вера. Хорошо, что ты идешь в театр, будешь артистом. Только верь. С верой и благоговением совершай свой труд, зарабатывай кусок хлеба. Не оскверняй храма своего, храм — в тебе самом, храм — душа наша. Трудись — и воздастся тебе, стучи — и откроются тебе двери познания жизни, ищи — и найдешь... Не обижай людей, ибо в человеке есть Бог. Бог — это человек». Много он еще говорил, но больше всего поразили меня первые слова: «Чувствую, что мы больше никогда не увидимся».

«Я видел сон, — продолжал отец. — Я всегда во сне летал как птица, всегда передо мною открывался широкий простор. А недавно снилось — лечу, а кругом провода. Много-много проводов, телеграфных столбов, какие-то проволоки. Я путался в проводах, вырывался и опять натыкался на них. Они мне резали руки, шею, лицо, тянулись за моими ногами и не давали взлететь...»

Я запомнил его сон. Я тоже часто летаю во сне. Но мне не снятся провода. Может быть, придет такое время, что они и мне приснятся? Мне отец часто говорил: «От сумы и от тюрьмы никогда не зарекайся!»

Я запомнил его последнюю службу. Двадцать восьмого августа. Большой церковный праздник — Успение. Мой поезд уходил часа в четыре или в пять, времени до его отхода было много. Утром я стоял на клиросе вместе с маленьким деревенским хором и пел. Я знаю церковные песни. Странно было бы, если бы я их не знал. Я и сейчас их помню. И часто пою. Один, про себя. А когда никого нет дома, пою вслух, повторяю запомнившееся мне пение отца. Я и теперь иногда захожу в церковь для того, чтобы вспомнить свое детство. Вспомнить отца, его пение. Мне уже давно за шестьдесят, а меня тянет к отцу, к матери. Я стою в церкви, наблюдаю обряд и сравниваю его с тем, который совершал отец. И думаю: у отца было лучше, красивее. У него был прекрасный голос.

Народу в тот раз в церкви было мало. Многие перестали ходить, потому что оказалось — ничего не страшно! Никого не убило, и ни у кого не отнялся язык, оттого что в городах и селах закрывались церкви, сжигались иконы и церковные книги. Никакого чуда не свершилось и никакой кары не последовало. Все оставалось на своих местах. Так же продолжали работать, рано вставать, доить колхозных коров. Жутко входить в конюшню, если пол ее выстлан иконами и по ликам святых ходят лошади и коровы. И такое видел.

Но ко всему привыкает человек. Так же выгребался из конюшен навоз, коровы спокойно стояли и так же тупо смотрели на людей, пережевывая свою жвачку. Ничего не изменилось. Люди перестали перед едой молиться, перестали читать молитвы на сон грядущий или рано поутру, и только старики да старухи тайком продолжали исполнять долг перед Богом и по-прежнему грозили пальцем молодым: «Бог вас накажет!» А молодые посмеивались и спрашивали у стариков: «А где он, ваш Бог, покажите?» Люди поняли — нет

больше греха, ничего не страшно! «Эй ты, поповская морда! Ты, длинноволосый, давай ножницы, окоротим твои патлы!» И было, когда отрезали. Под хохот и свист выпроваживали из сельсовета. Бывало и так: во время службы в церковь входили молодые парни, мальчишки, комсомольцы. С гармошкой и свистом выплясывали и с криком выходили. Или так: «Ты арестован! Вот бумага. Сиди и жди. За тобой придут». И отец ждал. Все серебро и золото, нательный крест, обручальные кольца, дарохранильницу, две серебряные ложки — все, что осталось ценного в нашей семье, забрали. Остальное давным-давно продано, чтобы оплатить громадный подоходный налог. Все описывалось фининспектором: столы, стулья, комод, зеркало, швейная машина. Если нечем было уплатить, все вывозилось и продавалось с аукциона. Сколько слез пролито моей матерью! Мне всегда помнится мать плачущая. Придешь из школы, а мать ревет. Все вещи сложены, трогать нельзя: описано! Налоги такие большие, что их не выплатишь. Их можно было только выплакать, чтобы скостили немножко.

«Ты арестован, сиди и жди!» И отец ждал. День, другой, никто не приходит. Отец идет в сельсовет. А там говорят: «Мы ничего не знаем. Не было такого указания. Тебя обворовали. Иди и живи спокойно». Кому рассказать? Кому пожаловаться. «Иди и живи спокойно»! Сколько было таких арестов, и сколько раз отец прятался, куда-то уезжал. Я сам его отвозил на лодке. За пятнадцать-двадцать километров. Высаживал на другом берегу, мы прощались, дальше он шел пешком. Куда? Не знаю. Я возвращался домой. Через две недели он появлялся. Об аресте забывали, компания арестов проходила. Можно было жить спокойно. До следующей тревоги. Закроют церковь, отец переезжал в другое село, туда, где церковь еще существовала. Куда девался предыдущий священник? Наверное, бросил все, скрылся в неизвестном направлении. Сколько таких сел прошло за последние мои пять лет в родительском доме, в какие только места Саратовской области не приходилось переезжать, переходить пешком, отыскивая новый приход, новую церковь! И не знали, сколько можно будет тут прожить — год, два или месяц. Целый год — это редкость. Я очень хорошо помню свой приезд к отцу в тридцать третьем году... Раны не обязательно остаются лишь после огнестрельного или холодного оружия, раны глубокие, незаживающие остаются от самого страшного оружия. Это оружие — жестокость, отсутствие милосердия... Я долго жил, скрывая свое происхождение, а когда на меня донесли, не выдержал. Взял веревку, нашел крюк. Помешали. Пришли студенты, мои товарищи — я тогда учился в школе при Театре Красной Армии. «Что ты тут делаешь?» Не мог же я им сказать: «Хотел повеситься».

У меня не было продуктовой карточки. Ничего не было. Домом была улица. Мой район — от Трубной площади до Екатерининской, все подъезды, все трамвайные будки. На бульваре, помню, выстроили площадку для оркестра. Я зимой на ночь залезал под нее и там спал. Отморожены щеки, уши, на мне короткое полупальто, от мехового воротника осталась только голая кожа, на ногах спортивные тапочки и галоши, вместо носок — дамские чулки. Их можно было не штопать, а подрезать и подгибать. Брюки дырявые, чиненые-



перечиненные. Одна рубашка. Я красил ее в разные цвета. Она была серой, желтой, зеленой, синей и наконец стала черной. Там, где теперь военная гостиница, стояла Красная церковь. В ней находилась столовая. Я приходил, подбирал остатки еды, да так, чтобы никто не заметил. По вечерам в этой церкви проводились длинные партийные собрания. На этих собраниях можно было сидеть и беспартийным. Проходила «чистка». Беспартийные помогали чистить партию. Теперь я могу сказать, что видел и слышал, как проходила «чистка». Я на ней присутствовал.

Мне кто-то помог устроиться бутафором в Реалистический театр к Охлопкову. По договору взялись мы вдвоем с товарищем делать все деревья, всю траву, все листья. Бутафорская мастерская помещалась в подвале. Работали ночью. Потом я остался жить в мастерской. В этой мастерской я и перекрашивал свою рубашку.

В подвале жил костюмер со своей старухой женой. Они знали, что мне негде жить, и тихо, чтобы никто не видел, пропускали меня в подвал. Я прятался под бутафорским материалом. Мешковина, картон, мочало, тряпки, фанера — вот под это забирался и спал.

В тридцать третьем и тридцать четвертом в Москве было строго. Наказывали тех, у кого кто-нибудь ночевал или жил без прописки. Все боялись. Соседи сразу же сообщали куда надо. Бдительность, как в войну. А эти добрые старик и старуха сжалились надо мной и, рискуя быть обнаруженными, пустили в подвал. Я спал там до тех пор, пока не лопнула канализационная труба. Проснулся среди ночи оттого, что весь мокрый. Слышу, ведрами вычерпывают воду, чувствую, что и сам в воде, а кругом страшный запах канализации. Мне ничего не оставалось делать, как вылезти из укрытия и сказать, что это я сам сюда забрался.

Опять — улица. Придешь на центральный телеграф, чтобы немножечко согреться. Как будто телеграмму посылаешь. Сядешь за стол, бланк положишь, и только ручкой его коснешься, сразу засыпаешь. А поспать не дадут. На плечо уже ложится рука милиционера, трясет. Ответ всегда один: «Я посылаю телеграмму!» А на бланке от пера длинная нить синих чернил, сверху донизу. Ни одной буквы не успевал написать, только точка и длинная нить...

Я порой задаю себе вопрос: что такое счастье? Когда оно приходит? Когда проживешь много лет? Но сколько — девять, двадцать, тридцать? Тогда лишь можно спросить себя: есть у тебя счастье или его никогда и не было?

У меня счастье есть. Мое счастье в моем несчастье.

Я хотел повеситься, избавиться от своего несчастья. А теперь в моей профессии пригодилось и это, и все, что я испытал, что видел, пережил. Не по книгам, а наяву. Жизнь такую прожил, что теперь она сама влезает в мои роли.

«Убери живот! Что ты его распустил, как баба?» «Это после голода осталось», — отвечаю. «Где голод, какой голод? Ты откуда такой?» Отвечаю: «Нижнее Поволжье, там многие тогда распухли от голода. Вот и у меня от голода живот стал пухнуть. Это пройдет». «Ты что тут кулацкие разговоры разводишь? Деревня! За такие слова знаешь куда тебя? Голод! У нас нет голода! И не может быть. Понятно?»

Если бы они только узнали, что мой отец поп, узнали, каким образом я пробрался в театр, да еще в такой, как Театр Красной Армии, что бы тогда было со мной! Куда бы меня отправили, в какие края!

... Первый раз я увидел Москву осенью тридцать третьего года, в октябре. На Мясницкой улице, на длинном заборе большими буквами было написано: «Метрополитен». Меня остановил этот плакат. Я долго не мог понять, что это такое — метрополитен. Я знал митрополита и страшно был поражен. Как же это так? У нас закрывают церкви, разгоняют попов, а здесь за забором, на главной улице Москвы — метрополитен! Я решил, что тут живут митрополиты. Я не знал, как правильно пишется — митрополит или метрополит.

В октябре в театральных школах уже давно шли занятия. Прием еще продолжался лишь в школе Театра имени Мейерхольда. Я сунулся туда. Если мне не изменяет память, сам Мейерхольд сидел за столом в зрительном зале. Вежливо сказал: «Молодой человек, подрастите и через годик-другой приходите».

Объявляли прием в Музыкальную школу имени Гнесиных. Там готовили артистов оперы. Я знал, что у меня есть голос. Подаю заявление и прохожу первый тур. С удивлением обнаруживаю в списках свою фамилию — допущен на второй.

Зрительный зал набит битком, идет второй тур. Слышу свою фамилию. Иду на сцену по проходу через весь зал. Вижу, как по другому проходу идет такой же молодой человек. Мы вместе поднимаемся на сцену. И тут выясняется, что это его допустили, а не меня. Мы — однофамильцы. Под хохот зрителей по бесконечному проходу иду обратно. Больше в школу Гнесиных я не являлся...

Хожу по Москве и вдруг читаю объявление: «Театральный техникум при Театре Красной Армии объявляет набор студентов». Подаю заявление, прохожу туры, и меня зачисляют студентом первого курса. Так я попал в театр. Общежития не было, да я и не требовал. Я ничего не требовал. В моем положении нельзя было требовать.

Тридцать третий год... Это год, когда в меня «выстрелили». Не убили, но рана не зажила до сих пор. Может быть, эта рана — мое счастье? Может быть, так и должно было случиться, чтобы я ощутил, что значит быть «пегий»?

Теперь, когда я играю Холстомера, я знаю, о чем говорю. «Я задумывался над несправедливостью людей, осуждающих меня за то, что я пегий».

ТРАМ — Театр рабочей молодежи. Я пришел туда из школы ФЗУ. Был комсомольцем, активистом. Я с двенадцати лет работал и как будто ни в чем не отличался от своих товарищей, которым не нужно было при живых родителях говорить о них, что они давным-давно умерли. Шесть классов образования и фабрично-заводское училище. Меня как комсомольца губком посылал в период коллективизации в деревню работать с молодежью. И я работал, верил в то, что моя работа необходима. Сам полуграмотный, учил неграмотных. А сколько их было в ту пору! Научатся писать свою фамилию — уже победа, ставили ему в графу — грамотный.

В закрытой церкви — клуб. Я организовываю комсомольскую ячейку. Я,

поповский сын! Комсомольскую ячейку в церкви! Я носил юнгштурмовку. Не каждому ее давали, нужно было заслужить. Я, мальчишка, ночами дежурил у ответственного телефона. Мои распоряжения — закон.

Права у комсомольцев огромные. Это не то, что сейчас — написать бумагу, послать ее к другому, высшему начальству, тот наложит резолюцию... Тогда было проще. Пришла баржа — снимаю трубку, звоню в тюрьму: «Прошу прислать пятьдесят человек на разгрузку». Сажусь вместе с милиционером в одно седло и еду проверять. Темно. Осень. Грязища. Старая Самара. Но в старой Самаре новые времена. И это новое делали мы — мальчишки и девчонки. Работа у нас — взрослая, ответственная.

И вдруг как гром — поповский сын!

«У нас в театре работает поповский сын». Это в ТРАМе-то! Кто-то из моих родственников постарался. ЧП! Я стою в репетиционном зале, вокруг меня мои бывшие товарищи. Теперь я им не товарищ, а злостный враг. Меня пригвоздили к позорному столбу. Конечно же, не все. В каждом коллективе есть пять-шесть человек с совестью. Они жалеют.

Кричали, ярлыки всякие клеили. Заявляли, что таким, как я, не место в театре, и не только в театре, но и в обществе. Постановили: отправить в трудовую колонию на перевоспитание.

Опять вспоминаю Холстомера: как пригодилась мне эта сцена!

Я стоял и плакал, мне было шестнадцать лет.

Как ни старались люди сделать из меня стального человека, как ни старался я сам помочь им в этом, железное, стальное во мне не укоренилось. Я на глазах у всех расплавился, расплакался. Я стал чужим, со мной никто не разговаривал, прятали от меня глаза, держались так, как будто бы меня и вовсе тут нет. И это вчерашние мои друзья, мои товарищи! После этого верь в дружбу. Если бы я тогда на глазах у всех умирал, никто бы не подошел. Я уверен.

На другой день утром я забрал свои документы и почему-то впервые в своей жизни купил билет первого класса, сел на пароход и уехал к отцу. Мне больше некуда было ехать.

Теперь я с ними иногда встречаюсь. И никто никогда не вспоминает о том, что тогда со мной сделали. Может быть, не хотят вспоминать потому, что им теперь стыдно за свое прошлое? А может быть, забыли? Зачем им помнить? То, что со мною было, — будни, дело для того времени обычное...

У меня на запахи особая память. Люблю запах полыни. Здесь ее нет. Но когда слышу — дурею. Откуда она, полынь, так крепко влезла в меня и манит, как будто бы от нее, от ее запаха, грудь мою распирает и наполняется душа чем-то чистым, светлым и таким родным, близким, что сразу и не поймешь, не разберешь, что это такое. Может быть, это оттуда, с Волги, со степей. Может быть, когда я родился, первый раз вздохнул, я и отравился на всю жизнь запахом полыни. Так остается на всю жизнь и запах материнского молока и потому кажется, что женская грудь пахнет молоком. Дуреешь от этого запаха. Уносишься в бессознательное детство, когда единственной радостью была материнская грудь, теплая, родная, блаженная. Я всегда чувствую ее в своей руке. Ее сосок упирается в мои ладони.

Это, наверное, старость. В молодости я так не думал, не чувствовал.

Мы с тобой, два старых дурака, вот выпили и о потерянном вспомнили. Нет, это не вино во мне заговорило, а тоска. Тоска! Боль невыносимая, невысказанная боль. В прошлом неосознанная, она теперь заговорила. Нет моей вины перед отцом, нет! А все думается... Лезет в голову мысль. Лезет, тревожит... Ей, этой учительнице было столько же лет, сколько и мне. Двадцать. Ничего не помню — ни цвета волос, ни какие глаза, покажи мне ее — не узнаю. А вот тепло осталось. Запах остался. Я, наверное, ей нравился. Не могла же она просиживать целые ночи со мной только от скуки. Наверное, была влюблена. А в голову приходит — а вдруг была подслана? Вот что мне теперь мерещится. Вдруг она это специально?.. Да нет! Нет! Не может этого быть! Это я теперь, в старости, стал таким подозрительным. А как не быть подозрительным? За свою жизнь я многое повидал. На удивительное и удивляться перестал... Она, может быть, надеялась на меня, мечтала, строила планы. А может, любовь у нее была. А у меня — забава, развлечение.

— Постой, я что-то не пойму. Что ты ей говорил? — выдавливая каждое слово, допытывается мой приятель. — Лостой, у меня все смещалось. Мы, наверное, много выпили, я нить потерял, понимаешь. Кто кому говорил, кто кого посадил? Нет, погоди! Что ты ей говорил?

— Я ей рассказывал, как отец, мой отец возмущался тем, что построили детский сад рядом со свинарником.

— Ну и что?

— Не понимаешь ты! Я говорю, построили около церкви, недалеко от ограды, большой свинарник, развели грязь и вонь на всю площадь. Это называлось антирелигиозной кампанией. А потом рядом со свинарником построили детский сад.

— И кому же это в голову пришло? Какому дураку?

— Вот и я теперь так думаю. А тогда... В те времена за такие мысли, знаешь... — это я ему говорю тихо, совсем тихо. — Отца могли посадить и не за это. А просто потому, что поп. Но вот пришла мне в голову мысль, что его учительница посадила. Отомстить хотела, понимаешь? Машина пришла грузовая с солдатами, и увезли...

Двадцать восьмого августа я уехал. Мы с ней расстались. А второго сентября я получил телеграмму: «Папа арестован». Вот что меня и заставило задуматься. Вот я теперь и убиваюсь...

— Ну а ясли? Ясли убрали?

— Нет. Церковь закрыли.

— А при чем тут учительница?

— Пьяный ты. Совсем опьянел. Это же потом, через много лет, пришло в мою дурацкую голову, что это она, учительница, могла обозлиться на меня за то, что я от нее уехал, и в отместку донести. Время было такое. Сын или дочь могли заявить и об отце и о матери. В газетах печатали про тех, кто выполнил свой долг — отказался от своих родителей-врагов. Портреты отказавшихся помещали. Иным хотелось прославиться на всю страну, быть в передовой шеренге и петь громче всех.

— У нас водка кончилась... Нет, ты что-то не то говоришь. Были, конечно, выродки, но чтоб отца, мать... Это, знаешь...

— Ты отца своего любил? Скажи, любил? У каждого человека есть отец. Но мы не всегда понимаем своего отца. Бывает так, что наша сыновняя любовь к отцу открывается нам через годы. Может быть, тогда, когда отца давным-давно уже нет. Но не обязательно смерть отца открывает нам нашу любовь — открывает ее наш собственный опыт. Когда мы сами испытаем то, за что, может быть, презирали своих отцов. Испытав, вспоминаем родителей и начинаем раскаиваться, чувствовать свою вину перед ними. Да...

Я любил своего отца, всегда, всю жизнь, с самого детства, с тех самых пор, как себя помню. Я помню, как венчался он с моей матерью. Я тогда сидел дома, один. Они мне сказали, что туда, куда они идут, мне нельзя. Они идут венчаться! Свадьбы не было. Это я уже сейчас понял. Почему не было? Может быть, я ее проспал? Или они меня обманули, точно так же, как я обманывал своего сына, чтобы освободиться от него, чтобы сидел он дома, не цеплялся за нами... Ты что, спишь, что ли? Скучно тебе? Эх, никому мои болячки не нужны! Никто их до конца выслушать не может! Ну и хрен с тобой!

— Нет, я не сплю. Я просто глаза закрыл. С закрытыми глазами больше видится. Где-то я слышал, что глаза получают информации восемьдесят процентов, а уши — только двадцать. В голове моей идет работа. Большая работа. Вот первый вопрос. Почему мы не умеем жить? Сколько нас учат, сколько нас исправляют, и все без толку! И все мы не туда идем. Нет!.. Вроде бы и туда, и кажется, быстро продвигаемся, бежим, а куда? Посмотришь — стоим на месте. Даже... я тебе так скажу — назад двигаемся!.. Вот у меня — галстук, и рубашка, и костюм — не в лаптях же я, не в портках домотканых, вроде бы и культурный, а вот злости во мне стало больше. Злее становится человек. Я вот слушаю тебя и не слышу. Только двадцать процентов. Понимаешь, я и слушать разучился. Глухим становлюсь. Вот говорит радио на полную громкость, а я его не слышу. Не влетает оно в мое ухо. Оно у меня выключено. Привыкло к тому, что говорят. Автоматически отключается. Ты вот — о себе, а мне о себе хочется говорить. Потому и думаю я о своем, а не о том, что ты рассказываешь... У каждого есть что рассказать. Даже не рассказать, а как бы вслух пропустить через себя свою жизнь и за эту жизнь пожалеть себя. Какой-то дурак сказал: человека не нужно, нельзя жалеть, ему нужно помочь. Может быть, оно и верно. Только помогать трудно. Жалеть легче. Может, оттого и безжалостные стали, что помогать нечем, а жалости нет. Нужно жалеть! Жалость, она как ласка, а я вот — неласковый. Кто скажет кому-нибудь хорошее слово? Живому — нет, редко-редко... Мертвому — да. Люди, как осенние мухи, кусачие. Я и сам — муха, попавшая между рам: летать есть где, а вылететь некуда. Кругом — стекло. Все видно, а достать невозможно.

— А ты разбей, разбей стекло! Ты же человек, а не муха.

— Чудак ты! Разбей... Люди всегда придумают такое, чтобы осложнить, затруднить. Придумали такие толстые стекла, в которые видна жизнь, а пробиться к ней, к этой жизни...

А паук все плел паутину, то опускаясь, то поднимаясь. Он растягивал свои нити, сплетал и расставлял сети между согнувшейся веткой ивы и застывшими листьями кувшинки.

### ПАРОХОД «ЧИЧЕРИН»

Пароход назывался «Чичерин», скорый. Я никогда не плавал в первом классе, всегда в четвертом. Только иногда, когда меня отправляли в школу к бабушке с дедушкой, мне покупали билет третьего класса. Поручали меня каким-нибудь хорошим пассажиром, и я, пристроившись в салоне, набитом мешками, корзинами, кошелками, узлами, плыл в Самару.

В четвертом классе мы постоянно ездили из Балакова в Самару и из Самары в Балаково. Мать возила продавать кур в деревянных клетках. Всегда устраивались на корме. О первом и втором классе я только мечтал, туда с нижних палуб никого не пускали. Тайком проползешь, увидишь ковры, золотые ручки, зеркальные двери, хрустальные люстры... Там был совершенно другой запах. Сдобный, конфетами и шоколадом пахло, Волгой, но только другой, первой Волгой, а не нашей, нижнего класса. На корме каких только запахов не услышишь: тут и вобла, и туалет, и смола, и пар, и куры. И сапогами, смазанными дегтем, и лаптями, и портянками, и квасом, и огурцами, и луком, и черным душистым хлебом, и белым калачом с хрустящей корочкой, и спелым сахарным арбузом — всем пахло.

Спят здесь прямо на железе, вповалку. Если ночью заглянуть, то только во сне может присниться такая картина, наяву такого не бывает. Спят так, словно их с пристани грузчики побросали — где руки, где ноги, где голова, чьи руки, чьи ноги, чья голова? Распластуются, разбросаются... Все спят словно одна большая семья.

От такого горя, как у меня, думать нужно совсем о другом, а я покупаю билет первого класса, вхожу в роскошную одноместную каюту и еду домой, к отцу и матери. Что это, легкомыслие? Протест? Денег нет, из театра выгнали. Как Чацкий, «бегу не оглянусь. Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!» А где может быть такой уголок, как не дома? Плыву по Волге, наслаждаюсь первым классом, утопаю в кожаном широком мягком кресле, валяюсь на таком же кожаном широком диване, на белых простынях, пуховых подушках. Мне и во сне такое не снилось!

Расхаживаю по палубе полноправным пассажиром, обедаю в ресторане, ем уху, пью жигулевское пиво. Самоваров уже в то время не было, на палубе чай не распивали. Жили по продовольственным карточкам, на которые получали паек. Ничем другим «отовариться» не было возможности. Хлеб я получил перед отъездом на весь месяц вперед, у меня было несколько буханок. В Сызрани я их продал по десять рублей за буханку: ведь там, куда я еду, хлеба много. В пошивочной мастерской заказал пальто. Моя зарплата в театре — сто восемь рублей, в тридцать втором — тридцать третьем годах — сумма большая. Такую зарплату я потом долго не получал. Проработав много лет, уже

«заслуженный», получал тысячу рублей (по-новому). Но на эту тысячу нельзя было купить того, что можно было купить на сто рублей в те годы.

От первого моего актерского пальто пришлось отказаться, забрать обратно аванс, отовариться хлебом, сахаром и бежать... Бежать, чтобы меня никто не нашел. И вот я на «Чичерине».

Сколько раз я встречал его на пристанях, в Балакове, в Самаре, плавал на нем мальчишкой вместе с матерью в четвертом классе, и вот... В шестнадцать лет я играю роль взрослого пассажира первого класса, не на сцене, а в жизни. Быстро прошла обида, слезы высохли. Родилась новая тревога, новое беспокойство. Только бы мне не встретиться с ними, только бы не узнали, где я теперь и где потом буду!

Донес на меня мой дядя, муж сестры матери. Он был бухгалтером в Театре юного зрителя, а наш Саратовский ТРАМ находился первое время в том же помещении, где и тюз. Я был активным комсомольцем. О проделках дяди, о его растратах я ничего не знал. Когда его посадили, для меня это было такой же неожиданностью, как и для его жены, моей тетки. А он, выйдя из тюрьмы, решил, что во всем повинен я.

Может быть, виновата чайная ложечка? В те годы существовали торгсины. Я сдал теткину ложечку в торгсин и купил конфет. Тогда в торгсинах было все, как в заграничном магазине. Подвела меня совесть. Кроме конфет я купил тетке мыло, сказав, что мне дали его в театре. Тетка сразу догадалась, откуда такое хорошее мыло и куда девалась ложечка. После скандала я ушел из дома и поселился в театре.

Если бы не было случая с чайной ложечкой, моя жизнь, может быть, сложилась бы совсем по-другому. Я встретил дядю через много лет. Дядя так изменился, что, не окликни он меня, я прошел бы мимо. Это был уже не тот дядя, толстый, крепко сколоченный главный бухгалтер, всегда выбритый, вымытый и душистый. Меня окликнул босяк, пропойца с мятым, припухшим носом, беззубым ртом, в до дыр изношенном костюме. Со стороны можно было подумать, что я обнимаюсь с бродягой, нищим, которые стоят у церкви. А он все целовал и целовал меня. За что? Я ведь тогда зло подумал: так тебе и надо! И только спустя много лет я простил его и даже благодарил в душе за то, что он сделал со мной в мои шестнадцать.

Это он устроил так, чтобы я прочувствовал, как тяжело, как горько тому, кто прошел через невыносимую боль оскорблений, унижений. Один удар за другим сыпались на меня в кругу товарищей и друзей. «Вот он, поповское отродье! Ему не место среди нас! Театр — трибуна. Что он будет говорить с трибуны? Вести вражескую пропаганду? Кулаки, подкулачники, попы, буржуи — всех их нужно уничтожить! Кутейник! Враг! Мракобес! Сколько ездили вот такие, как этот холуй, ублюдок поповский, на нас, на наших спинах! Теперь наше время пришло! Рабоче-крестьянское, пролетарское! Вон его! В колонию! На перевоспитание в социалистическом духе!»

Но ведь до этого моего «разоблачения» и я кому-то кричал такие слова, и я обрушивался на «чуждые элементы», и я размахивал руками, грозил кулаком и был твердо уверен в своей правоте. «Весь мир насилья мы разрушим до

основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».

Я вместе со всеми разрушал и строил. Был барабанщиком, горнистом, юным корреспондентом «Пионерской правды», комсомольцем, активистом. Бывал на всех «прорывах», куда направлял комсомол. Коллективизация! Индустриализация! И вдруг — бац по морде! «Влез в наши ряды!» «Затесался!» «Шкура!» «Враг, бей его!» «Не наш, чужой». Чужой?

Как же мне теперь все это пригодилось на сцене! Иногда текст роли Холстомера, моего «пегого», возвращает меня в мое прошлое, болью отзывается в моем сердце и передается моему зрителю. Слово наполняется живой кровью, в глазах — живые картины... Благодарю то время, жестокое, суровое, несправедливое. Оно дает мне счастье в моей повседневной работе. Вот уж воистину — не было бы счастья, да несчастье помогло!

... Широкая, просторная палуба парохода «Чичерин». Полы блестят, надраены ручки, зеркальные двери. Капитанский мостик золотом отливает, на нем сам капитан, мечта моего детства, и я.

Бегу. Скрываюсь. Разгуливаю по палубе. Раскачиваюсь в плетеных креслах-качалках. И Волга с высоты, на которой я нахожусь, совсем другая, она не на уровне моих глаз, а внизу, подо мной. Так далеко видно, словно с колокольни: вода, острова, горы, степи, встречные пароходы, баржи, плоты, беляны, лодки, рыбаки и берега. Берега, по которым пешком прошел я много верст. А сколько было выпито волжской воды! Тогда можно было пить ее не через водопроводные трубы. Зачерпнешь кружкой или ковшом и пьешь, пьешь, пока не напьешься... Никакого тебе запаха нефти, мазута, химикатов и всего, что стекает у больших и маленьких городов через канализационные трубы в Волгу, собираясь желтыми, серыми, черными пятнами у берегов.

Где ты увидишь еще такую сцену? Небольшая пристань, пароход только что причалил. Стоянка несколько минут. Слышу хриплый голос матроса с пристани: «Осади назад, осади назад!» Смотрю и вижу: на пристани цыгане с мешками, тюфьями, подушками. И краски: желтые, зеленые, красные. Матрос загородил собою сходни, вцепился руками в поручни, не пускает цыган. Цыгане навалились на матроса и с криком, руганью прорвались в нутро парохода. Третий свисток — и наш «Чичерин» отчалил.

Я спустился вниз и застал такую сцену. Цыгане широким кольцом окружили молодого капитана в белом кителе с надраенными золотыми пуговицами и горланят, возмущаются, размахивают руками. А капитан высоким тенором кричит: «Осади назад! Осади назад!» Тогда молодая цыганка с ребенком на руках и с раскрытой грудью подошла близко к капитану и прокричала ему: «Ты что выпендриваешься? Ты что выпендриваешься, голубчик?» Обернулась к своему цыгану: «А ну, подержи!», передала ребенка, а сама взяла свою грудь в руки, надавила на нее, и из темного соска протянулась длинная струя молока, вырисовывая на капитанском кителе молочные узоры. Хохот на всю Волгу, а молодой капитан стоял красный и молчал. Цыгане купили пять билетов, а на пароход село их пятнадцать.



А свистки, пароходные гудки... Где они теперь? Их ликвидировали: мешали отдыхать, нарушали тишину. Их заменило радио. Человеческий голос, натруженный, хриплый, а то и пропитой, объявляет первый, второй и третий свисток. Гудки раньше специально подбирались для каждого парохода. Были гудки тенористые, басовые, баритональные с переливами, они разливисто возвещали о подходе или отправлении. По гудку волжане безошибочно узнавали название парохода, гудок звучал как музыка. Теперь гудок — электрический, грубый, железный, потусторонний.

Хлеб, чем ниже плывем, становится дороже и дороже. В Вольске такая буханочка, за которую в Сызрани я получил десять рублей, стоит двадцать. Почему такой дорогой хлеб там, где всегда его было много? На пристанях никаких базаров. Пусто. Балаково. Моя родина. Все так же справа горы, впереди Маруськин остров, слева степь полынью пахнет... А вот и церковь кладбищенская, самая высокая в городе, а вот и затон, стоят на ремонте пароходы. Судоремонтный завод, баржи, разрозненные плоты... Так все знакомо, такое родное! Здесь мы, мальчишки, купались, ловили рыбу, ныряли, доставали дно, тонули.

Здесь я родился. Если меня спрашивают, когда я родился, я рассказываю: родился в год, когда был царь, потом пришли «временные», а потом большевики. Конечно, я ничего не видел и не слышал, все смены властей происходили без моего вмешательства, меня носили на руках, кормили грудью, пеленали, меняли пеленки. Мать рассказывала, что у меня развязался пупок и если бы не отец, то февральской революции плохо было бы без меня, она лишилась бы моего громкого рева. Ну а при большевиках я уже крепко сидел в материнских руках и вполне сознательно, судя по выражению моих глаз на фотографии, смотрел в фотоаппарат и ждал птичку. Это единственная фотография, которая досталась мне от родителей. И еще остался большой крест отца. Это все мое наследство. Но это неправда. У меня наследство огромное. Все, что во мне, в моей крови, в моих генах, в моем сердце, в душе — от отца и матери.

Они мне все отдали. Я был у них первый. В меня вместились вся их страсть, вся любовь, все, что сплеталось в случайном или задуманном ими моем зачатии. Я родился на волжской земле, сдобрен степным волжским воздухом, ароматом жигулевских гор и окроплен волжской водой.

... Пароход «Чичерин» приближается к Балакову. Я возвращаюсь на родину.

## **КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА**

В субботу я сходил в Управление Закавказской железной дороги и получил бесплатный билет до Сталинграда, чтобы потом пересесть на пароход и провести свой отпуск на Волге.

Мой первый сезон в Тбилисском театре юного зрителя кончился. Я сыграл три большие роли и сломал ногу, спускаясь со сцены в зрительный зал. Пока лежал в больнице с подвешенной ногой, ухитрился перелицевать старое

демисезонное пальто.

Потом были гастроли в Батуми. Там я увидел в первый раз море; вода оказалась не черной, хотя море и называется «Черное». Целебное море — нога быстро зажила, и я перестал прихрамывать. Первый раз пил на набережной кофе по-турецки, почему-то с холодной прозрачной водой. Так делали все вокруг. Такой кофе я нигде потом больше не пил.

В первый раз увидел я и что такое тропические дожди и как быстро просыхает после них земля. Все в первый раз! Приморский бульвар, Пионерский парк, наполненный райскими запахами... И дельфины, много дельфинов. Они играли совсем близко у берега, их скользкие спины перекатывались, морды высоко высовывались из воды. Они показывали белые животы, казалось, вставали на хвост и стояли во весь рост. Когда я их увидел, подумал, что это киты.

В Батуми первый раз испытал я страх от взрыва снарядов. Дом, в котором я жил, вздрагивал, звенели разбивающиеся стекла... Ночная учебная тревога. А мы решили, что началась война с Турцией. Днем все рассказывали, кто что пережил в эту ночь. Сашка Гинзбург схватил чемодан и вместе с женой побежал в сторону Тбилиси. Кто-то спрятался под кровать... Много смеялись. Но смех был беспокойный, словно мы все были немного чокнутые.

Май месяц. Хороший месяц в Батуми. У нас успешно прошли гастроли. Правда, потеряли одного актера — утонул. Жалко было его — и человек хороший, и актер. Забыл его фамилию, помню только — начиналась на букву «Т». Он играл в спектакле «Музыкантская команда», поставленном Г. А. Товстоноговым. Играл трубача, бессловесную роль. Я потом заменил его в этой роли и, играя ее, всегда получал удовольствие.

Было во время гастролей и смешное. Смеялись над артистом, который всегда попадал в неловкое положение. Есть люди, с которыми вечно что-то случается; чаще всего это добрые люди. Какая-то женщина попросила его присмотреть за ребенком в детской коляске, а сама ушла в магазин. Ребенок проснулся, увидел перед собой чужого лысого дядю, начал реветь, кричать «мама!». А Коркашвили (такая была фамилия у актера) стал его успокаивать и катать коляску, отчего ребенок кричал еще громче. Собралась толпа. Выяснилось, что Коркашвили не знает, чей это ребенок. Он пытается объяснить, как было дело, а ребенок орет. Рассказу артиста не верят, предлагают забрать его в милицию, а тут как раз и милиция. И забрали его вместе с ребенком. Тут уж стал кричать Коркашвили, что мать ребенка в магазине. Ничего, отвечали ему, в милиции разберемся. Как мать звать? Ах, не знаешь? Поехали в отделение! Коркашвили сопротивляется. Хорошо, что крик его услышала в магазине мать. Его уже обвиняли в том, что он пытался украсть ребенка.

В другой раз он сидел на высоком берегу и смотрел в бинокль вниз, рассматривая ракушки у самого моря. Вдруг почувствовал руку на плече, оглянулся — перед ним пограничник. Пограничник спрашивает: «Что вы здесь делаете, чем занимаетесь?» «А вот, — с удовольствием отвечает Коркашвили, — моллюсков разглядываю!» «Да? А ну пойдете за мной!» — и

отбирает бинокль. Пришли на пограничный пункт, разобрали весь бинокль, выяснили, кто такой Коркашвили, собрали бинокль, вернули ему назад и категорически заявили, чтобы с биноклем больше на берегу не появлялся. За шпиона приняли...

Первый раз я как настоящий артист отправляюсь с женой отдыхать на Волгу.

Жили мы в театре. Что-то произошло с финансами, и театрам запретили оплачивать приезжим артистам гостиницу или снимать для них квартиры и комнаты. А у артистов, конечно, не было денег, чтобы самим оплачивать жилье. Поэтому приезжие стали жить в театре. Мне досталась женская примерная.

... Завтра мы уезжаем в Сталинград, на Волгу. Идут последние приготовления, а сегодня вечер в ресторане по случаю окончания сезона. Собралось несколько человек, в основном новенькие. Ну и, как в каждом театре, «старенькие», приветливые, гостеприимные, любители выпить за чужой счет. Смеялись, пели, произносили тосты, стараясь подражать местному обычаю. За год мы уже стали привыкать к грузинскому застолью. Но после русской водки вино казалось мне квасом.

Я рассказывал про Волгу, стараясь соблазнить других поехать отдыхать с нами на пароходе. Последние дни мне каждую ночь снилась Волга, пароходы, я слышал их запах, предвкушал удовольствие от того мгновения, когда вновь их увижу, услышу раскатистые протяжные и короткие гудки. И пароход, белый, чистый, с широкими палубами и уютными каютами подойдет к пристани и, тяжело вздохнув, застынет. И будет красоваться, впуская и выпуская пассажиров. Я вдохну знакомый с детства запах воблы, смолы, полыни, машинного отделения, запах своих земляков. Мы зайдем каюту первого класса. Теперь я артист, я имею право ехать там, где мечтал ехать еще в детстве и куда поднимался только украдкой, чтобы хоть одним глазком взглянуть, что там делается. В детстве я знал только третий и четвертый класс с бочками, мешками, рогожными тюками, свиньями, коровами и лошадьми. Сколько эти нижние классы оставили в моей памяти песен, рассказов и запахов. Может быть, потому и люблю я пароходы... Ну вот, вспомнил фамилию утонувшего артиста — Хотько!

В субботу после ресторана утомонились поздно. Утром нас разбудили соседи. Они тоже проспали первое сообщение и с похмелья не разобрались, о какой такой войне говорят, когда все тихо, музыка играет, солнце в окна светит. Какая война? Где война? Глаза после короткой ночи не продираются.

— Вставайте! Проснитесь! Война! Немцы бомбили Киев, Минск...

Вот тогда глаза и продрались, когда плеснули в них войной.

Выбежали на улицу. Никакой войны, всё, как вчера, только выходной день, воскресенье. Тот же запах шашлыков, тот же крик мацонщиков: «Ма-а-цо-ни! Мацони-мацони!» Только транспорт весь почему-то быстрее бежит. И звучит взволнованный голос Левитана. Потом мы запомним его голос, он врежется в

нашу память за четыре года войны и останется навсегда у тех, кто ее пережил. От этого голоса вздрагивали, его слушали жадно. Он возвещал об отступлении и наступлении, о потерях и победах. Голос этот начинал войну и закончил ее. Начинал скорбно, а закончил победно.

Улица была праздничной. Небо чистое, совсем не такое, каким показывают его в театре и в кино. Ни одного облачка. Не слышно взрывов, и ничего не горит. Ходят троллейбусы, трамваи, магазины открыты, рестораны работают. Вон напротив нашего Театра юного зрителя ресторан. Там кипит жизнь. А слева ресторан «Европа», в нем тоже зашевелились раньше времени. А пройди несколько шагов по Плехановскому — там хорошие хинкали и свежее пиво.

— Бу-у-ты-ыл-лки-и поку-ушаем! Бу-у-ты-ылки!

— Земля! Земля, земля! — кричит торговец землей.

— Млако! Млако, млако-о!

— Нужно сдать проездные билеты, они нам больше не нужны. Мы никуда не поедем, — говорю я жене.

— Почему? Поедем. Два-три дня — и все кончится.

Вот теперь похоже на войну — по радио выступает Молотов.

Иду в военкомат. Военкомат закрыт. Воскресенье. Как же так? Началась война, а военкомат закрыт и до понедельника его не откроют. Выходной день.

— Ма-ацо-они! Мацо-о-о-ни!

— Бу-у-ты-ылки покупа-аем, бу-у-ты-ылки покупаем!

С базара несут кур, у кого две, у кого три, лапы связаны, живые головы клювами достают до асфальта, крылья раскрыты.

Во дворе курды справляют свадьбу. Бьют барабаны, воеет зурна — идет свадебный танец.

Я не думал, не представлял себе, как начинается война. Видел эшелоны, уходившие на Ленинградскую товарную, когда мы расширяли свои северные границы, но тогда эта операция не называлась войной. Только потом, во время Отечественной, мы назвали войну с Финляндией войной, вспомнили ее героев.

Мне казалось, когда объявляется война, страна должна вздрогнуть, как мы и наши дома вздрогнули в Батуми. Но было по-другому, почти буднично. И все-таки в чем-то она чувствовалась, ощущалась. Под ложечкой сосало, и в душе поселилась тревога. Но каждый ее скрывал, и только транспорт не выдерживал, чаще сигналил, быстрее бежал по улицам...

Мы были больше чем уверены, что в ответ на бандитский обстрел наших городов крепко достанется тем, кто осмелился это сделать. Мы верили в нашу победу, но не представляли себе, какой ценой она нам достанется. Наши военные парады первого мая и седьмого ноября, особенно в Москве, демонстрировали нашу силу и в воздухе и на земле, парады и песни убеждали нас, что наши танки самые сильные, а самолеты летают быстрее и выше всех. Потому я и не понимал, что такое война. Когда воевали с Финляндией, нам показывали только героев — победителей; я не знал, сколько погибло в той войне, не считал ту войну войной: слишком маленькая страна Финляндия, чтобы воевать ей с такой огромной страной, как наша, или нам играть в настоящую войну с ней! Мы и сегодня не ведаем, сколько погибло в той

«ненастоящей» войне...

Я был уверен, что мир капиталистов рухнет, ему пришел конец, он сам двинулся на свою погибель. Вот она, мировая революция! Недоценили, что с нами Ворошилов, первый красный офицер, и братишка наш Буденный, а с ними весь народ! А кроме того — мировой пролетариат. И Сталин. У нас Сталин, и мы — сталинские соколы. Не допустим! Бить врага только на чужой территории! Разве не доказали это наши соколы на Халкин-Голе и в Финляндии на линии Манергейма?!

В понедельник пришел в военкомат, сдал военный билет и заявил: «Хочу идти на фронт!» Мужики говорят о войне. Вспоминают договор о ненападении. Говорят, что наши войска, наверное, уже перешли границу и бьют врага на чужой территории. Разговоры похожи на те, что ведутся об охоте или рыбной ловле — у кого какие трофеи, кто сколько поймал. Слышу: выкрикивают мою фамилию. Есть! Уже не по-штатскому, а по-военному отвечаю. И вдруг что-то екнуло не то в голове, не то в сердце.

— Вот тебе повестки, разнесешь по назначению, при вручении на корешке чтоб была подпись. Ясно?

— Ясно!

Почему мне дали разносить повестки? Ведь я плохо знаю город. Наверное, потому, что сам пришел в военкомат.

Иду. Разыскиваю. Нахожу. Стучу. Отпирают.

— Вам повестка. Мобилизация! Распишитесь.

Сын расписывается, отец расписывается. Женщины плачут.

В другой дом.

— Вам повестка! Мобилизация!..

— Нет никого дома, скажи, что нет дома. Понял?

Сорок повесток, сорок квартир, сорок росписей и много проклятий. Это тебе не театр, не современная пьеса, где только радость и ура-патриотизм. В жизни смотрят на тебя уже как на врага: плохую весть в дом принес.

Не все такие сознательные, как выписаны на бумаге. Многие посылали меня в такие места, что на бумаге не напишешь. Смотрели на меня так, словно именно я отнимаю мужей, сыновей и отцов. А я им доказывал, что сам добровольцем ухожу, вместе с ними.

Вот она, война-то, где начинается, не на полях и не в лесах. Войну я понял, когда разносил повестки. С утра и до вечера. Но это еще не война. Это расставание. Кто говорит: прощай! А кто — нет, нет, до свидания! И слезы. Вернулся в военкомат, сдал корешки с подписями. Мне вернули военный билет, сказали: «Вызовем». И я стал ждать.

В театре весь коллектив в сборе, никто не успел уехать в отпуск, и никого еще не забрал военкомат. Странно выглядит отпускной театр — раздетая сцена, осиротевший партер. Еще не исчез запах юного зрителя, не улеглась пыль от детской беготни во время последнего спектакля... Отпуск отменяется. Временно. Директор информирует о последних сообщениях. Наши войска действительно перешли границу, враг отступает.

Секретарь партийной организации Ванечка Чиаурели вывесил карту в

репетиционном помещении: мы окружили его, а он втыкал маленькие бумажные флажки в точки, которые уже заняли наши войска. Первые три дня по радио сообщали: наши вошли в Краков, подошли к Варшаве. Чиаурелиевские флажки продвигались на запад, Ванечка, или, как мы его звали, Вано, громил фрицев на карте.

У нас хорошее настроение. И вдруг — все наоборот. Немецкие войска прорвали оборону, наши войска отошли на новые позиции. Третьего июля Сталин выступает по радио. В голосе его тревога, совсем не по-сталински звучит его обращение: братья и сестры! И графин дрожит в его руке, слышно, как он мелкой дробью стучит о край стакана, как льется в стакан вода.

Настроение изменилось. Над страной нависла угроза. Родина в опасности. Возник вопрос, быть театру или не быть, когда такое обращение к братьям и сестрам? Нужен ли теперь детский театр среди многих других театров в городе, которые справятся и с нашей задачей? И нужно ли такое количество театров, когда война превратилась в народную, Отечественную?

Николай Яковлевич Маршак, художественный руководитель, настаивал, убеждал, что именно сейчас нужны детские театры. Дети не должны чувствовать войны. Сейчас как никогда нужно поднимать патриотический дух, развивать ненависть к немецкому фашизму и прославлять героев. Маршак оказался прав. Его выступление было подкреплено решением правительства.

Флажки на карте перешли с польской территории на нашу. Было страшно смотреть, с какой скоростью они передвигаются в глубь нашей страны.

Первыми на фронт провожали рабочих сцены, одного администратора и двух артистов. Говорили им напутственные речи, и в речах были слова, похожие на те, которыми провожают в последний путь. Мертвым не слышно, что о них говорят, а тут живые впервые узнали о себе, что они «наша гордость, наши лучшие товарищи по работе... самые дорогие и любимые... ступайте и не уроните честь... выполните свой почетный долг... ваши места в театре останутся за вами... мы еще встретимся здесь, на этой сцене, где вы сейчас стоите... мы вас и поставили сюда, чтобы при возвращении мы приветствовали вас на тех же самых местах, где вы стоите. Счастливого вам пути!» Директор театра Константин Николаевич Вайсерман всегда говорил без бумажки. Бумажки появились после войны.

Мы проводили их хорошо.

Никто из них не вернулся...

## ШЕФСКИЙ КОНЦЕРТ

Как умещается в такую небольшую голову все, что когда-то было в жизни прожито?

Лежит себе прошедшее, покоится в памяти, все равно как книги на полках. И вдруг просыпается, всплывает, взбудораживает. Наверное, это и есть миг вдохновения.

Я играл спектакль «Идиот». Исполнял роль Рогожина. После спектакля мой партнер Смоктуновский, игравший князя Мышкина, сказал мне о сцене, в

которой Рогожин и Мышкин обмениваются крестами: «Ты сегодня как-то по-новому играл. Глаза твои были другими».

— Какими?

— Ближе к рогожинским.

Я не знаю, какими были мои глаза: ближе к рогожинским или нет, но в тот вечер, во время того спектакля, я вспомнил вдруг давний случай из своей жизни...

Война. Тбилиси. Театр юного зрителя. Я — актер этого театра. Как-то директор вызвал нас, актеров, к себе и сказал:

— В субботу — концерт. Очень важный. Очень ответственный. Звонил «сам»!

— А как же репетиция?

— Отменяется. Все отменяется!

Директор волновался. Его волнение передалось нам. «Сам» — это начальник Закавказской железной дороги. Мы подчиняемся ему. Наш театр — «железнодорожный».

В прошлом Дом художественного воспитания и технической пропаганды детей имени Лазаря Моисеевича Кагановича (ДХВТД) имел при себе детскую железную дорогу, шесть больших вагонов на взрослой дороге, один вагон «Выставка Сталина», Кукольный театр и наш Театр юного зрителя.

Потом театр отделился от Дома художественной пропаганды, но железная дорога от театра не отказалась. Выступать в порядке шефства было нашей обязанностью. А тут: «звонил»! «просил»! «сам»! Значит, важно. Отказаться нельзя. Концерт почти что «правительственный».

Два дня мы составляли программу, проверяли и выверяли ее в госпиталях. Волновались. Подбирали костюмы. Своих концертных костюмов у нас не было, был один: он и рабочий, он и выходной. Поэтому взяли необходимое из костюмерной театра. Выглядеть надо было как можно лучше.

И вот в субботу пришел ЗИС-101, и мы, пять артистов, под руководством директора и под его личную ответственность сели в машину и поехали. Машина почему-то свернула налево, тогда как наше Управление дороги — направо.

— Куда мы едем? — спросил я Вайсермана.

Вайсерман — это наш директор, он все знает, его все знают и он всех знает. Дядя Костя. Так детский зритель называл директора театра. «Вон дядя Костя!» «Надо подойти к дяде Косте!» «Дядя Костя пропустит!» «Это может только дядя Костя!» А мы, артисты, звали его: наш дорогой Константин Николаевич. Не было бы дяди Кости — не было бы и театра.

Так вот...

— Константин Николаевич, куда мы едем?

— В Цхнеты. На дачу к «самому».

Мы выехали на Коджорское шоссе, поднялись в горы, свернули по асфальтовой дороге вправо, и вот Цхнеты. Правительственные дачи. Большие, каменные, двухэтажные. С террасами, верандами, балконами. Не нужно спрашивать, кто где живет, кому принадлежат. Любопытство могло навлечь

ненужные подозрения. Поэтому мы ехали молча. Каждый понимал, что он попал почти что в запретную зону. То ли оттого, что мы очень высоко забрались, то ли от волнения, но у меня в груди щекотало и под ложечкой сосало.

Торжественность момента и предстоящая встреча с правительством будоражили наше воображение и окрыляли многими надеждами. От тех, к кому мы ехали, и от того, как пройдет концерт, зависит будущее нашего театра и каждого из нас в отдельности.

Вот она — дача. Вот он — забор. Нас встретила женщина в белом фартуке и с белой наколкой в волосах. Мы вошли в калитку, а потом по тропинке к главному входу — на большую застекленную террасу. Нам сказали:

— Подождите. Посидите.

Сидим, ждем. Солнце печет, жарко. На даче пусто. Нет никакого правительства. Стоит домработница, встретившая нас. Вбежала девчонка. Посмотрела на нас, хихикнула и убежала. Пахнет чем-то сдобным, чем-то печеным. Мы сидим подтянутые, напряженные. Никто не выходит...

Этот-то эпизод я и вспомнил по ходу спектакля «Идиот», вспомнил через двадцать пять лет.

... Я вернулся со сцены к себе в гримерную. Только что сыграл сцену, в которой покушался на жизнь князя Мышкина. Я рассказывал ему о том, как унижала, как оскорбляла меня, Рогожина, Настасья Филипповна: она меня презирает, она меня ненавидит, не считает меня за человека. Я подозревал князя в том, что он вместе с Настасьей Филипповной смеется надо мной, над Рогожиным. Я хотел его убить.

Сцена кончилась. Я вошел в гримерную, бросил нож, которым хотел убить князя Мышкина...

Нам сказали:

— Подождите. Посидите.

Никто не выходит. Задерживается! Через какое-то время появляется женщина в халате, широком, цветастом, — жена «самого».

— Вы готовы?

Конечно же, мы готовы. Мы всегда готовы! Утром мы стояли в очереди, получили свой паек — триста граммов странного хлеба, сходили в столовую, съели положенный обед: жидкий суп из бургули и маленькую порцию лобио. На ужин... Какой там ужин — концерт в госпитале. Вчера играли три спектакля, репетировали, готовили новую программу для детей, для раненых, для уходящих на фронт. Мы жили той жизнью, которой жили все: стояли в очередях, ели то, что давали всем, кто работает, служит. У всех одно горе — война. Мы давно живем надеждой, что она кончится, эта проклятая война, пройдет.

Академики, профессора, артисты, рабочие, служащие, студенты — все в одной очереди, в одной столовой, со своей железной ложкой, со своей миской, у всех один суп, одно черное лобио. У всех кто-то на фронте, кто-то погиб, кто-то умирает, проливает кровь.



А здесь, на этой даче, нет войны. Здесь пахнет кухней совсем другого времени. Чего хочет она, эта женщина? К чему должны мы быть готовы?

— Товарищи, как хорошо, что вы приехали! — улыбаясь, сказала хозяйка. — Сейчас начнем. Вы отдохнули? Вы готовы?

— Да. Скажите только: где? куда? кому?

— Вот здесь, на террасе, — ответила женщина. — Сейчас мы его привезем.

И вышла.

— Кого привезут? Разве он болен?

— Нет, он здоров. Привезут сына, — ответил нам директор.

На террасу въехала коляска — такая, как в госпиталях. В ней сидел огромный черный парень с переломанной ногой, она покоилась в гипсе, торчала, словно пушка, — вверх. Коляску ввезли две женщины.

— Познакомьтесь. Гиви. А это артисты, они пришли к нам в гости, навестить тебя.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Мы познакомились, мы поговорили, мы посочувствовали больному, потом Гиви замолчал, и мы тоже замолчали.

— Ну что ж, начнем? — сказал нам Гиви.

— Начнем, пожалуй, — сказали мы.

И мы начали. Здесь же, на террасе, выстроив импровизированную сцену, — нам не привыкать. Мы умеем выступать на грузовиках, на тракторах, на палубе корабля, в больничной палате, в вагоне, на вокзальном перроне, на улице, на площади. А тут — терраса, большая, светлая. Можно играть Чехова. Мы раздвинули стулья, столы. И вот: на одной стороне — зритель, на другой — сцена. Можно начинать.

— От имени театра, от имени работников искусств, от имени присутствующих здесь артистов мы рады приветствовать вас, дорогой наш Гиви, и пожелать вам скорейшего выздоровления!

Гиви сидит в окружении трех женщин, в белой рубашке, с расстегнутым воротником. Здоровая нога прикрыта пледом, больная торчит вперед, показывая нам свою подошву. Герой войны!

Солнце печет. Жарко. Мы выбриты, вымыты, отутюжены, мы в черных костюмах, при галстуках.

— Первый номер нашей скромной программы... — конферировал Вайсерман.

Мы читали, пели, танцевали. Мы старались, разбивались в лепешку. А он, Гиви, спокойно смотрел на потолок, на дорогу, на нас, на мать, и на лице его не отражалось ничего, не дрогнул ни один мускул.

В чем дело? Почему он даже не улыбнется? Может быть, не знает русского языка? Да нет, он ведь говорил с нами. Значит, понимает. Понимает и молчит. Почему? Вчера концерт имел большой успех у раненых в госпитале. Вчера смеялись, аплодировали, стучали костылями, кричали нам: «Еще! Еще!» А сегодня, здесь, на террасе, перед нами сидит равнодушный человек. Почему?

— Спасибо, — сказал нам Гиви, когда концерт кончился. Его увезли. А нас

пригласили к столу, накормили яичницей с жареной колбасой, дали по стакану вина, много зелени и белый лаваш. Потом посадили в машину и отвезли обратно в театр.

— Он что же, был на фронте? Ранен? Герой?

— Нет, — ответил нам директор, — попал в аварию, где-то кутил с друзьями.

— Как?!

— Так.

Ну что ж. Ладно.

— От имени Закавказской железной дороги объявляю каждому благодарность за концерт с занесением в личное дело, — сказал директор.

Приехав в театр, мы переоделись, сдали концертные костюмы и пошли работать.

Спектакль «Идиот» закончился, мы выходили из театра. И снова Смоктуновский повторил: «Ты сегодня как-то по-новому играл».

— Лучше или хуже?

— В тебе было что-то совсем новое.

За воротами проходной театра мы простились. Смоктуновский так и не узнал о той давней истории, которая ожила в моей памяти во время спектакля.

## КОШМАР

Все чаще по ночам, во сне, приходят ко мне умершие мои друзья, товарищи и даже незнакомые люди. Просыпаясь, я пугаюсь этих снов и, лежа в постели, думаю о них. Сегодня одного из них, моего любимого артиста, я вытаскивал из воды. Он стоял во весь рост в прозрачной холодной воде и стоя спал в квадрате белого мрамора и кафеля.

Проходя мимо, я толкнул его рукой и окликнул:

— Павел Иванович!

Павел Иванович спокойно поднял веки и стал смотреть на меня широко открытыми, ничего не говорящими глазами. На ресницах, переливаясь в электрическом свете, горели капли воды, голова его была сухая. Я никогда не видел, не знал его таким: спокойным, молчаливым, бесконечно покорным. Его вытянутое легкое тело в сером костюме, в котором он ходил при жизни в театр и в котором его положили в гроб и отнесли на кладбище, стоя покачивалось в прозрачной воде, прижатое в угол из белого мрамора. Большой шахматный пол из белых и черных плит блестел под моими ногами.

— Что это такое? Что это такое?

— Это бассейн. Здесь отмывают умерших. Здесь только мертвые.

Толстый человек с опухшим лицом, с засученными рукавами, в клеенчатом фартуке, неподвижно стоял на черной плите и невозмутимо, спокойно отвечал на мои вопросы.

— А вы кто? Вы что такое? Вы что, работаете в театре?

— Нет, я — образ. Я — подобие человека. Я самый нормальный. Из всех

тленных тленный.

Где я его видел? Где я видел это лицо? Я мучительно вспоминал и никак не мог вспомнить. Когда это было? Тленный... Нетленный... Как это перевести? Где я? В какой стране? Где переводчик? Тленный... Нетленный... Это же мой язык. Славянский язык... Мертвый и живой.

Вдруг прозвучал третий звонок. Наверное, это театр. А Павел Иванович в воде. Смотрит, открыв глаза, и ничего не говорит. Я вспомнил живого Павла Ивановича. Он же нетленный! Нетленный! Вы видите, он в костюме. Это — артист. Ему пора на выход. Слышите? Он опаздывает. Был третий звонок!

Я бросился к бассейну, вытащил Павла Ивановича из воды и положил на белый мрамор. На моих руках остался след от его длинного, сразу отяжелевшего тела. Какая-то огромная сила ощущалась в его безучастных глазах, во всем его мокром теле. Она, эта сила, сжимала мою волю.

Павел Иванович лежал и смотрел на меня. А толстый человек отвечал на мои вопросы.

— Ему торопиться некуда. Он должен стоять и качаться. Ему еще долго качаться. Отсюда выхода нет. Отсюда никто не выходит. Звонки — для живых. Для живых звонки, слышите? Для тех, у кого есть сердце.

Где я видел это лицо, отекающее, заплывшее? Не понимаю, ничего не понимаю.

— Вас было пятеро, — напоминал мне толстый человек. — У вас была мать. Вы, ее маленькие дети, сидели за столом и ждали, когда она придет. Она долго не приходила. Самая маленькая сидела на столе. Помнишь? Горела керосиновая лампа. На столе — раскрытый букварь. Это было зимой. Вы сидели и ждали мать. Каждый из вас искал у себя и у другого сердце. Ха-ха-ха! Вы не знали, где оно находится, это сердце. Не найдя, вы сказали: «Нет у нас сердца. Мы бессердечные!» Вы кричали, вы хохотали, вы плясали: «Мы бессердечные, мы бессердечные!» И вдруг открылась дверь. Вы так и застыли. На пороге стояла мать. Совсем другая. Не такая, к которой вы привыкли. Она была чужая, страшная. Одной рукой держалась за косяк двери, а в другой сжимала пустой пузырек от уксусной эссенции. Глаза открытые, огромные. Такие же, как рот. Она выговорила, нет, прохрипела одно только слово: «Всё!» Очнувшись под кроватью, вы нашли свое сердце. Оно стучало в вашей маленькой детской груди. «А мы, дураки, его искали в голове!»

— В го-ло-ве м-о-о-зг. Он тоже не выдерживает, — вдруг глухо прошептал Павел Иванович.

— Да, да, да, я знаю — кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние в мозг.

— Это у Павла Ивановича, — напомнил мне толстый человек.

— А где же сердце? — спросил я у него.

— Оно у меня болело и остановилось. Лопнула цепь. Потом прозектор вскрыл и записал в историю болезни: инфаркт. Потом зашил грубой толстой ниткой, вот она — видишь? Нитка снимается. Нужно только снять шов, и ты увидишь мое сердце. Ты не бойся. Это делается просто. Вот так.

Он обнажил свою грудь, вытянул длинную нитку, грудь распоролась, в ней висели огромные стенные часы без циферблата. Стрелки вложены в колесики,

цепи болтались без гирь. Остановившийся медный маятник неподвижно стоял передо мной большим желтым пятном и спокойно смотрел на меня.

— Здесь висели гири, — продолжал толстый человек. — Тяжелые гири. Они мне давили вот сюда, под ложечку. Цепи натянулись и сковали мою грудь, как обруч сковывает бочку. А по обручу били, били, ударяли молотком. Обручи стали меня душить, тогда я натужился, в последний раз глубоко вздохнул, впустил в себя воздух, и цепи лопнули. Стало легко-легко. Я стал свободен. Я успокоился. И Павел Иванович, он тоже спокоен. В его истории записано: insult. Он его заработал в театре, на сцене.

— Да, да, на сцене. А где сцена? Сегодня какой спектакль? Я в нем не занят? Занят? Значит, я опоздал? Скорее на сцену... на сцену!.. Где шнурки? У меня ботинки расшнурованы.

— Спокойно, спокойно, тебя позовут, — сказал толстый. — Сорок человек сидят и слушают. Ты — сорок первый. Слушай и смотри. Идет спектакль «Карьера Артуро Уи».

И я увидел. В железном огромном ящике сидели сорок бритых голов. От каждой головы тянулись тонкие провода к маленькому столику, за которым сидел все тот же толстый человек, только голос его стал другим. Вместо лица — белая маска под серой шляпой. И усики. Человек или собака? Гав, гав, гав!

— В плане прошедших лет стоял ими рос о расширении и укрупнении цеха по переработке информации человеческой деятельности в области мышления. Мы уже многое сделали и получаем грандиозные результаты. Задача состоит в том, чтобы добиться стопроцентного охвата человеческих голов единомыслием. Для этого установлен ускоритель, к которому тянутся тонкие нити от ваших голов. Рекорды! Рекорды! Гав-гав!

И вдруг все исчезло. Мраморный пол, как шахматная доска, раскрылся и закрыл сцену. Мы играем в шахматы. Я теперь не я, а конь. Я изображаю коня. У меня голые ноги. Стоит Фальстаф с длинным кнутом и хлещет меня по спине, по ногам. И кричит: «Ходи! Ходи! Твой ход!» Мои ноги нейдут, ступни примерзли к мраморному полу. Мне не больно. Меня бьют, а я не чувствую боли, только голова разламывается, раскалывается голова. Я собираю всю свою волю, чтобы вспомнить этого толстого человека. Где я видел это лицо? Заплывшее, отекающее? Когда это было?

— А я тебе напомним. Ты видел меня в сумасшедшем доме. Там лежал твой брат. Врачи указали тебе на меня, сказали, что я — твой брат. Я смеялся, но ты не слышал моего смеха. Ты стоял и искал в моем распухшем лице черты своего родного брата. Ты начал сомневаться, ты даже снял с моего голого тела простыню и стал искать черную родинку. А у меня ее нет. Я слушал, как врач превращал здорового человека в больного, и я думал: «Кто из нас сумасшедший? Я, врач или ты?» В тот же вечер меня не стало. Я умер. За мной никто не пришел. Теперь я нормальный, теперь я тленный!

От страха я открыл рот, но звука в нем не было. Челюсть опустилась, а обратно не поднялась. Толстый человек протянул руку и спокойно продолжал:

— Ничего не говори, я все знаю. Ему плохо, ему очень плохо.

— Мой брат не сумасшедший, — вдруг вырвалось у меня. — Он контужен. Он на фронте, он epileptic, он случайно попал туда, он не виноват.

— Случайно? Случайного нет ничего. Всему своя закономерность. Диалектика. Пришло такое время, и твоего брата стали бить. Маленького, палками по голове. Такие же маленькие, как он. Они били и кричали: «Кутейник, кутейник, попенок!» Они убежали, а он остался лежать. Вырос, его стали бить взрослые. Потом война, фронт. У меня есть письма. Он писал, а ты читал и выбрасывал, а я их подбирал и хранил. Вот они.

Он протянул руку, в которой была пачка писем. Первый листок был куском зеленой оберточной бумаги, исписанный редкими косыми строчками, без точек, без запятых. Я узнал почерк моего брата.

— Ты читай, читай.

Я читаю.

«Добрый день! Здравствуй, мой брат и твоя жена, и ваши детки сообщают вам что я нахожусь сейчас в маскве в институте Сербского».

— Институт Сербского — это Институт экспериментальной медицины, куда отправляют убийц, — сказал толстый.

— Да, да, да, я знаю. Там у входа стоит солдат. Он говорил со мной через решетку. Я думал, что это обыкновенная больница, удивился, что в больнице солдат.

— Ты читай, читай.

«Мне проводят полностью проверку моего здоровья и после назначат лечение дома я не лечился да и нет у нас тех медикаментов которые мне были назначены институтом бехтерева и так почти с 1956 года не принимал никаких лечений и теперь я нахожусь в маскве в институте с 9 января жена приехать не может дом бросить ненакого да и вряд ли найдется денег на дорогу поэтому прошу пришлите мне в маскву на институт в чем прошу досвидания целую ваш брат».

В конце письма подпись и число.

— Я послал ему деньги. Послал!

— А он их не получил. Ему их не передали. Врачи нашли, что он здоров, и отправили в Бутырку. Твой брат убил женщину во время припадка. Она лежит здесь. Хочешь — пойдем, посмотрим. Я тебе ее покажу.

Он прошел в квадратный мраморный проем, в другую, такую же белую кафельную комнату, повернулся ко мне лицом и почему-то три раза ударил в ладоши.

Я стоял неподвижно и смотрел в пространство. Стена белого кафеля отражала красный пол с распластанным пятном в середине.

Пятно зашевелилось, поднялось, вытянулось во весь рост и заговорило:

— Я пришла за дровами. Мне нужны дрова. Мои дети мерзнут. Вот квитанция. Деньги я достала. Деньги я заняла... А ты брат? Ты его брат? Он ударил меня по голове! Поленом! Полено тяжелое. Он колот дрова. И меня расколот. Теперь я здесь.

— Я знаю. Брат болен. Его контузило на фронте, потом в спину пырнули штыком. Его долго лечили. Он сейчас жив. Живет хорошо. У него дети. Вот его

письмо. Прочтите.

— У меня нет глаз. У меня их выбили. Я же расколота.

— Я вам прочту, — ответил толстый человек, взял письмо, развернул и медленно, спокойно стал читать.

«Здравствуйте дорогие, многоуважаемые мои родные и ваши детки! Шлю вам задушевный привет и от души самые добрые пожелания в вашей жизни на благо нашей любимой родины и нашего светлого будущего! Не получая от вас продолжительное время никаких известий, не зная ничего о вашем здоровье, вообще о вашей жизни вынудило меня послать письмо авио заказным. По натуре своей мы люди добрые и сердечные я один из нашей семьи несчастный страдаю этой болезнью которая мне преградила путь к счастливой жизни. Недавно выписавшись из больницы при чем невралгической возвратившись к своим родным а их у меня кроме вас вообще нет встретились различного рода неприятности. Дочка Ольга отец которой погиб на фронте войны собралась выйти замуж а сын с первого класса обучения перешел во второй класс. Все члены моей семьи с которыми прожил более десяти лет стали для меня исключительно близкими и родными. Со своей женой Анной Максимовной собираемся отдать за муж при чем не за плохого а знакомого для нас человека которого и мы и дочь Маруся знаем только с положительной стороны. Но совершить все это вернее говоря сделать свадьбу купить нужное и необходимое для невесты а таким образом занять близко родную для нас семью не имеем достаточных средств. Все главное из средств к существованию у нас это — корова и продать ее сейчас мне и моей семье вынудить остаться без крова. Дорогой брат имея корову и небольшую семью я в скором займею все возможности к улучшению всех материально бытовых условий и благ. Не оставшись в долгу перед самыми близкими моими родными я в скором времени постараюсь выслать вам мяса или просто навестить вас лично. Имею все надежды к тому что в скором вы создадите все необходимые условия и окажете соответствующую помощь и сообщите о своей жизни».

В конце письма подпись и число.

Стало тихо-тихо.

— Вам не больно? У вас не болит голова?

Опять тихо-тихо.

— Может быть, открыть форточку?

Опять тишина.

Льется вода из крана в переполненный бассейн...

Павел Иванович сполз с мраморной плиты и опять стал стоя качаться, прижатый волной к стене белого кафеля. Голова сухая, капли воды блестят на ресницах. В квадратном проеме нет никого. За проемом — длинный коридор, а в конце — широкое окно. За окном живут люди, прижатые паутиной электрических проводов. Ползут трамваи, проходят троллейбусы, шуршат машины, плывут люди.

— Хорошо живет твой брат, весело.

— Кто это сказал? Кто это сказал?

Я спрашивал, я кричал, я звал, а услышать некому. Звук моего голоса повис

и, не найдя никого, растаял. Я один, совсем один в пустом, белом, холодном зале.

— Плохо. Очень плохо встречаться с мертвыми, — прошептал кто-то мне во сне.

Испугавшись дурной приметы, я вздрогнул и сразу же проснулся. За окном осенняя ночь. Форточка открыта, в нее дует холодный ветер, а я дрожу от только что приснившегося мне сна. Закрылся плотнее одеялом и мучительно стал вспоминать, звал меня к себе Павел Иванович или не звал. Кажется, не звал... Нет, звал.

— Спи. Ты мешаешь мне спать, все время вздрагиваешь. Эллениум принял?

— Принял.

— Ну и спи... Скажи мне что-нибудь хорошее. Ну, скажи!

Жена ждала-ждала. Так и не дождавшись, уснула.

## МОЯ ДЖОКОНДА

Никогда не знаешь, где кого найдешь и где и когда потеряешь. Я встретился с ней в Лувре. Наш театр приехал на гастроли в Париж. Придя в Лувр, я пошел искать «Джоконду».

Нашел быстро. Она висела в отдельной комнате, одна-единственная. Черный бархат во всю стену, а в середине ее портрет в золоченой раме. Я много слышал о «Джоконде», или, как еще ее называют — «Мона Лиза», много видел ее репродукций. И потому боялся встречи с нею. Боялся, что после рассказов искусствоведов, восторженных статей ничего особенного не увижу. Первое, что я обнаружил, — очень похожа. На всех «Джоконд», на любую «Мону Лизу»! Я обрадовался. Но когда пригляделся, когда и она меня заметила, я понял, что в ней нет ничего общего с теми, которых я знал. Мне даже показалось, что она уловила мои мысли и улыбнулась им.

«Что за черт! — подумал я. — Показалось или она действительно следит за всем, что со мною происходит? Она живая?.. И вовсе не такая красавица, как ее описывают. Простое деревенское лицо. Все, что присуще женщине, в ней есть. С ней можно разговаривать. Она все понимает. Только надо говорить не вслух — она и так обо всем догадывается». Она сама мне подсказала, что нужно делать. Я понял и перешел на другое место. Действительно, с этой стороны она была еще лучше.

Я стал стесняться. Чувствую, недостойн ее, но когда я об этом подумал, в ее глазах пробежала смешинка и на левой щеке появилась ямочка. Мне послышалось: «Ты не прав. Мне хорошо. Мне нравится, когда ты так смотришь на меня. Смотри! Смотри!» И я смотрел.

Я подходил к ней близко, совсем близко, но не прикасался к ней. Избави Бог! Она вошла в меня. Я чувствовал ее всю. Я был заполнен ею. Я в нее влюбился. Первый раз в жизни влюбился не в живую, а в нарисованную. Я не мог оторваться от нее. Отходил в самый дальний угол, прятался за спины посетителей. Она меня находила. Одним глазом смотрела на меня, и я был

счастливы.

Я вспомнил Пушкина.

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты...

Как же мне теперь ее оставить? Как мне от нее уйти? Но она же не моя, она — для всех.

И я ушел. Я уехал. И когда потом вспоминал ее, думал: есть в Париже одна, совсем не похожая на парижанку. Она итальянка. А для меня — русопятка, моя Мона, моя Лизка.

Прошло пять лет. Я снова в Париже. Помнит ли она меня? Узнает ли? Вспомнит ли нашу встречу? Такая же она или совсем другая? Я ведь стал немножечко другим.

Иду в Лувр. Ее нет на том месте. Теперь она с другими. На обыкновенной стене, под толстым, пуленепробиваемым стеклом, за семью замками-печатами с «противоугонным» устройством.

Ее кто-то хотел похитить. Какой-то влюбленный, миллионер. Париж схватил этого негодяя. И теперь она под охраной.

Но мы встретились с ней, и она меня узнала. Она была такой же, как раньше. Все, все то же самое. И те же начались разговоры между нами. Только через толстое стекло.

И вот опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

## БРЮЗГА

— Вот ты говоришь — дерево. Для тебя оно, может быть, только дерево, — усмехнулся старик. — А оно ведь, как человек, как и ты. Так же вот живет, страдает, радуется, плачет, болеет, мучается. У него, у каждого, и характер есть. Свой, особенный. Конечно, непонимающему человеку, ему все равно. Стройматериал. Дрова. Так ведь и к человеку можно подойти. Что, мол, такое человек? Рабочая сила, производитель. Вот и всё. А я, может быть, в душе музыкант. Во мне песни поют. А придет какой-нибудь непонимающий и всю мою музыку убьет, все мои песни заглушит. В душу, значит, мою плюнет. Ты думаешь, не обидно? Обидно. Сломал сук, изуродовал дерево. Инвалидом, стало быть, сделал. Нет, не понимают, не любят у нас природу. Ее теперь все время покоряют. Подчиняют ее. На свой лад перекраивают. Вон в парках или в садах стригут ее, как в парикмахерской. Голые сучья словно волосы на полу валяются. Обкромсают дерево так, что один только ствол торчит. Смотрю я на них, на эти стволы-то, и кажется мне, не деревья это, а сжатые голые кулаки, по самый локоть в землю воткнутые, грозятся нам. Молодежь вот тоже — придут, шумят, орут, на гитарах песни поют, и песни все какие-то рваные.

Старик остановился, задумался, помолчал и снова:

— И голосов-то теперь таких нет, какие раньше были. Теперь они словно



простуженные. Или они это нарочно так. Вроде как бы по моде, по-новому, по-современному. Нет, отошли от природы... Вот радио. Разве в городах-то оно не надоело? А в лесу ему и вовсе делать нечего, лес сам поет. Ты только прислушайся — музыка! Лесная музыка! Сама природа поет. А он... Включит его на полную катушку, на полную, значит, силу, и орет радио, и воет, и гремит, и стучит... Нет, не понимают, ничего не понимают. Отвыкли, все отвыкли, материалистами стали. Что ему лес? Кислород! Свежий воздух! Дышать, значит, им нужно или там ванны воздушные принимать. Вот и все. Значит — только для себя, для желудка, для потребления своего. Он ведь тебе все расскажет, все знает, все понимает, все объяснит — и химию, и физику, и материи там всякие, а вот чтобы задуматься, уединиться, слиться с природой, почувствовать ее красоту, раствориться в ней, в природе-то, соединиться с ней, поговорить, причаститься ее душевной красотой, очиститься — этого нет. Ушло, все ушло. Один потребитель остался.

Старик остановился. Я посмотрел на его корявые руки и увидел корни, корни сосны. Узловатые, с глубокими морщинами, они вонзились своими пальцами глубоко в землю и держат на себе огромный ствол с пушистой кроной над крутым обрывом, держат крепко, вцепившись в землю. А сосна шумит, разговаривает, высокая, вечно зеленая, иглы распушила и дышит... Лежит старик, умирать ему скоро, а в глазах у него небо, глубокое, широкое, голубое. Только по краям желтые облачка. Это склероз, наверное. Небо перед закатом. И идет из этих глаз тепло человеческое и наводит грусть и тоску об ушедшем, о безвозвратном. Старик кашлянул и продолжал:

— У меня перед окном тополь стоит. Я смотрю на него, всегда смотрю — и зимой, и летом, во все времена. Какой же он разный! Смотрю, и оторваться невозможно. Живой, ей-богу живой! И ведь разговаривает, говорит. У него, как и у меня, все время борьба идет: борьба за жизнь, или, как там у вас говорят, за существование. Победил — и стоит он гордый, улыбающийся, листочки на нем журчат, переговариваются, озорные они, как мальчишки, ей-богу. И такой запах от них, особенно после бури и проливного дождя! Откроешь окно, а в комнате будто колокольчики звенят, а стены духами политы. А зимой? Совсем другой этот тополь-то. Посмотри на него: съезжился, скорчился, стоит голый, совсем голый, замерзший, его словно скрючило, как и человека зима скрючивает... Ух, меня страх берет, особенно, когда я вижу молодую или там девчонку какую-нибудь — идет в мороз, а ноги голые, вроде как бы без чулок, в капрончике. Зачем это ей? Фасон держит, моду отстаивает. А мороз-то — ему все равно. Он не разбирает. Он потом о себе даст знать, весной или летом. Ты видел эти ноги-то? Посмотри на них летом. Которые синие-синие, особенно у коленок или немного повыше — это ведь все зима сделала, мороз пожег. У меня дочка. Говорю я ей: оденься ты потеплее, ноги-то укутай, пригодятся они тебе, плакать будешь. «Эх, — говорит, — не понимаете вы, ничего не понимаете!» Вот как! Не понимаем, значит, гм. Зато они все понимают, все знают, ученые стали, все разложили, все разобрали на составные части, всякое явление объяснили и всему свое название дали. Всё идеями живут, во имя чего-то огромного, еще не существующего и никому не известного. Вот говорят:

«Человек, все для человека!» И я тоже жил для человека. А где он, человек-то? Покажи мне его, дай мне его пощупать, поглядеть на него, на человека-то. И я человек, а кто для меня что сделал? Я сам. Все сам. Вот этими руками. Вот они, видишь, какие.

Он протянул и показал мне свои руки.

— Чего только не делали мои руки! Видишь, какие черные? Если их отмывать, столько же лет понадобится, сколько они прожили. И то не отмоешь. Здесь ведь всё: и земля, и железо, и дерево, и краска, и дерьмо, и кровь, человеческая кровь и животных кровь. Они и строили, и ломали, и убивали, и жизнь давали, и ласкали, и били, и в гроб заколачивали. Жизнь учила... Обрати внимание: почему-то в больнице все философствуют. Это, наверное, оттого, что смерть тут себя часто показывает. Ведь только тогда и вспоминаем о человеке, когда он в гробу, и все самое человеческое говорим ему, мертвому-то. Живому такое не скажем, нет. А мертвому — ему все говорить можно. Ласковые слова подбираем, может быть, он их и не стоит, а говорим. А ему, может быть, при жизни говорить-то нужно, говорить все хорошее — чтобы он слышал, чувствовал любовь человеческую. Как это важно при жизни услышать благодарность, да еще вовремя! Вот обругать, унижить, оскорбить человека — это мы делаем сразу, не раздумывая. А чего там думать? Руби с плеча. Чего там, выдержит! А умрет, и вдруг говорим: «Какой был хороший человек», или: «Потеряли товарища, друга, ушел от нас наш дорогой, наш любимый». Зачем они говорят, эти слова-то? Для себя это делают. Кому это нужно? Понимают, что ему все равно, а говорят. Значит, это для живых — слушайте, мол, и понимайте, какой я чистый, какой я добрый. Живому такого не скажут. Он еще возгордится, возомнит о себе. А умер — не страшно...

А потом — страх. Живешь, не думаешь о смерти, да и некогда, и напомнить некому. Раньше вот по улице носили. Умрет человек, и несут его на руках. Прохожие шапки снимают, останавливаются. Каждый вспомнит: и ему умирать придется. Задумается о себе, о своей жизни, вспомнит близких, родных, друзей, товарищей. А теперь вон видишь — кладовая. Это морг. Лежит там мертвый. Придет несколько человек, цветочки принесут, постоят, помолчат и на машину, фюйт, со скоростью сорок или шестьдесят километров. Где тут увидеть, где тут остановиться, где, что и кого вспомнить?! И все по часам, по минутам расписано, постоять-то не дадут: другие торопят... Все спешат, все торопятся. Вот я слышал, часы такие есть, где-то там, за границей... забыл, какой город. Говорят, там смерть на часах каждый час отбивает. Стоит скелет во весь рост, а в руках веревка, и он дергает ее, а колокол отбивает. Философ часовщик-то. Недаром трудился. Посмотришь на такие часы и подумаешь, вспомнишь: а ведь каждый час меня к ней приближает, к смерти. Это она меня к себе зовет. Говорят, там народ стоит около часов. Все смотрят, ждут, когда смерть бить будет. Хорошо придумано, молодец часовщик-то. Говорят, ему за такое изобретение глаза выкололи, чтоб не было таких часов у других, значит...

В Москву я ездил друга хоронить. Хороший человек был, инженер, изобретатель, по заграницам ездил. А потом, значит, на пенсию. На пенсии, видно, закрутил, начал тосковать, чувствует, что не нужен стал. Вот ведь как

получается-то! И пенсия большая, персональная. Казалось бы, чего еще? Живи, наслаждайся жизнью-то. А он, человек-то, видно так устроен. К чему за всю жизнь привык — отвыкнуть не может. Невозможно. Тосковал, тосковал, а тут как раз рак прицепился, в самую печень. Вот и всё, вот и готово. Отвезли мы его, речи говорили, поплакали. Выхожу я из ворот кладбища, а напротив смотрю — родильный дом стоит. Нашли где поставить — прямо против кладбища, против могил, значит. Эх, думаю, дорожка-то у человека какая маленькая: от рождения до смерти только шоссе перейти. Тоже, значит, философы строители-то...

Вот я о себе скажу, про свою дорогу. Моя дорога вся была в революциях. Родился — революция, девятьсот пятый год, подрос немного — война, четырнадцатый год. А после войны — опять революция, это, значит, наша. Опять, значит, война, гражданская. Кончили воевать, немного оперились, хорошо пожили — опять революция, стали колхозы строить. А потом революция промышленная. Строили заводы, фабрики. Только-только бы пожить, отдохнуть немножко — опять война, опять разруха, голод опять, значит, строить нужно, восстанавливать. Все время — революция да война, война да революция. И пожить-то как следует не успел. И сейчас вот тоже революция — научная, техническая. Такие станки да машины, автоматы, кругом конвейер, только поспевай! Я вот раньше смеялся над Чаплиным, картина такая была «Новые времена», там Чаплин на конвейере работает, гайки прикручивает, все время одно и то же движение делает. Так они у него, руки-то, и без работы те же движения делают. Подойдет к кому, разговаривает, а руки гайки откручивают. Уж больно смешно было, да и жалко. Жалко человека. Жалко рабочего. Вот, думаю, проклятый капитализм, эксплуататоры, говорил я, а теперь сам на такой машине работаю. Одно и то же движение делаю. Смешно? Машине — ей что, ей все равно: у кого она стоит, на того и работает. Одинаково ей, кто ты — капиталист или коммунист. На какие обороты поставили, на такие и строчит. Ты только поспевай, и отойти нельзя. Отойдешь — все остановится. Крепко привязала человека. Я не осуждаю, нет. Время такое. Теперь она, машина, смеется надо мной. Не я, а она смеется. «Не ты меня ведешь, а я тебя веду: поспевай за мной». Вот ведь как получается. Смешно?..

## ЗАБОР

У меня машина «Волга», новая, со знаком качества.

— Мастера мне нужно, мастера.

— Пожалуйста. Вот тебе мастер.

— Послушай, браток. Посмотри мотор, не работает, что-то барахлит. Что там такое?

— А ну, открой капот. Та-ак. Ага. Понятно. Это какой тебе мудака делал, а? От б..., ни чести ни совести! — осматривая машину, ворчит мастер. — Совесть, в душу мать, потеряли... Дай-ка мне вот ту хреновину!.. Двадцать пять лет баранку кручу, а такого... та-та-та-та... не видел! Новая?

— Новая, — отвечаю ему.

— Знак качества! Лучше не могут! Та-та-та-та, дожили!.. Завтра об эту пору приходи, сделаем... Эх, набить бы морду тому, кто ее делал, та-та-та-та! А еще знак качества! Ни стыда, ни совести, та-та-та-та. Распустили всех! Управы, страха нет, та-та-та-та! Вот бы Сталина! Теперь никого не боятся, та-та-та-та! Всякое дело любить надо. Мой отец... Ну, да ладно... Который теперь час?

— Двенадцать.

— На гарантийку возил?

— Три раза.

Сколько же было у меня таких мастеров! И у всех один и тот же монолог: мат, мат, мат. Слушаешь — и все понимаешь. Богат русский язык!

А машина снова на ремонте.

У меня дача. А забора нет.

Вижу — пастухи без дела лежат. Я к ним: «Помогите построить забор!» Они оживились, проснулись от долгой спячки. Коровы и без них пасутся. Разбрелись по всему полю, от леса до леса, помахивают хвостами, щиплют траву — в какой раз на одном и том же месте! Каждый день их сюда пригоняют. Заходят они и на мою территорию — у меня трава хорошая, высокая. Вот и решил я избавиться от коров. Пошел в лесное хозяйство, выписал столбики для забора, деньги заплатил и за лес, и за перевозку.

— Сколько, — спросил, — за доставку?

— Да ерунда! Три рубля пятьдесят копеек. Итого, в общей сложности, тридцать три рубля пятьдесят копеек. Вот вам и квитанция. Ждите. Привезут.

Я ждал, ждал... Долго ждал.

Вдруг появляется у моего дома лесник. Но не тот, который мне квитанцию выписывал, а другой.

— Привет!

— Привет, — отвечаю ему.

— Дом я этот знаю. Ремонтировал. Ему венцы заменить надо. Подгнили. Ну, я это тебе сделаю. А что же забор-то не поставишь? Коровы заходят. Участок вон весь загадили... А ну, пошла отсюда!.. Ты бей их, бей, — лесник поднял полено и швырнул его в коровий бок. Корова убежала. — Вот так. Видишь, как это просто делается.

— Лес я выписал и за доставку заплатил, — отвечаю я леснику. — Должны привезти.

— Пойдем со мной. Тут вот грузовик стоит. Договоримся.

Подошли к грузовику, который лес развозит, смотрю — в кабине сидит тот самый лесник, который мне квитанцию выписывал. Я с ним уже как с хорошим знакомым здороваюсь, улыбаюсь. И он улыбается, да только не так доверчиво, как я.

— Вот, — говорю, — хорошо! У меня и квитанция с собой есть.

— Квитанция к этой машине не подходит. Машина из другого хозяйства. Иди вон договаривайся с шофером.

Я подумал: добавлю трояк к квитанции — и привезут. Так и предложил. Переглянулись лесники, сели в кабину машины, шофер включил стартер и

тронулся с места.

— Пстой, — говорю, — сколько хочешь?

— Тридцатку!

— Так тридцатку лес стоит. За доставку вы же сами сказали — три рубля пятьдесят копеек, — обращаюсь к знакомому леснику.

— Вот ты и жди доставку за три пятьдесят, а мы поехали.

Через несколько дней подъехала еще одна машина. И шофер был новый.

— Лес нужен?

— Конечно, нужен! Сколько?

— Давай тридцатку и укажи, куда сваливать.

Смотрю: лес тот самый, который мне нужен, двухметровые столбики.

— Квитанцию дать?

— А на что она мне? Я от другой организации. А по квитанции жди...

Привезут.

Отдал я тридцать рублей. Шофер свалил столбы около дома и уехал. По квитанции я леса так и не дождался.

Пастухи вылезли из своего шалашика и направились к дому.

— Сколько возьмете? — спрашиваю пастухов.

— Сотню дашь? В два дня сделаем.

Я приготовился на две, а тут вдруг по совести, сто рублей. Как не согласиться? Молодцы мужики!

В первый день вырыли яму, вкопали один столб и попросили двадцать рублей аванса. Получив аванс, ушли, и в этот день я их уже не видел, одни коровы лениво пеклись на солнце, помахивая грязными хвостами. На другой день пастухи пришли с сыновьями. Сыновья были на мотоциклах. И почему-то сразу все четверо пошли в мой дом, а я в доме один.

— Артист?

— Артист.

Что, думаю, им надо и как мне с ними справиться?

Сыновья пастухов молча осмотрели мой дом и уехали. Пастухи приступили к работе. Поставили еще один столб, потом сели на бревнышко и закурили.

Чего, думаю, тянут? Двое здоровых мужиков! Сидят, чего-то раздумывают.

— В сарае у тебя бревна старые лежат, мы их тебе на дрова распилим, чего они валяются! Мы тебе порядок наведем. Сейчас который час? Наверное, обедать пора. Докурим, сходим перекусим и делом займемся. Ты нам, вот что, дай-ка еще двадцатку. Тут вон сыновья приехали, угостить надо, устали с дороги, да и нам головы освежить надо.

На этот раз пастухи мои пропали вместе с коровами, остались только два столба, за которые я выдал сорок рублей. Пастухов не было долго, я потерял всякую надежду на их возвращение, и вдруг приходит новый человек.

— Пастуха... того... не жди. Мне за него год прибавили, та-та-та-та! Я ему морду набил. Сколько он с тебя взял, чтобы построить забор? Сотню? Вперед взял сорок? Вот я ему морду и набил. Больше он сюда не сунется, та-та-та-та!

— А как же забор?

— Мы тебе забор сделаем. Завтра бригадой приедем. Враз поставим! Ты нам оставшиеся от сотни шестьдесят отдашь. Порядок?

— Порядок!

На следующий день приехала бригада.

— Слушай, Алексеич, ты нам дай те шестьдесят, а то магазин закроют. Да ты не волнуйся, забор мы поставим, нам это запросто. Нам бы ее не упустить, разберут! Завтра суббота, туристы разберут. Потом ее ведь нигде не найдешь. А мы тебе и дров наколем. Эй, Николай, руби дрова. «Урал» возьми — пили бревна. Это сверх плана... Ну вот, спасибо! С нами ты не бойся. С нами не пропадешь. Сказано — будет сделано!

Кипит работа. Шесть человек. Кто ямы роет, кто столбы ставит, кто утрамбовывает, кто дрова рубит, кто бревна старые распиливает.

Слышу кричат:

— Перерыв!

— Нет, Алексеич, ты с нами в автобус! Чего тебе в одиночку? Там уже все стоит и стол накрыт, все приготовлено.

Вместо стола — ящик, на ящике — граненый стакан и бутылка «Столичной», остальные «Столичные» в другом ящике, каждая в своем гнездышке — своего срока дожидаются. Только одно гнездышко пустое...

— Стакан у нас на всех один. Будем пить из одного. Ты как хозяин начинай первый. Ну, давай, торопись, а то перерыв кончится.

— Мы сейчас по одному, только по одному и — за работу!.. Ух, хорошо идет! Хлеб ломай, колбасу тащи... Кто следующий?

По первому пили вяловато, словно пристраивались, медленно протягивали руку к стакану, нехотя подносили ко рту, останавливали дыхание, молча проклинали ее, проклятую. Морщились. Сплевывали. Матюгались. Обзывали ее самыми грубыми словами. Потом тихо, ласково: «У-ухх! Зар-раза! Тьфу ты, паразитка ты этакая!» — и выливали в себя.

— Ну все, все! За работу. За работу, та-та-та-та! Нужно дело делать. Вот, Алексеич, теперь совсем другое дело. Теперь у нас интерес есть. Так сказать, перспектива. Но главное — работа. А она, эта перспектива, пусть подождет. Кстати, и в газетах призывают к заинтересованности. Вот руки мои здесь, они забор строят, а голова моя там, в перспективе. Потому что ты нас заинтересовал, у нас теперь интерес есть. Значит, мы живем правильно. Ха-ха-ха! По-современному. Верной дорогой идем! Разве не так?

Теперь к стакану тянулись быстрее и не молчали. Развязались языки, голоса прорезались, на полную грудь гудят.

— Товарищи! Друзья! Приятели!

Вон, у того маленького, который в шляпе, верхняя губа каким-то странным прыщом кверху вздернута. Что это у него? Может, сифилитик? Да что там, продезинфицируемся!

— За дружбу! Все мы свои, та-та-та-та, русские! Давайте споем, а? «Мы все за мир... и в море и на суше... Нам не страшны...»

Язык и у меня развязался, голос окреп, смелей всех становлюсь:

— Кто ты такой? Почему ты весь в татуировке? Что у тебя на веках

написано? Я еще такого никогда не видел. Ты не стесняйся. Мы все свои. А ну, закрой глаза. Ага, на левом — «Надя», на правом — «Валя». Первый раз вижу, честное слово!

— А ты ему всего себя покажи. Сними с себя все! — сказал самый молчаливый. — Раздевайся!

И он разделся.

— Э-эй! Ух-ты! Да у тебя тут художественная галерея! Ты посмотри, какая баба красивая. Ноги, грудь и все, что полагается... Смотри-ка ты, Иванов! «Явление Христа народу»! Куда ты попал, Иванов, где тебя прославляют! Дай я тебя поцелую.

И я его целую.

— погоди, и Маркс, и Ленин, и Сталин! А почему они у тебя ниже пупка? Вот это ты зря! Ты их зря туда посадил.

А на спине — орел, огромный орел. Все хохочут. И я с ними: «Ха-ха-ха!»

— Сделай мне такого же, как у тебя. Я хочу, как у тебя. Я вот так плечами буду поднимать и опускать, а он как бы крыльями размахивать будет.

— Алексеич, тебе не надо орла. Не надо. Ты сам орел!

Тот, кто в шляпе, со вздернутыми от прыща губой и правой ноздрей, все время хохочет. Его хохот начинается с «кх», постепенно переходит в «шиииин-ю», закатывается глубоко в живот, там переваривается и вырывается обратно, уже новыми буквами: «У-у-уи-иии-и!»), со свистом и шипом.

— Имел я ту пчелку, которая мед тебе таскала, тра-та-та-та!

Это у него была такая присказка. Повторял он ее после каждого захода хохота. И вся компания: «Ха-ха-ха!» И я с ними: «Ха-ха-ха!»

— Слушай, Хмырь, ты расскажи, как племянницу в Ладоге топил!

И вдруг вся компания с новой силой: «Ха-ха-ха!» И я, не понимая, тоже с ними: «Ха-ха-ха!»

А тот, который с прыщом, опять — «К-х-ы-ы-ииии!» и опять со своей присказкой: «Имел я ту пчелку, которая мед тебе таскала!» А морда у него артистическая, сама просит, чтобы ее упрасивали: «Ну, уговаривайте, упрасивайте, дайте мне немного поломаться! Здесь же настоящий артист сидит! Ха-ха-ха!»

— Ну, давай, рассказывай, ничего не пропускай!

Глаза строителей повернулись в мою сторону. Хитрые, лукавые и озорные. Ждут, как я буду реагировать. А он, который с кривой губой, набрал воздуха полную грудь и вдруг снова закатился и опять про пчелку вспомнил.

— Приехал я на побывку. И-и-и-их-хах-ха-ха! Отпустили меня на два дня. У-у-ухх, — начал он своим ртом-треугольником, отчего слова трудно разобрать: буквы свистят и шипят. — Маруська ушла, а на меня своего выродка оставила. Вот такого, — он показал руками размер маленького ребенка. — Ха-ха-ха! Девчонка!

И мы все тоже: «Ха-ха-ха!»

— Я ее и так, и эдак, а она орет. Орет, стерва. Жрать хочет. Я ей свой сосок достал... У, сука горластая, у меня и без тебя хлопот хватает, тюкнуть бы тебя о поленницу и дело с концом! Ха-ха-ха!

И мы все тоже: «Ха-ха-ха!»

— Смотрю, Ладога в трех шагах от меня. А на мне — кирза. Вошел это я в Ладогу, ну, думаю, я тебя сейчас успокою. Взял да и сунул ее поглубже. Вытащил. А она пуще прежнего орать стала.

Ну, уж тут мы все грохнули от хохота: очень смешно! Очень! Криворотый громче всех смеется. Захлебывается: «И-ы-ы-ииии». Пчелку свою вспоминает.

— Я тогда обратно ее в Ладогу опустил. Ну, кажется, все! Нахлебалась! Смотрю — рот открыт, а звука нет, только глазенками мокрыми шлепает, и из носа вода течет. Ну я ее тогда еще разок, чтоб совсем тихая стала. Сунул в воду, потом завернул ее в барахлишко и уложил в колыбельку. А сам — деру. На хрен мне она сдалась! Пришьют еще за эту побывку столько, сколько мой дружок имеет. А мне и своих лет хватает! Ха-ха-ха!

И опять у него пчелка полетела.

— Иду, значит, а у самого сверлит. Совесть хоть какая-то, но все-таки есть. Что ни говори, а она существует. Сразу-то, думаю, не хватятся, решат, что спит. Ну, спит и спит. Потом спохватятся: что-то уж больно долго спит. Хватятся, ой, да ой! Про меня-то и не вспомнят... Прошло три года. Приезжаю на побывку. Ну, здороваются со мной, целуются, смотрю и спрашиваю: «А это кто такая?» — про самую маленькую. «Как, — говорят, — кто? Ты что, не признал? Катька!» «Катька? Пстой! Та самая Катька, которую я в Ладоге топил? От живучая, стерва! Ха-ха-ха!»

Мы тоже все: «Ха-ха-ха!» Уж очень смешно! После двух стаканов и страшное смешным высовывается, и море по колено. Выпили по такому случаю еще по стакану.

— Мы тебя знаем. Нам кино показывают. Ты — Ромашка. Мы как тебя увидели, сразу узнали. «Два капитана». Поэтому и пришли к тебе.

Я им говорю:

— Так ведь это когда было! Тогда я молодой был!

— А ты и теперь не старый. Вровень с нами идешь!

Я им о других ролях говорю, за которые премии получил, а они мне на это:

— Не видали, не слыхали, ты не обижайся. Все равно ты — Ромашка. Ты — лучший Ромашка!.. Ну, всё, всё, всё! Пошли забор ставить. Артисту без забора, как тюрьме без запора.

И опять закипела работа. С песнями. Я сам включился, таскаю бревна, рою ямы, утрамбовываю. Только почему-то столбы не стоят у меня прямо.

— А мы их тебе сейчас подправим! Как это поется: «Правая, левая где сторона, улица, улица, ты, брат, пьяна!»

На следующий день пришел ко мне тот самый, татуированный, который приходил в первый раз. Он мне почему-то нравился больше всех: маленький, застенчивый, глазки голубые-голубые — как незабудки. Разговаривая, он всегда отводил их в сторону или смотрел вниз. Такой молчаливый-молчаливый. Затаилась в нем какая-то обида. На кого? За что? Не рассказывал. А я не спрашивал.

— Так вот и будешь, — спрашиваю его, показывая на татуировку, — ходить с этими знаками всю жизнь?



— Так и буду.

Потом посмотрел на меня, добавил:

— Разве только кипятком ошпариться? Как лучше — ходить ошпаренным или таким, какой я есть? Я все равно догоню!

Я приготовился слушать, кого он хочет догнать, но он поднял топор с новым белым длинным топорищем, пальцем потрогал лезвие, потом взялся за конец топорища, взвесил его и, размахнувшись, всадил в круглый чурбак. Чурбак раскололся, и две его половинки разлетелись в разные стороны.

— Вот так-то вот, Алексеич, это тебе наш подарок. Хороший топор.

— Спасибо. Я даже и звать-то тебя как не знаю. Знаю только, что ты — бригадир.

— Нет, я не бригадир. Я — рядовой. А бригадир тот, кто сидел в автобусе на первом сидении и все время молчал.

Я вспомнил автобус. В нем сидели люди как люди — работяги, ничего не было в них бандитского. Мы пели песни, хохотали, пили водку, а на переднем месте сидел молодой, красивый парень с длинными вьющимися волосами, умным лицом, и ничего не было в нем преступного.

— Вот он и есть наш бригадир. Он пятнадцать лет набрал. Но я его догоню. Вот выйду на волю и догоню. Мне до него три года осталось. Да и на волю выходить не надо — здесь заработаю.

И, не подавая руки, попрощался и ушел.

С тех пор я не встречал из моей новой компании никого.

Забор поставили, только ворота пришлось мне доделывать самому.

## БАБУШКА И ВНУК

— Бабушка, я все буквы выучил!

— Молодец, — сказала бабушка. — Теперь тебе ничего учить не надо. Ты уже все знаешь. Садись за стол, бери бумагу и пиши.

— А чего писать, бабушка?

— Буквы писать.

— Я уже написал их.

— Молодец. Теперь пиши слова. Составляй из букв слова и записывай. Видал, как каменщик дом строит? Сначала у него были одни кирпичи. Никакого дома не было. Достал кирпичи и сложил дом. Так и ты. По одной букровке складывай и напишешь роман или повесть. А лучше всего пиши маленькие рассказы. Напишешь, отдохни и за другой принимайся.

— Бабушка, ты мне что-то совсем не то говоришь. Прежде чем писать, нужно учиться. Как все.

— Дурачок ты мой, — сказала ласково бабушка. — Я не хочу, чтобы ты у меня получился как все. Ведь ты у меня один. А те, которые не мои, их всему научили. Вот они и стали похожими друг на друга. А фамилии-то у них разные.

— Нет, бабушка, так, как ты меня учишь, писать нельзя. Нужно знать, что писать и как писать. А я ни что, ни как писать — не знаю.

— А ты попробуй, — настаивала бабушка. — Вон сколько букв у тебя. У

композиторов всего только семь нот, а послушай, какую музыку они пишут.

— Бабушка, композитору легко, у него звук. А у меня слово. Оно страшное.

— А ты не думай о страшных словах. Думай о том, что я люблю тебя. И что ты меня любишь.

— А папа? А мама? Они меня любили?

— Конечно, любили. Вот тебе и есть что писать. А как — папа с мамой подскажут.

Внук сел за стол, достал бумагу и стал собирать слова.

«Мои папа и мама убиты...» Дальше писать он не мог. Он стал думать.

— Почему ты не пишешь?

— А я думаю, думаю...

И заплакал.

## БУМАЖНЫЙ РУБЛЬ

Мальчик на тротуаре нашел бумажный рубль. Мальчику было семь лет. Он шел в школу по той дороге, по которой водила его бабушка. За три месяца он выучил дорогу наизусть, и бабушка решила, что можно разрешить ему ходить самостоятельно. У мальчика голова была бабушкина — все, что было у бабушки в голове, она старалась вложить в голову внука. Когда бабушка водила внука в школу, то, переходя улицу, говорила: «Посмотри сначала налево, а потом направо, если ничего опасного нет, можно переходить». И теперь, когда мальчик стал ходить самостоятельно, он останавливался, повторял ее слова и, убедившись, что нет ни машины, ни трамвая, перебежал улицу. Он все делал как бабушка. Бабушка научила его рано просыпаться, делать зарядку, чистить зубы, а не так, как некоторые делают: просыпаются поздно, одеваются, но не умываются, хватают кусок хлеба и бегут в школу. Бабушка про таких говорила — нехорошие дети, невоспитанные дети...

Потерянный рубль лежал в мокром снегу, придавленный мужским грубым каблуком, можно было пройти и не заметить, ведь многие проходили мимо и не замечали. И наш мальчик тоже сперва прошел мимо, но когда прошел, то ему показалось, что он видел на снегу раздавленный рубль. Он вернулся и увидел: действительно лежит рубль. Бумажный рубль, сложенный вчетверо. «Кто-то потерял рубль, — подумал мальчик, — а я его нашел!» Он нагнулся и уже протянул руку, чтобы поднять рубль, как вдруг ему показалось, что кто-то следит за ним, кто-то хочет посмеяться над ним, уличить его в воровстве. Он быстро поднялся, осмотрел всю улицу, оглянулся налево, потом направо, вспомнил бабушку. Она говорила ему: «Во всем нужно быть осторожным», «То, что тебе не принадлежит, никогда не бери, Бог тебя накажет». Теперь мальчик стоял и размышлял: взять или не взять. Ему кто-то внутри него говорил: «Дурачок ты этакий, возьми, возьми. Нет здесь никакого греха». Кто-то другой тоже говорил: «Дурачок», но прибавлял к этому «дурачку»: «Бог накажет! Не поднимай, Бог накажет!»

Улица пустая, тускло догорали утренние уличные фонари. Мальчик решил

сделать, как учила его бабушка. Он нагнулся, выковырял пальцем из мокрого снега рубль, развернул его, положил на подоконник первого этажа, а сверху положил на него камень, чтобы ветер не унес его. «Кто потерял, тот и найдет», — сказал себе мальчик, и только хотел отойти, как чья-то рука схватила его за шиворот, развернула его в обратную сторону и другой рукой ударила его в нос. Удар был таким сильным, что сразу же брызнула кровь, он ничего не успел сказать, только услышал: «В окна подглядываешь... стекла бить... камни собираешь... в мой дом... в мою квартиру!..» И с каждым словом все больней и больней сыпались удары то в грудь, то в живот, то в голову. Мальчик уже лежал на мокром снегу и казался мертвым, а тот все бил и бил его. Прошел какой-то человек мимо, словно слепой, не оглянулся, не замедлил шаг: «Не видел. Ничего не знаю».

Мальчик бил мальчика. Мальчик, который бил, жил за тем окном, на которое избитый мальчик положил рубль. Он был старше избитого на два года. И когда он устал избивать, сплюнул, выругался самыми отборными словами и подошел к окну, на котором лежал рубль, придавленный камнем. Увидев рубль, остановился и, остолбенев, долго и тупо смотрел на него. В его голове крутились жернова, они долго перемалывали вопрос, как попал рубль к нему на окно и чей это рубль. После долгого раздумья он схватил рубль и, проходя мимо избитого мальчика, ткнул его ногой и сказал: «Вставай, интеллигент!» Мальчик лежал недвижим. Оглянулся старший мальчик и убежал.

... Бабушку вызвали в больницу «скорой помощи». Ее внук лежал на большой кровати. Бабушка с трудом поверила, что под белыми бинтами — ее любимый внук. Через неделю мальчик уже говорил и улыбался бабушке, которая сидела рядом с ним. Внук сказал бабушке: «Бабушка, милая моя бабушка, ты меня учишь совсем другому, не тому, чему учат всех!» И заплакал.

## **ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ** (Из рассказов о Стрюцком)

По четвергам второй недели месяца был единый политдень. Стрюцкий ехал в трамвае и думал:

— Как же так? Если все течет, то все должно изменяться, а если должно изменяться, то обязательно выливаться в новую форму. Если нет новой формы, тогда, значит, ничего не течет и ничего не изменяется. Так? Если принять это изречение буквально, то есть посмотреть реально не только на вещи, но и на весь мир в целом, это утверждение вряд ли может быть подкреплено делами. За последние двадцать пять лет у меня не было никаких изменений. Ни в комнате, ни за окном. И естественно, само собой ничего измениться и не могло, если бы... если бы я этого сам не захотел. А для того, чтобы я захотел, нужны деньги, а так как у меня денег нет, то, значит, у меня ничего не течет и ничего не изменяется. Отсюда вывод: ничего само собою не течет и ничего не изменяется, если у тебя нет денег.

— Движение, то есть желание, заключено в самом человеке, — продолжал философствовать Стрюцкий, — а не в абстрактной истине. Человек сдерживает

в себе это движение, пока не подкрепится оно материальной стороной его существования, то есть опять же вопрос упирается в деньги. Так? Опять же, возьмем сознание человека. По его сознанию можно судить о его делах. Очень много глупого сделано, например дороги. Построены дороги, а проехать по ним современному транспорту невозможно. Они для него узки. Значит, построено бесперспективно.

Когда Стрюцкий пришел к такому заключению, он вышел из трамвая, дождался на остановке встречного и поехал домой. Дома он все это быстро записал. Перечитав написанное, удивился и задумался. Он часто в свободное время задумывался, а вернее, молча беседовал сам с собой. Поэтому бесед его никто никогда не слышал. Записок его тоже никто не читал. Он никому их не показывал, а прятал в стол и запирал на ключ. Но каким-то образом из-под замка все-таки просачивалась наружу кой-какая информация и попадала не туда. То есть она попадала туда, куда ей было совсем не надо попадать.

Стрюцкого вызвали в маленький дом при Большом доме и вежливо напомнили ему, что именно он говорил и какие мысли его посещали. Даже о том, как он когда-то восторгался кинофильмом «Серенада солнечной долины». Стрюцкий поразился такой точной информации и по наивности спросил:

— А кто это вам все рассказал?

Ответа он не получил. На него только внимательно посмотрели, улыбнулись и... больше ничего.

Стрюцкий понял, что все, что говорится в небольшом кругу, обязательно будет знать большой круг. Даже когда ты сам с собой разговариваешь. Это открытие насторожило Ивана Ивановича. На работе он теперь вглядывался в лица сотрудников, стараясь определить человека по разным внешним признакам. Кто он такой? Передаст или не передаст? Можно с ним говорить или нельзя? Но в институте все лица были какие-то одинаковые, безликие, и распознать их было невозможно. Это явилось для Стрюцкого еще одним открытием, поводом для тайных размышлений.

— С кем я? — думал Стрюцкий. — Кто со мной? Кому довериться? Одинаковые лица — преданные, внимательные, улыбающиеся, добрые... У-у-у!

Но и у самого Ивана Ивановича лицо было, прямо скажем, невыдающееся. И если его лицо взять и смешать с другими лицами, то оно быстро затеряется и потом его не найдешь. Стрюцкий всего боялся, пугался, а чего боялся и кого пугался, ответить не мог. Настоящий интеллигент, тот мог бы ответить, а так как Стрюцкий интеллигентом не был, то кроме страха и удивления, постоянных спутников его жизни, он ничего не испытывал. Даже когда приходила к нему радость, то и тогда Стрюцкий задавал себе вопрос: «Стоит радоваться? К добру ли это?»

Но если Ивану Ивановичу сказать, что он — приспособленец, то сказавшему это дорого обошлось бы. Он долго бы испытывал на себе оскорбленный взгляд Ивана Ивановича и слышал от него осуждающее: «Как вам не стыдно? Как это вам могло в голову прийти? Не ожидал! Не ожидал!.. Приспособленец! Кто — я?»

Как бы ни обижался Иван Иванович, но где-то далеко-далеко, в

запрятанном уголке его совести шевелился маленький червячок подлинного приспособленца, с которым приходилось соглашаться и признаваться самому себе: «Да, я — приспособленец. Да, так оно и есть».

С этим приспособленцем, затаившимся в темных уголках совести, и жил Стрюцкий. Иван Иванович оправдывался перед своею совестью тем, что все мы — приспособленцы в этом мире и что это не нами заведено. «Это не мною выдуманно. Не мог же я родиться приспособленцем, меня таким вырастили. Кто? Общество».

Здесь поспорить с Иваном Ивановичем нельзя. Из всей диалектики, которую он изучал на едином политдне, в нем крепко застряла одна из самых глубоких истин — бытие определяет сознание. И когда что-нибудь случалось с Иваном Ивановичем, он всегда валил на бытие и тем самым оправдывал свое сознание. Стрюцкий подкреплял свои выводы примером. Например, трамваем. Он говорил:

— Я нахожусь в трамвае. Под трамваем нужно подразумевать город или страну, в которой я живу. Трамвай везет меня к конечной остановке. Мое сознание никак не может изменить маршрут, по которому меня везут, как бы я этого ни хотел, потому что сознание находится у вагонновожатого. Следовательно, мое бытие целиком зависит от его сознания. Если произойдет столкновение с каким-нибудь другим транспортным средством, то мое сознание здесь не при чем — оно отсутствовало, а мое бытие будет зависеть от степени аварии. Конечно, я мог бы предугадать, предвидеть аварию и выскочить из трамвая, но кто меня выпустит на ходу? Трамвай несется со скоростью, перевыполняющей все нормы скоростей. Он бежит в счет будущего года, а мое бытие — в настоящем году. Мне мое сознание кричит: «Прыгай, прыгай!» Я вижу, что и других желающих выпрыгнуть много, но боятся, потому что бытие шепчет под стук колес: «Разобьешься, разобьешься, разобьешься. Сиди и не рыпайся». Так что мое сознание ничего не значит, когда я нахожусь в трамвае.

Так рассуждал Стрюцкий и был уверен, что прав.

## У АНГЛИЙСКИХ СОБАК

— Вы спрашиваете, что меня удивило в Англии? А разве об этом можно рассказывать?

— Можно, можно. Рассказывайте!

— Удивили меня собаки. Об англичанах говорить нечего. То, что они удивительный народ, мудрый народ, тоже говорить нечего. Это мы давно знаем, помним.

— Ха-ха-ха! — засмеялся сослуживец Стрюцкого и запел: «Англичанин, мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину... А наш русский мужик...» Помним, помним...

— Они и сейчас, если с нами сравнивать, такие же, — сказал Стрюцкий. — Далеко ушли. Занятные! Например, руль в автотранспорте во всем мире с левой стороны, а у них — с правой. Почему? Объяснить не берусь. Понять

невозможно — разговаривают на английском языке. Все. Ну как тут не вспомнить бабушку! Она всегда мне в детстве говорила: «Учи, учи язык!» Но я тогда сознательный был, а бабушка — нет. Она — «элемент», «несознательная», «отсталая». Не понимала, что пришло наше время, «молодое, незнакомое». Все равны. Все одинаковы. Языки нам ни к чему. Все будут говорить на одном — ленинском языке, потому что — мировая революция!

Теперь-то, когда я сам дедушка, мне ясно: бабушка была права, а мировой революции у нас не получилось. И если бы я знал язык, я бы мог ответить на многие вопросы. Беда моя в том, что языка не знаю. Глаза видят, а голова молчит. Странно. Глаза, уши, нос находятся в той же коробочке, где расположены мозги, а согласованности между этими органами никакой. Органы даны, чтобы мозги шевелить, а они не шевелятся. Интересно узнать: кто кого должен шевелить — глаза мозги или мозги глаза?

Англичане от нас далеко ушли. По витринам заметно. Но лучше и полезнее для всех нас (и для меня лично) об этом не рассказывать и у витрин не стоять. Англичане могут подумать: дикари приехали. Но мне кажется, страшно не то, что англичане подумают о нас, а то, что мы подумаем, разглядывая витрины. Страшные мысли приходят. Я лучше о собаках расскажу, мне это легче, в политику не буду вмешиваться.

Так вот. Что меня особенно удивило в Англии, так это собаки. Это я вам скажу... Это — жизнь! Это не то, что у наших собак — собачья жизнь. У тех собак совсем другая жизнь. Они как бы и не собаки, они точно люди, только четвероногие. Например, идут по тротуару, без поводка, без намордника, рядом со своим хозяином или просто прогуливаются — и ничего, не страшно. Глаз спокойный. Идет степенно. С собачьим достоинством. Идет сука или кобель и ни на кого не смотрит, словно не замечает.

Закон что ли у них такой, чтобы собаку никто не трогал? Никто не задерживал. Никто ей хвост не выкручивал. Я мимо такого факта пройти не мог, заинтересовался. Уж очень меня поразило то, что собака — как человек, с такими же правами. Только без зонтика.

Вы только подумайте: идет около ноги своего хозяина, и, если встретится ей другая собака, они не рвутся друг к другу и не огрызаются, как наши, а безмолвно, спокойно — один только плавный поворот головы — встретятся глазами и, не останавливаясь, пройдут мимо. Ну ни одного слова, ни одного звука — и всё понятно, всё. Кто у кого живет и как живет. Я, не зная другого, кроме своего русского языка, все понял. Удивительно!

Собакам там живется хорошо. У них свои магазины, парикмахерские, клубы, даже кладбище собачье. И все, что положено для похорон, продается.

Если наш брат, русский, случайно забредет в их магазин, то сразу и не поймет, что попал в собачий, потому что он такой же, как и человеческий, — в нем все есть. Бывали такие случаи, когда наши покупали колбасу или консервы (мы же всегда ищем, где подешевле, а в собачьем магазине дешево) и, только придя домой, в гостиницу, задавали себе вопрос: почему на этикетке собачья морда? И сразу же к переводчице.

«Паштет, собачий завтрак». Паштет-то я и без переводчицы прочитал, а

«собачий завтрак» прочитать не мог. Эх бабушка, бабушка, как я тебя вспоминаю! Трудно без языка, ох как трудно!

Паштет... Разве русскому человеку придет в голову, что может быть паштет специально для собак? Да еще в такой красивой упаковке! Человеческая еда. А тут вдруг — собачий завтрак. Собаке — кость или... что там останется от обеда. Намешают что попало и дадут. А то и так просто посидит, без обеда. Что с ней сделается, с собакой? Потому и называется — собачья жизнь.

На Кавказе собак совсем не кормят, я видел. Они там сами добывают себе еду, потому такие дохлые — кожа да кости. И выражение у них скулистое, скорбное, виноватое. Увидят человека, хвост подожмут и — в сторону, в кусты. Все их обижают: и бабы, и мужики, и маленькие, и большие. Все кому не лень. А блох в них столько, словно они их специально разводят, чтобы потом остервенело вгрызаться и жрать, жрать...

А может, так и надо? Может быть, и хорошо, что они не знают другой жизни? Пусть себе думают, что она такая, какая есть, и другой, лучшей жизни, нет, такая и должна быть. Может быть, они и догадываются о другой жизни — слухами земля полнится. Может быть, при встрече и огрызаются друг на друга, что знают о другой жизни, а рассказать не могут — от страха язык не поворачивается.

У нас редко-редко кто погладит собаку, приласкает. А в Англии — парикмахерские собачьи. Самые модные прически — для собак. Выйдет какой-нибудь пудель или фокстерьер — сразу видно, что иностранец. Блестит, выбрит, вымыт, шерсть вычесана, уложена, на лбу кок взбит. И запах от него не собачий. Где там блохе завестись?! Если и запрыгнет — поскользнется, сорвется и упадет.

Посмотришь в окно собачьей парикмахерской — ну точно как у нас, на Невском или в «Европейской» дамский зал: педикюры, маникюры, стрижка, мойка, укладка, завивка и всяких приспособлений столько же. Щеточки, пилочки, ножнички, пинцетики — и все это для собак. Сидит какая-нибудь сука под феном, нежится, дремлет...

Да нет, что и говорить, у них собачья жизнь — завидная. Любая наша модница позавидовала бы... А некоторых собак на руках носят. Китайские, японские... Есть такие, что совсем на собак не похожи. Маленькие, безносые, косматые, глаз не видно, где зад, где перед — не разберешь. А тоже — лают! Они как декорация, больше для красоты, не для службы. Пользы от них никакой.

Есть и сумки специальные собачьи. Купил один наш такую сумку с окном, килограмм на пятнадцать. Спрашиваем: «Зачем тебе такая?» А он отвечает: «Как это зачем? Подарок. Жене. Купит чего — и все видно. Для этого окно сделано. Иностранцы, они зря не придумают!» Руководитель говорит: «Эта сумка для жуликов хороша. Раскрывать не надо, все видно, что лежит. А потом, она не человеческая, а собачья, в нее собак кладут, как раз мордой в окно, чтобы вокруг глядела. Вот смотри, и собака нарисована». «Значит, я не то купил? А хороша — глаз не оторвешь! Посмотри, как сделана! Капиталисты на выдумку хитры... А-а-а, ничего, сойдет! У нас не догадаются, что она собачья.

Ни у кого такой нет».

Я последнее время задумываться стал, и чем старше становлюсь, тем больше и больше думаю. Возьмем, к примеру, наших собак. У которых есть квартиры, выводят их гулять, но на поводке. У некоторых — намордники. И все равно они страшные, суетятся, того и гляди — бросятся на тебя. Увидишь собаку — и стараешься стороной ее обойти. Я думаю, такое происходит оттого, что их долго держат взаперти. Оттого они такие суетливые. Дома сидят, никаких собачьих новостей не знают. Выведут ее на некоторое время на улицу, во двор или в парк, за пять-десять минут она должна все успеть. Обнюхать, посмотреть, узнать все сплетни собачьи, оставить свой след. И все это делается второпях. Выведут на свободу, а та на поводке. «Стой! Назад! Сидеть! Ко мне!» На свободе — и никакой свободы...

А если задуматься, в какой собаке больше силы: в нашей или в ихней? Мне кажется, что в нашей. Во-первых, потому, что она — наша. Во-вторых, если спустить наших собак с цепи — разорвут. Ну а если натравить их, да подкормить, то... Все иностранцы в клочья полетят, ничего от них не останется. Да и подкармливать не надо, сами себе жратву найдут. Они привыкшие.